

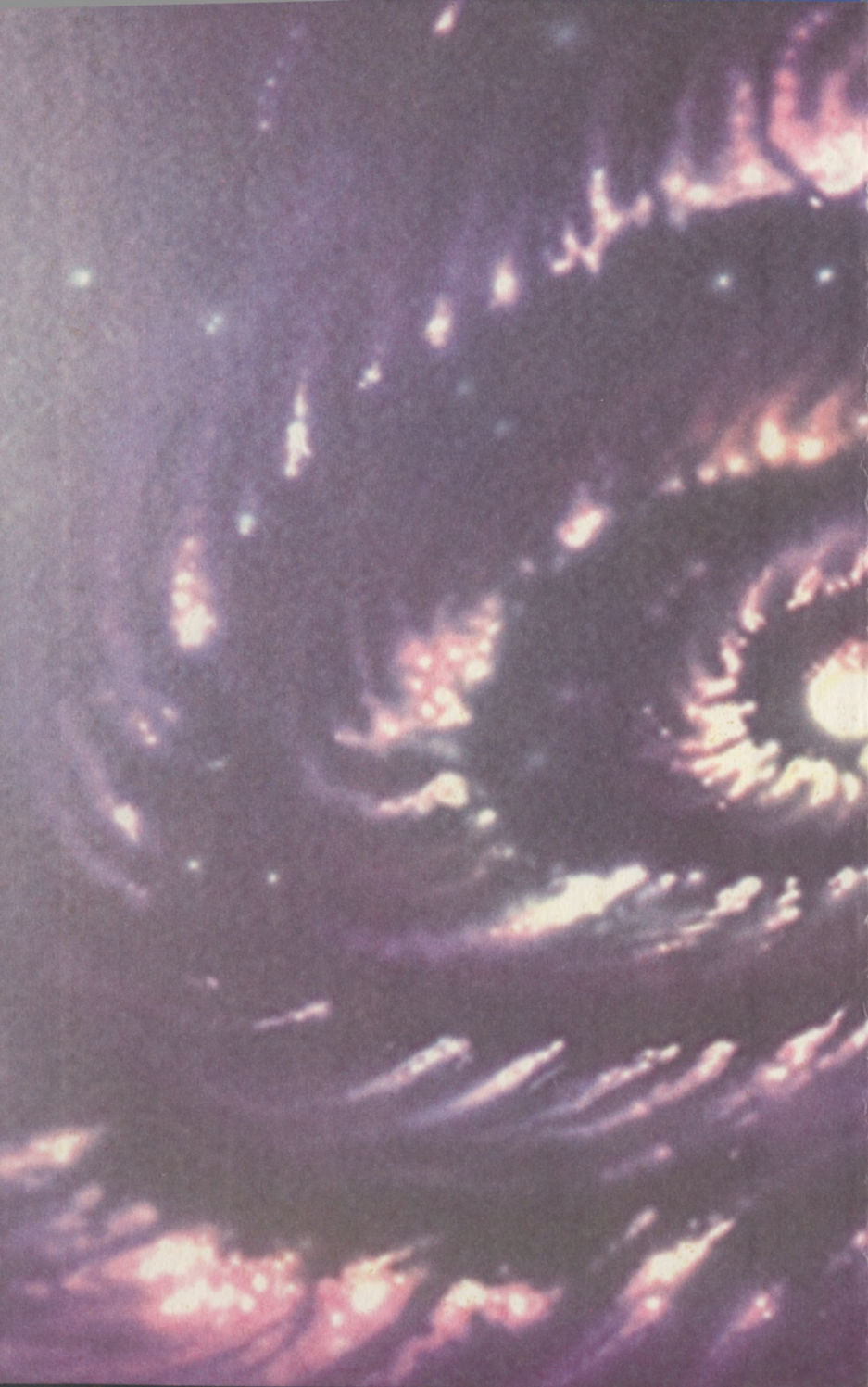
МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

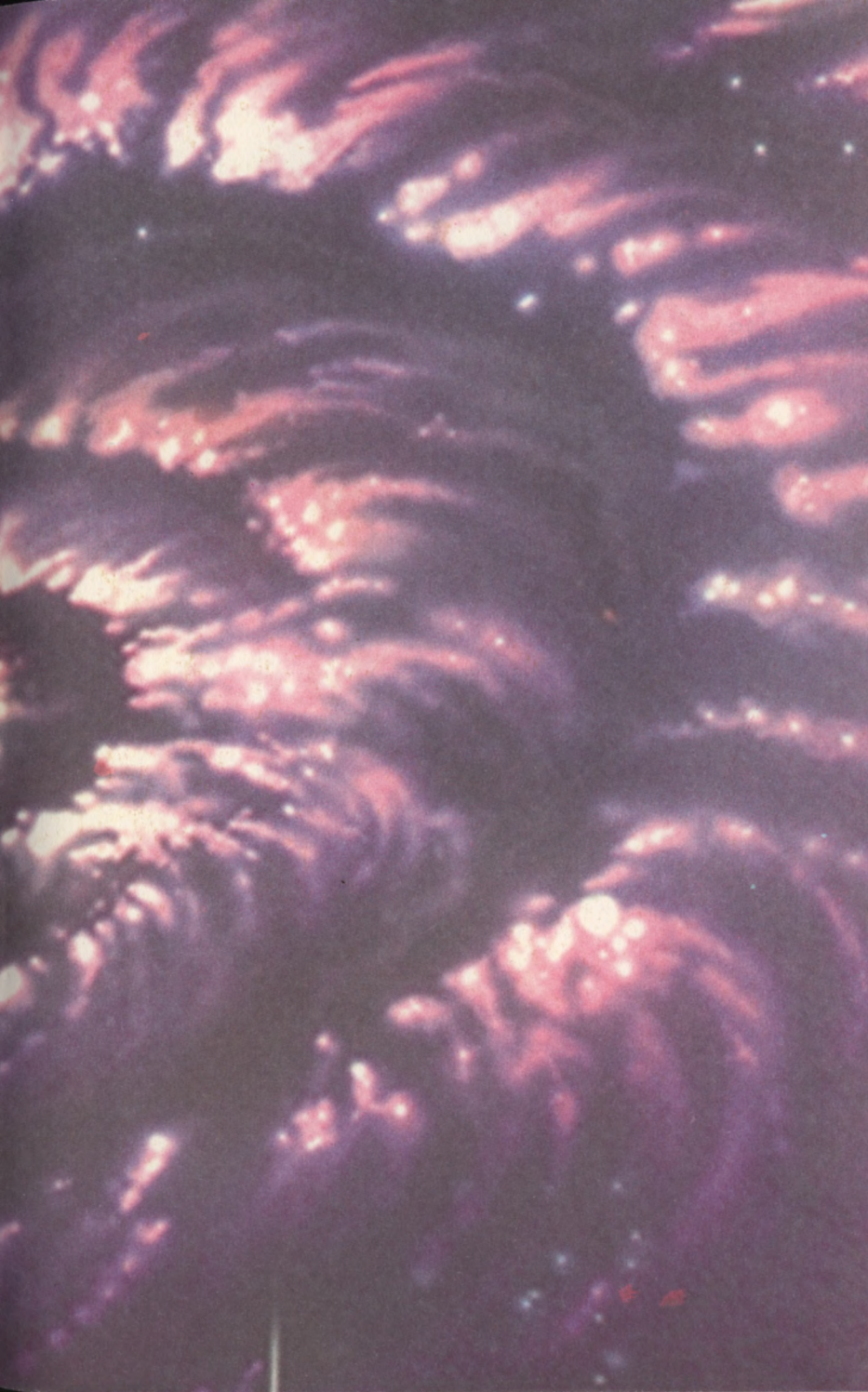
3

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ



ОКТЯБРЬСКАЯ
СТРАНА





РЭЙ БРЭДБЕРИ



WORLDS OF RAY BRADBURY

Volume three

**THE DANDELION
WINE**

**THE OCTOBER
COUNTRY**

«POLARIS» PUBLISHERS
1997

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Том третий

**ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ
ОКТЯБРЬСКАЯ
СТРАНА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997

*Издание подготовлено
совместно с АО «Титул»*

**Миры Рэя Бредбери. Т. 3 / Пер. с англ. — Полярис,
1997. — 463 с.**

В очередной том собрания сочинений классика американской и мировой фантастики вошли его автобиографический роман «Вино из одуванчиков» и сборник рассказов в стиле «хоррор» — «Октябрьская страна».

**Произведения, включенные в данное издание, охраняются
законом об авторском праве. Перепечатка отдельных романов
и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя
и переводчика. Всякое коммерческое использование данного
издания возможно исключительно с письменного разрешения
издателя.**

*Иллюстрация на обложку печатается с разрешения
художника и его агентов: Norma Editorial, Испания,
и Александра Корженевского, Россия*

The Dandelion Wine
© 1957 by Ray Bradbury

The October Country
© 1955 by Ray Bradbury

Cover Art Illustration
© 1997 by Salvador Faba

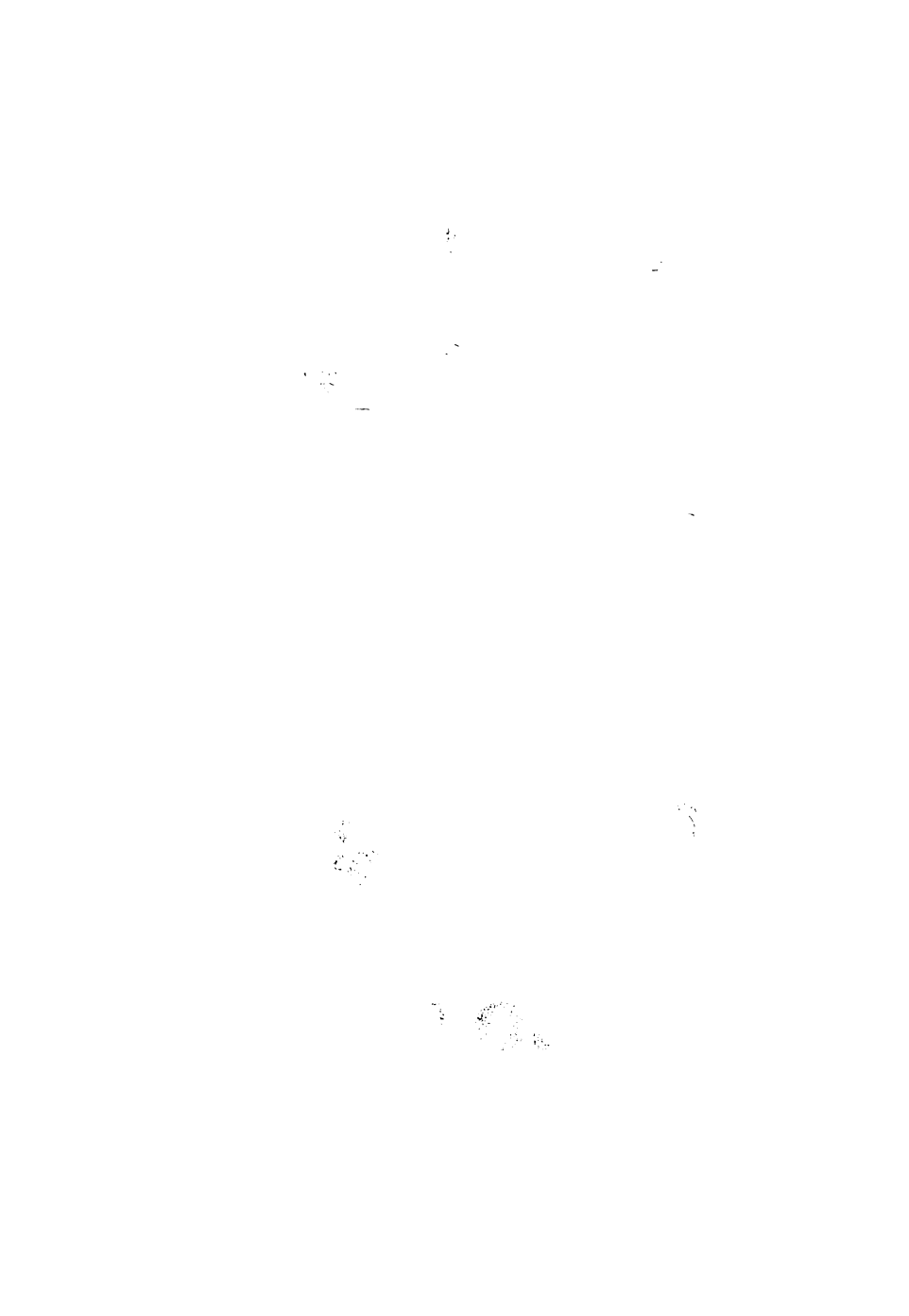
Вино из одуванчиков
© Э. Кабалевская, перевод, 1989

© Издательство «Полярис»,
составление, оформление,
название серии, 1997

ISBN 5-88132-272-X



**ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ**



ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

*Уолтеру А. Брэдбери,
не дядюшке и не двоюродному брату,
но, вне всякого сомнения,
издателю и другу*

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежиллся в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже — во всем городе не было башни выше, — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня...

— Вот здорово! — шепнул он.

Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весело жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

* * *

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители

кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутреннем тумане один за другим прорезались прямо-угольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарились целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем встать!

Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядя, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической Зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассыпая вокруг жаркие синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей. — Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, сучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная его рукой, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижуя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И возшло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то, — думал он. — Только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!»

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами. Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

* * *

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть — так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох Вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ошупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того и гляди кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, Дуглас вздрогнул, день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запах земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел, — сказал отец. — Они всегда вьются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас!

Дуглас встрепенулся.

— Опять витаешь в облаках. — сказал отец. — Спустись на землю, и пойдем с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка

Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глубинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым — отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

«Что-то должно случиться, — подумал он, — я уж знаю».

— А вот папоротник, называется «Венерин волос». — Отец неторопливо шагал вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. — А это, чувствуете? — И он ковырнул землю носком башмака. — Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю как индеец. — сказал Том. — Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил: он все время настороженно прислушивался. «Мы окружены, — думал он. — Что-то случится! Но что? — Он остановился. — Выходи же! Где ты там? Что ты такое?» — мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше, — негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? — Все равно, — улыбнулся отец, — все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько, и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок. — Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее. — Хорошо при случае послушать тишину, — говорил он, — потому что тогда удастся услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да-да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями водопадом льется птичье щебетанье!

«Вот сейчас, — думал Дуглас. — Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!»

— Дикий виноград, — сказал отец. — Нам повезло. Смотрите-ка!

«Не надо!» — ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что надвигалось, подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обогранные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведра чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы — это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жуют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет-нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать:

— Я понимаю, пап.

«Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. — Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом».

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не за тем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано. Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот-вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился,

как рысь, а Том все болтает, никак не уgomонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два отличных мультика про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак в опере» с Лоном Чани, четыре раза смотрел Милтона Силлса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тянучек, семьсот стаканчиков мороженого.

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: «Вот, вот оно, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?»

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

«Замолчи!» — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а *оно* подходит все ближе: знает, *оно* не боится Тома, Том только притягивает его. Том тоже немножко *оно*...

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я поставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, удрать — ведь из-за

леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою. Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать. И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились, да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что неожиданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

«Я ЖИВОЙ», — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые... Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости,

оглядывали мост — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

«Я и правда живой, — думал Дуглас. — Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню».

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе — тут, под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатались по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

— Ясно, знают! А ты как думал?

Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так, — прошептал Дуглас. — Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас встрепенулся. «Папа знает, — понял он. — Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю».

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и с удовлетворением облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра, — сказал он. — Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.

Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. Хочу почувствовать все, что только можно, думал он. Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после.

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо, — пробормотал Дуглас. — Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал. Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город...

* * *

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер и недостижимо

высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного.

— Дедушка, они уже созрели:

Дедушка поскреб подбородок.

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — наверняка. Да, да, хороший урожай. Сбирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают уговону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются, — сказал дедушка. — Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как лвы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрее, быстрее, — и пресс мягко стиснул добычу...

— Ну вот... вот так...

Сперва тонкой стружкой, потом все щедрее, обильнее побегал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, — вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес,

и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютотой зимы побегит жаркое лето...

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, чтобы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном вьюга и спит весь мир и у людей захватывает дыхание, — даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чиханье, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, — всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое,

прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мощеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, — все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверно, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, — как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трав пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду,

к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город вырастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы и одна на время побеждает и завладевает просекой, ложиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга, дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, — надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу, и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смываемое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражьей пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой,

огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навеки, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаша. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступить ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг!

Голоса затихли вдалеке.

— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, — и наконец понял.

* * *

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первоизданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерят теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, пронсящих в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует всюду, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжелых башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. Ищи друзей, расшвыривай врагов! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. Мир бежит слишком быстро? Хочешь его догнать? Хочешь всегда быть проворней всех? Тогда заведи себе волшебные туфли! Туфли, легкие как пух!

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

«Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, — подумал он. — Ночью постараемся найти ту заветную тропку...»

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон

погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.

Вдалеке, нарастая, загредел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества, или погрузит в бездну отчаянья.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел:

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас, — вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Это было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично. — И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но, как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать назад и вперед, назад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие эти туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме.

В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок:

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну, как туфли? — с интересом спросил старик.

Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настежь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации...

* * *

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы «Тайкондерога». Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и никаких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну как если мы вдруг увидим, что папа и дедушка не все на свете знают.

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую еще ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново. Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновенности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целости и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом 1928 года, утром 24 июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — “и друг друга они не поймут”*». Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэтому-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда** мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

* Слова из баллады Киплинга. (Здесь и далее примеч. пер.)

** Празднуется в Америке в первый понедельник сентября.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш «Тайкондерога» (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок...

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

* * *

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здоровается с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или твякают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать.

Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много moskitov.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожелтевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающие погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — на завтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых moskitov, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочут голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения moskitov и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посидят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошастью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже вовсе ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчанье на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят, и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мотыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

* * *

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взры-

вать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты и в прах возвратишься». Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради Бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками — Дугласом и Томом, — возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вещают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья!

Все засмеялись.

— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман.

— Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишний винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше посплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели...

Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю... сделаю...

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегающей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мученье, напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах, или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало ...

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок на щеках сменить на мужественную щетину, а девочкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скидается по земле, эта машина утолит тревогу, и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему было пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!

Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна Вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.

* * *

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо рою метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф: сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчики скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и, только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же — Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно, — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от москитов глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалилась и сказала Тому:

— Сбегай, возьми пинту мороженого да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

— А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, — спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплому вечернему асфальту тротуара,

под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерялся об него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побегал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от moskitов дверь веранды: мама все еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарища-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную черноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустила на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Ду-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растерянна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчащий патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висюльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала:

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали

громче прежнего в сгушавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни — ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедушка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется

за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет; все, что живет, безыменное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень жабко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей, каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, ледящее мгновение — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверно так оно и есть, темный

прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту минуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. «Господи, не дай ей умереть, — молил он. — Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...»

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся, — дрожащим голосом сказал Том. — С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем. — Голос матери звенел от напряжения. — Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ. Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей Вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как трясины! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается ледяным ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудовище, имя которому — Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего? Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся как прибой холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки всё молчат, звезды опустились так низко, что, кажется, протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженной ожидание. Ох, как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама!

И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступала, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама. От ее страхов и следа не осталось. Том знал — она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой, спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу над виадуком, потом внизу, по долине, прогрехотал поезд, он

отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь...

Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство.

Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка. Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал.

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздалась шаги — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет.

И не ошиблась.

* * *

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это тоже!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, — таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претво-

рялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина... — сказала она наконец. — Не нужна она нам.

— Да, — отозвался он, — но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю, что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан и вечно рождает соль и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай, — говорил он себе, — и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

* * *

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взялась.

Ибо он услышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки,

кашешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого Июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

«Великое чудо — косилка, — говорил себе дедушка. — Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы — и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы».

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долгую философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжанье косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка, — сказал он наконец.

— Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, — сказала бабушка. — Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор.

Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то, — сказал он. — Вчера купил новые семена. Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака:

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. — Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. — Он непочтительно пнул корзинку ногой. — Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверно, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до исступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше поучились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым.

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать, один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атласу, у которого на плечах вращается земной шар. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень полезно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака.

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов.

— Билл, вы только что совершили превыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр. — Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой

же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжанье этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку:

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уиттиера* и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул — с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжанье.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неумоимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул:

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой:

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто.

Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и наконец на запад, — и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

* * *

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит:

* Уиттиер Дж. Г. (1807—1892) — американский поэт, прозаик, журналист, автор аболиционистских «Передовиц в стихах» и многих религиозных гимнов.

«Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна уместиться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста.

Лео захлопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только да или нет, больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказала Лина. — Ну а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось.

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалею! — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как это... задумается такой — и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух:

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода.

И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейшина, отвертки... Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно, Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу Богу это, наверно, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок.

«Вот так штука», — подумал он, уже лежа на полу.

Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье — высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Постойте-ка, — громко сказал Лео. — Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся.

И он опять откинулся на подушку.

Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео, — негромко сказала она. — Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет и я остаюсь одна со

стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбежать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыханье прибоа у далеких-далеких берегов...

«Завтра мы испытаем Машину, — думал Лео Ауфман. — Все вместе».

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило. Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет... нет... — всхлипывал он. — Все кончено... кончено...

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастьем, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены — одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо, — сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, — возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастенику, который стал на всех кричать.

— Ну, пожалуйста, — сказал он. — Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку! — закричал он.

Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа, — с тревогой позвал Саул.

— Слушаю! — ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось? — спросила Нозми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот!

Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!.. — Голос был изумленный. — Нет, вы только посмотрите! Это Париж! — И через минуту: — Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс! — шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет! — с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — поведал миру Лео Ауфман.

— Чудеса! — сказала в Машине Лина.

Лео Ауфман покраснел.

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа.

И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья.

Улыбка сбежала с губ изобретателя.

— Она плачет, — сказала Нозми.

— Не может этого быть!

— Плачет, — подтвердил Саул.

— Да не может она плакать! — И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины. — Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

— Постой. — Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам. — Дай мне доплакать.

И она еще немного доплакала.

Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе! — всхлипывала его жена. — Ох, как тяжело, прямо сердце разрывается... — Она вылезла из Машины. — Сначала там был Париж...

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видеть.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.

— Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез.

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

— Завтра же сведу тебя на танцы!

— Нет, нет! Это неважно, и правильно, что неважно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну а еще что плохо?

— Еще? Твоя Машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней, и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул.

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула.

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их

квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребяташки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья?

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники; наконец гараж с грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она. — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Много передумал я за один только час. И сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает: не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь.

— А пожар... — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотели им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Нозми вырезала из бумаги платья для своих кукол.

Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта: там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью; потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он хлопотал в доме — то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

* * *

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выносили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки — едва она мигнет или подожмет губы — все вскидывали цепи и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот, — приговаривала прабабушка. — Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра, — точный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе. — И бабушка ударила по коврику.

— А здесь ты пролила сметану. — И прабабушка выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытоптан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие.

Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали, — это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разуваяются еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор — хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно видеть столько всякого, — говорит Том.

Дуглас подозрительно смотрит на него:

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом. — Хлоп! — Наша улица! — Хлоп! — А вон то, черное, — овраг. — Хлоп! — Вот школа. — Хлоп! — А вот эта чудная закорючка — ты, Дуг! — Хлоп! — Вот прабабушка, бабушка, мама... — Хлоп! — Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков! — ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень, — сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. — Хлоп! — Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидеть. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз! —

погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой.

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки, — вставила прабабушка. — Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно, — загадочно сказал Том. — В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры. — Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион, — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны: пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверно, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сэндвича, — сказала мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда земля, повернувшись от солнца, накренится к черным безднам Вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — сказал Том. — Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том.

Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе, и пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных...

* * *

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо: это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят и Джон был еще жив... А вот Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон только что умер...

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число... и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками

нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкапами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, — свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и окликнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверно, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на тенистое крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца, ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени, — пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля, — улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая, — сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, — сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис.

Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое... Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо, — заметила Джейн.

— Конечно, нехорошо. Очень плохо, — подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут, — тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн?

Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза:

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. — Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой.

Миссис Бентли выпрямилась и застыла:

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Постойте, — сказала миссис Бентли. — Вы что, не верите мне?

— Не знаю, — сказала Джейн. — Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы, — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя. Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же, как всем вам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли.

Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите, — все еще смеясь, сказала Джейн. — По правде, вам никогда не было десять лет, да?

— Ступайте домой! — вдруг крикнула миссис Бентли, ей стало невтерпех под их взглядами. — Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья! — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том поплелся за ними. — Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыкала чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят — уж наверно они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем... если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только, — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. — В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая... почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж нет!

Ей казалось — дети бегут прочь под дуслистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предметы.

Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса.

Наконец, внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету:

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо, — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что, миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет, — объяснила она.

Джейн повертела гребенку в руке:

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет, — продолжала миссис Бентли. — Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот, — сказала она. — Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните. — И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже, — просто сказала Джейн. — Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис. — Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать, — сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить, — возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет, — вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая. — И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — И Джейн подмигнула Тому и Элис. — Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку. — Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да, да, придет день — и вы станете такими же, как я!

— Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите, — сказала миссис Бентли.

А про себя думала: Господи Боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами.

— Вот ты, — обратилась она к Джейн, — неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет, — ответила Джейн. — Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстаетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала и все кричат: «Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой, — сказала Джейн. — Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбегали по ступенькам). — Отдайте! Это все мое!

— Не надо, — попросил Том, догоняя девочек. — Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — Еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите, — сказал Том. Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию, — думала миссис Бентли; она стояла на крыльце и вся дрожала. — И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! — ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом.

— Дети правы, — сказал бы он ей. — Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иглой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но миссис Бентли упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет, — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. — Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят — ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была, — говорил он. — Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка, — сказал бы он. — Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты

была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю... Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу, — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. — Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьмите вот это. — И она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина. — И это, и вот это. — Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. — Берите все, что хотите, — говорила миссис Бентли. — Книжки, коньки, куклы, все... Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем, — сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, старуха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь наконец они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?
— Семьдесят два.
— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?
— Никогда.
— А как вас зовут?
— Миссис Бентли.
— И вы всю жизнь прожили в этом доме?
— Всю жизнь.
— И никогда не были хорошенькой?
— Никогда.
— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?
В душевной тишине летнего полудня девочки пытливо склонились к старой женщине и ждали ответа.
— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

* * *

— Ты приготовил блокнот, Дуг?
— Конечно! — И Дуглас хорошенько полизал карандаш.
— Что у тебя там уже записано?
— Все обряды.
— Четвертое Июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха, вроде того, как на веранду вешают качели, да?
— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.
— Какое же это лето, это еще весна.
— Все равно, это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шестого июня. Бим-бом, бири-бом — побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудный обряд, может, про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?
— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!
— Думаю.
— И что?
— Правильно. Никто не поймал. И не поймают, наверно. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает, — сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой: — Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что...

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул Дуглас. — А я и не додумался! Вот это да! Ясно, как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда, это как-то грустно? — задумчиво сказал Том. — И уж тут ничем не поможешь.

* * *

— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди.

Дуглас всмотрелся в старый дом.

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей!

Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит, — шепнул Чарли. — Он говорил: «Прямо входи и покричи погромче». Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке:

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь.

Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же... — начал было Дуглас. Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику: — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закрихтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли. — Девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый... — Полковник нахмурился. — Ну да, конечно, Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить... — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера... — Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр-варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пулей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье, — говорит Чин Линсу. — Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

«Готовься, целйся, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад крошечный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр-варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом...

— Поуни Билл... — Полковник ощупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии... «Шш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миль в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-тарарах, грохочет

гром. Так и громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Эти они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету — и тут я их увидел, клянусь вам, увидел своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны и буйволы!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана-негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту...

Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй! — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как Божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближнего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу; особенно летом, вот в такие дни, как

нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли! — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики.

Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику: — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — неуверенно пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я Гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава Богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны восходило солнце.

— Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антайтем, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антайтем.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Булл Ран, спроси его про Булл Ран...

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потомаке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннею луною палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потомаке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...» А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет: «Видели мы воочию — Господь наш нисходит с неба, он попирает лозы, где зреют гроздья гнева...» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя: «Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш, Авраам, триста тысяч воинов идут», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...»

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да.

Полковник открыл глаза.

— Что — «да»? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на голую стену.

Чарли встал:

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел.

Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы:

— Да, сэр.

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой:

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр?

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пффф, — запыхтел Джон. — Сейчас уеду в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у-у! Пффф, пффф.

— Ага, верно, — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. — А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу, — задумчиво согласился Джон. — Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, — сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

* * *

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот смотри: Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика — и поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами, — пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли. Зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз поспею на экспресс полковника Фрилея! Вот слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бентли и спорит, но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово, Дуг. А что это значит?

Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой нипочем с ними не сравниться. Если уж очень

повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьдесят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том, — шепнул Дуглас. — Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидеть все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может, и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде — и верно, так оно и есть! Он и сам в нем ездил, и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, глядите в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом когда-нибудь сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже поможешь, как полковник нам помогает. Вот как оно получается, Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может, да, а может, и нет.

— Дальние путешествия, — прошептал Том.

— Одно я точно знаю, — сказал Дуглас, закрывая глаза. — От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

* * *

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче. Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжелой ношей, чтобы их не задела громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца... Стараясь перекрыть этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Куотермейн!

— Мы, наверно, его убили! И наверно, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!

И тот ужасный коммивояжер из Гампорт Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из спящего солнечного блеска, сверкающая, великопная, точно карета сказочного принца, возникла...

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изыщная, словно кленовый лист, свежая, словно ключевая вода, она мурлыкала как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт Фолса, его напoмаженную голову осеняет панамы. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она, жужжа, подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это... (он нажал грушу, раздался отрывистый лай)... это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! (Пахнуло свежестью, как после грозы.) —

Вот стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверно, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом устался на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! (Он пренебрежительно щелкнул пальцами.) Но имейте в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг; друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнувшая краской, и ждала их; удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыхание мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она... то есть... — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта! — Машина скользила мимо крыльца, взд и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на машину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно, и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно

плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина, жужжа, проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной, недвижной реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня... — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление.

Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигнала из всех сил. И вдруг точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Куотермейн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно! — взвизгнул мистер Куотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Куотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не остановились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш! — Обе прислушались.

Внизу опять кто-то стучался в дверь.

Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверно, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжело вздохнули.

Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга:

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту, — сказала мисс Ферн. — Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.

— Мистер Куотермейн?

Молчание.

— Кто же еще...

Роберта ответила не сразу:

— Посмотрим в вечерней газете.

Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину... А в ней так приятно ездить... видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо...

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться.

Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту:

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали...

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковороде, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется... — Ферн долго не отрывала глаз от стены, — нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку, да так и застыла.

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве... разве мы должны... совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?

Ферн подумала.

— Это, наверно, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи.

В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички! — крикнул он.

Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обоим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.

— Да, сейчас.

Ферн накрыла на стол.

Во дворе рывкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.

— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось? — строго спросил Фрэнк.

— Оставь ее в покое! — закричала Ферн.

Фрэнк удивленно поднял брови.

Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.

* * *

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток.

В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко:

— Эй!

И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, вожатый, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?

— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию,

вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем белом свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке...

— Напоследок? — переспросил изумленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь буду? Нет, нет... Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно, — сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад, — сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден щелкнул выключателем аварийного генератора. — Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянными дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному, — говорил Дуглас. — Ездил я в Чикаго на автобусах: у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит, — сказал мистер Тридден. — Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впадал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сандвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты из всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребяташки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво... Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время, и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекоты сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит... Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмиревшие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон: Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

— Что ж... До свиданья, мистер Тридден!

— Всего вам доброго, ребята.

— Еще увидимся, мистер Тридден.

— Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденный зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках; свернул за дальний угол и скрылся, пропал с глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть, Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему, и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в теплой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко, чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде, между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния, мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай!

И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели...

— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

* * *

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда — отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке как вкопанный и посмотрел на него:

— Погоди-ка, что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду... ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух... Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи! Как же это так вдруг? Весь век ты был тут, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали...

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых... Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду.

Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.

— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?

— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.

— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон Хаф.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твои края. Вот будет здорово!

Джон долго молчал.

— Давай поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.

— Про что?

— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц и еще позже. Про богомоллов, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай как будто ты уже опять приехал — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.

— А раньше хотелось!

— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверно, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный...

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искрилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?

— Конечно.

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти окаянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверно, это потому, что... — Он говорил медленно, запинаясь и путаясь. — Наверно, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверно, еще много чего не замечал... А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них

лица. А потом прихожу назад в свою комнату и опять не помню! Черт возьми, Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками коленки. — Обещай мне одну вещь, Дуг. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай! Ну? Какого цвета?

Дуглас бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся:

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже непохоже.

Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе.

— Ну ладно.

Джон открыл глаза.

— Зеленые... — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза зеленые... Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти светло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду.

Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму и кричали, и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные конфеты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услышал, как далеко-далеко, в иных землях, идут невидимые поезда и посылают ему азбукой морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувыркаешься, и вдруг — хват! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай.

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа!

И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать, — отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться. Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута — и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо», — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре, — сказал Джон. — Бойскаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и помчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов.

Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарником на железную дорогу, — объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке, — сказал Джим. — Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С хохотом размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, заслышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями.

Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно, — сказал Джон. — Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?

— Я, — сказал Дуглас.

— В жизни не слышал, чтобы кто сам вызвался водить, — сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь, — сказал он.

Мальчики с криком кинулись врассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделить кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно-медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли как статуи другие мальчики, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый, — и никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этой безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и коленки и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас уgomонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево... А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыхание.

— Ну, Джон, — сказал Дуглас, — смотри не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа.

Губы Джона шевельнулись:

— Дуг...

— Замри, — приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти, — шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой, — сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на друга. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки.

— Сыграем еще разок, — сказал Джон. — Только теперь водить буду я. Разбегайтесь!

Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли. Дуглас тоже.

— Не шевелись. Ни на волос.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится, — сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще три минуты всем застыть, как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока, — сказал он.

Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

Стой! Он прижал руку к груди. Перестань! Не хочу я это слышать!

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

«Самое лучшее — статуи, — подумал Дуглас. — Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь».

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь! Ты мне не друг! Не приезжай, никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь! Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полной темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять и опять твердил себе: «Я зол как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

* * *

— Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно? — Обещаю. А что это?

— Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?

— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?

— Ну... ясно... и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свалилась.

— Вот еще! Дурак я, что ли?

— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.

— Бороды! Ух ты!

— Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом и чтоб с тобой ничего не стряслось.

— Уж будь спокоен, — ответил Том.

— Да я в общем не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как Бог управляет миром.

Том задумался.

— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

* * *

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, — она его сильно порезала, когда брала себе ломоть кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила:

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот такходишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо, думая о другом.

— Ну выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице...

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы «Джонсон — Смит», город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... дай-ка вспомнить... — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, проверенные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или... — он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова, — белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов»!

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, фокусником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных, практических и т. д.

и т. п. Уф! Ей-Богу, голова у меня — как у папы римского! Все слова помню, хоть ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу, да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасно потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И не разбирая дороги кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти кости сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том.

Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудуотер. Колдовство!

— Колдовство?

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет, как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудуотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развевается от ветра занавеска.

— Здравствуйте, — произнес спокойный голос.

И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том... Какими судьбами?..

— Не торопите меня! Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?

Миссис Гудуотер улыбнулась:

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос.

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что он читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! «Стану колдуньей», — сказала я ему. — И хлоп! Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверно, вы имеете в виду Сандвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сандвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слышали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чудо! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не совестно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не унимается; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягнете, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, — сказала Эльмира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери:

— Я покупаю разные волшебные травы. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется «рута душистая», а вот эта — «копытень», а та —

«арсапарель». Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей! — Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Пойдите, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно; вы хотите стать председательницей нашего клуба, да? Вот уже десять лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась; надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку, все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к Рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— А-а, как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет... — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней... стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Гринтауне, штат Иллинойс, вы всего лишь вторая. Вы и сесть толком не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кеноше или Зионе. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали с глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце:

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!

Ведьма прелюбезно улыбнулась:

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у нас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она.

Вошла в дом и заперла дверь на крюк.

Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. — В последний раз вам говорю: снимите свою кандидатуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит...

— Замолчи, Том! Хороший — значит хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иглами. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председателем клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА»! — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зиммити-ЗЭМ! Ну как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер.

Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том.

Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий.

Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз, да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру), сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ.

Во-вторых, вещи сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена! Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

— Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.

— А? — отозвался спросонок муж.

Эльмира улеглась в постель.

— Я умирать не желаю.

— Как ты сказала? — переспросил муж.

— Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок.

— Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помешивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С виду — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.

— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью! Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела.

Сэмюэл Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечить. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь! — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира. Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девятиностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследовала без всяких происшествий к дому Сполдинггов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Ну разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два вперед.

Клуб «Жимолость» был полон: дамы гляделись в зеркальце, взятое у приятельницы, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел, — это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый несчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли; разговаривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни, — прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребешки, — настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога...

Слушательницы захихикали.

Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю, — прошипел Том; глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты.

— ...супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэла Брауна... (в зале опять смех) ...служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прошу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко шелкнув, заглопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблуками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой; вода потекла по всему столу и капала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер

и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом и никто ее не слышал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветряной оспой и коклюшем. Вы не хотите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира.

— Это я! — И миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... — Она умолкла. Пошатнулась. Потом мигнула. — Во мне винный камень, и... во мне желтые цветы травястребинки и молоко, заквашенное при свете луны, и... — Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревоуещательница.

И опять на мгновение зажурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила несколько тертых морковок, и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и...

Она снова умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика... — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома. Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции... — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер.

Одна из дам встала и открыла окно.

— ...сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и... — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкатившийся к горлу.

Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне.

В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу... Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду.

Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забегали кругами, натываясь друг на друга, — точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер напрямик кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он. — Донижу целых сорок ступенек!

И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были ослаблены, и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно татуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. Два-три дня она как-то странно неподвижно держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете... Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец, не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну скажите что-нибудь и сядьте! И пойдемте

наверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон, или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Вовсе ни к чему.

И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

* * *

— Что ж уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство как пить дать!

— И ты в это веришь!

— Середка наполовинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! — И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары, и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважноецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы... — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

* * *

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать, и наконец яблоки начинают сыпаться как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз... И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму...

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда оно пронзало острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу... как их зовут?.. Чарли, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник... Полковник...» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер 3899.

И далекий, но удивительно ясный голос:

— Bueno.

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять! Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Гринтауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздались шаги — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли, вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор...

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: режут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи...

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полой халата.

Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник. Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.
— Не сейчас, — сказал полковник.
— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — Сиделка улыбнулась.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растрожили?

— Ничем.

Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу:

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут вокруг вас...

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О буйволах, о бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье, — сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться. — Она откатила кресло в другой конец комнаты. — А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели он не отрываясь глядел на телефон.

— Я сбегаю на минутку в магазин, — сказала сиделка. — А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин... разговоры... разговоры... Буэнос-Айрес... и Лима... и Рио-де-Жанейро... разговоры...

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился — они совсем тонкие!казалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще... В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Вуено.

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор, — сказал далекий голос. — Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик. — В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе, — продолжал старый полковник. — Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это в самом деле будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и наконец открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «*Loteria Nacional para hoy*»* и суют проходим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут...

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук — на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипенье кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может, лишь непрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гуденье медных проводов, что тянулись за две тысячи миль...

* Сегодня розыгрыш национальной лотереи (*исп.*).

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходиться!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному невтерпеж. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем да и бросим его?

— Так ведь он болен?

— Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся, и...

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гуденье проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук.

Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

* * *

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм!

Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот вытащишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов и буйволов, огромное, как весь Грингаун, штат Иллинойс.

Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких буйволов... И никаких не будет солдат, и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба*, и Чин Линсу не будет! Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они все умерли. Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут?

Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм, — негромко сказал Том. — Бумм, бумм.

Потом закричал вслед брату:

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну ладно. — Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. — Бумм, — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. — Бумм!

* * *

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели, как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

«Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, — подумал он. — Почему же она ни капельки не ярче других?»

* То есть Авраама Линкольна.

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?

Где же, где веселые собаки, что все лето резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или по крайней мере кажется, что нет».

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далях, и если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пылью пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну-единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, заполыхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого Июля. Этому придется поверить.

И все же... вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и, однако, в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло...

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувырнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. Дуй!

«Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувырнусь — хватит», — подумал Дуглас на бегу.

* * *

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию? Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и, когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер прервал его:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэр, — подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторы на окнах, плетеные стулья... Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру. — Вы, я вижу, наделены и вкусом и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели бы отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести заказать такую неслыханную редкость, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине — похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдингов, — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишите в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень слышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю, — ответил Билл Форестер. — Вы — Элен Лумис. — Он чуть замялся и прибавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала. — Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. — Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят... да, семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой, дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж. — Она поднялась. — Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду, — сказал Билл Форестер.

И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город, на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло, — ведь он как будто об этом и не думал вовсе, — очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его сами собой поворачивают руль и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и выдававшая виды трубка, — в огромном зеленом саду перед свежееккрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, — сказал он, подходя к ней. — Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Коли ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо все-таки старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая?

Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал белую лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через луга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон.

Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной душой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна, и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Гринтауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет эдак на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе, — добродушно сказала мисс Лумис. — Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, — большая редкость, — сказал Билл.

— Бог ты мой, — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить, как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверно, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, — сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящая для вас компания.

Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь, — сказала мисс Лумис. — Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, пробежите сегодня вечером, часов в одиннадцать, по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир... — начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку... а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса... а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и наконец замирает вдали...

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул:

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой...

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис.

Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее... — а про себя думал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис.

Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, это делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

«Лебедушку, конечно», — подумал он, — и, наверно, она прочла это слово по его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнялись слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради Бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать: его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да?

Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходить.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж. — Билл согласно кивнул.

— Итак, — начала она, — на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю...

Она стоит на мосту и глядит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе считают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели, — сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да ведь на свете столько молодых девушек...

— В вас есть все, чего недостает им, — доброта, ум, остроумие...

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной. — Она умолкла и перевела дух. — Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была... ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замаялся:

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатывают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку. И перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыхание душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают в ночи, неслышные и неожиданные. И все это — теплота дыхания и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли

истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии.

Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну вот и все. Не выпить ли нам еще чаю?

Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты, — за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь, — сказала мисс Лумис. — Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда было покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так стремительно, что казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была сумасбродней его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неумный, и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и, однако, всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице: «Роберт! Роберт!» — не обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, яркая зелень листвы потускнела,

а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала, — сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите. — Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. — Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте.

Он сел.

— Дорогой мой Уильям, — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. — Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. — Она предостерегающе подняла руку. — Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. — Мисс Лумис махнула рукой. — Ну хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, женщина, которая прошла в эту дверь, имеет такое же право на уединение, как женщина, которая удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно, — выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел... — ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот, мы с вами и есть родные души. — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — странная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажила на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А покуда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Я знаю, это не так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками — ведь правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятьсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг

сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девянстом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговоятся. А потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать...

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноим опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и, куда ни глянь, мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бежит по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь Четвертое Июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и, когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом...

Голос ее все не смолкает, день на исходе, и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издали может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька...

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было, такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали: Дуглас и не пытался заговорить — чутье подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу... потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои наручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая, разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя, и наконец выговорил их вслух, и снова повторил:

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

* * *

Дуглас, Том и Чарли, тяжело дыша, бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в пьесках, которые показывают на утренниках по субботам.

— Ну это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу. Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. Наутро встаешь и, может, все пойдет хуже некуда. Но когда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и как полежу немножко, все опять станет хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Лумис.

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет — про это, да? Ну а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал, и я под конец сообразил, что к чему, и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом, мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу и играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли.

Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий моросящий дождик брызнул навстречу огромному кирпичному зданию; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было.

«Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова, и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в аммиачных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но незабытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними повсю светило солнце, а лица опять и опять оведало холодное дыхание зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них заоченели — пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать полотно.

— «Ледяные дуновенья, леденящие туманы», — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и уплывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. — Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота: — ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб... Душегуб...

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — Чарли широко ухмыльнулся: — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

* * *

Часы на здании суда пробили семь. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронесли мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма.

Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, заведя подружку со своей веранды.

— В кино «Элита», смотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния.

— Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня захватим пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния.

За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыхание летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежее испеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело... Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллис, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел...

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коммивояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удушенными и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамо-машиной, которая ни днем ни ночью не знает покоя; там непрестанно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамо-машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой,

Лавиния. По этим ступенькам и через мост... а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоём доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай пойдем напрямик.

— Я боюсь!

— Еще рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже.

Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканья лягушек и напоенную тонким пеньем москитов тишину. Они пробрались сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь, попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели...

В певучей тишине ночи, под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватила за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами; лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину; а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами металась пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверно, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли прочь от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели как льдинки; и ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы дойдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше. Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы настороженно принималось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где оставались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния взгляделась в свои часы, словно они были Бог весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет... твоя подруга... и моя...

— Ей мы уже ничем не можем помочь; значит, надо думать о себе. Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораживая им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело, и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый как мел от лунного света и, не отрываясь, глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина.

Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промышал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Неббс.

— Ну наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притоптывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы... — начала было Франсина.

Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох: Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она... умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, — сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет.

Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подружки пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут, и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют

на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопущими и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов — и вдруг детей точно вымело с улицы, они побросали все свои игры и разбежались по домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только брошенные хлопущие валяются в лимонных и земляничных лужицах растаившего мороженого. Странно: душные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех, — ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И, словно кулак обрушился на клавиши органа, все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знай себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — сказала Лавиния. — Если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.

— Как не стыдно! — И Франсина истерически зарыдала. Улыбка сбежала с губ Фрэнка.

— Прошу прощенья, я никак не думал...

— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слышали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаєте по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите...

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставляйтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и решительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас расспрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто такая?» — «Да это ж Лавиния Неббс, — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал... «Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто, не подумавши. А вот сейчас, как услышал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще нет ничего худого.

Все как замороженные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто

перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну вот что. — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз там, в овраге, нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит, нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесть чего навывдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет... — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко поговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу сорок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости.

Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лавиния, — прошептала Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — И Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен.

Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подружки вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен: бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала.

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверно, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же сцапает, вот увидите. Правда, фильм чудесный?

Улицы были пусты — легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, униженные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов проводжали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветаящие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну, публика эта, из витрин...

— Ох, Франсина!

— Не знаю...

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только втроем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте и, когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи, — возразила Лавиния. — Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния, — сказала Франсина. — Ведь из всех нас ты самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек

и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно несло куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь, — предложила Лавиния.

И они запели «Свети, свети, осенняя луна...».

Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

«Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках, и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, — думала Лавиния, — все живое забилося в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту. И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени».

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада... будет так весело! — Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо, — сказала Лавиния.

И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала, — сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. — Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну, тогда спокойной ночи, спокойной ночи!

Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен, — сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустыми улицами, над пустыми палисадниками и пустыми лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно? — спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за закрытыми дверями. Ведь сейчас, наверно, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда...

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь, — ответила Лавиния. — И мне, наверно, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво. Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но в общем не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете!

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светилось, где-то лаяла собака. «Через пять минут я буду уже дома и в безопасности, — думала Лавиния. — Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...»

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев, мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой...»

Лавиния прибавила шаг.

Голос пел: «Я тебя обниму... и своей назову...»

В тусклом лунном свете по улице ленивой, беспечной походкой шел человек.

«Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь», — думала Лавиния.

— «Под июньской луной жду свиданья с тобой», — пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой.

— Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди?

Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь придется идти через овраг...

Да, думала Лавиния, но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?

— Ничего, — сказала она. — Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь, — предложил он. — Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку.

«Ну вот», — сказала она себе.

Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-стрит. И на всем этом пути — только один фонарь. «Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, — думала она. — Ничего со мной не случится за какие-нибудь сто восемьдесят секунд».

Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь, шептала она.

— Это уже пятая часть пути, — объявила она себе.

Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно-черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; запертые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели? И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слышала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил Вселенную.

«Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!»

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

«Ничего там нет, — думала она, держась за сердце. — Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать?»

Сердце понемногу успокоилось.

Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки.

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь... девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— погоди, — сказала она себе.

Сделала шаг. Раздалось эхо.

Еще шаг.

Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной, — шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке. — Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает.

Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага.

Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг, против обыкновения, застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И, может быть, где-то за тысячу миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая вечность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверно, просто дятел стучит по дуплистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячи миль, затопила землю, точно белое море, полное теней.

Скорей, скорей! Все ниже по ступенькам.

Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит, бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной и быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная...

«Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!»

Она бежала по мосту.

«Господи Боже, прошу тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох, как темно, и все так далеко! Если я даже крикну, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну вот, конец тропки, вот и улица; Господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!»

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

«Ну вот крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!»

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блестит в темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад... Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно, как ни в чем не бывало... и...

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

«Открывайте же, скорей, скорей!»

Дверь распахнулась.

«Скорей туда. Захлопывай!»

Она захлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь, прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу утих.

«Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома! — Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. — Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава Богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп! Выгляни в окно».

Она выглянула.

«Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. — Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. — Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю... И на веранде никого нет, и во дворе тоже... Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте. И все-таки как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!»

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?!

У нее за спиной кто-то откашлялся.

* * *

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли!

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю вовсе, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда «скорая помощь» вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка Лавиния Неббс берет и протыкает его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай он ее спокойненько душит?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дома, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб, Душегуб!» А он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полуночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я... — начал Дуглас и умолк.

Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли.

Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? А этот похож на лотошника — знаешь, который вечером перед кино торгует конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидал пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно...

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи вылупленные и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютельница в тютельку.

— Ну вот. — Том фыркнул. — Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал, и те какие-то рыжеватые... Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу, — сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо, ты вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий! Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой, — шептал он. — Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу:

— Послушай, Дуг, что же это я натворил?

Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить... Я его чуть не выпил...

* * *

Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в

сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неутомимо сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неутомимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покоившиеся картины.

Но теперь...

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка.

Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь наконец под чертой выводишь самую последнюю, окончательную. Она начинала индеек, цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали усталости — весь день они утоляли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и... старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела, — сказала прабабушка. — Что-то я хотела...

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни и начала умирать.

И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно, — шепнула она.

Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело, и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо подготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том...

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы расслышать шепот.

— Том, — слабо, издалека шептала прабабушка. — В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, Том, когда те же ковбои начинают стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти напрямиком к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и ухожу, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не накусила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу?

Каждую весну, в апреле — так повелось с незапамятных времен, — на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас, — прошептала она. — Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай...

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепелась:

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет.

Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею, — сказала она. — Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать мятную жевательную резинку... Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось, что обрезки ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем,

кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду, и за уборку в чуланах, и пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец — только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти. И, пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть...

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше.

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя свои еще не окрепшие косточки.

«Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Постой-ка, дай сообразить... — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем, бишь, я?... — думала она. — Девяносто лет... Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот... Да, вот оно». Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечно-зеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее,

и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже кроватью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погреб и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неугомонная жизнь.

— Все хорошо, — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

* * *

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертво-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как замороженный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ ЧТО:

...взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, иди даже остаются недоделанными, или кончают свою жизнь в гараже...

...или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз...

...или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда...

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:

...они уезжают...

...чужие люди умирают...

...знакомые тоже умирают...

...друзья умирают...

...люди убивают других людей, как в книгах...

...твои родные тоже могут умереть...

ЗНАЧИТ...

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул; опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его. **ЗНАЧИТ**, он дописал огромными, жирными буквами:

ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ, И БРОДЯГИ, И ПРИЯТЕЛИ, И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАБУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ... ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА... ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ... ДОЛЖЕН...

Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

«Все равно я сейчас больше не могу писать, — подумал Дуглас. — Больше я сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня».

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтоб мерцающий свет падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть...

* * *

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым как игла взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты, — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья сверкнет в тебя на прощанье уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу:

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты допытываешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. — Потому что потому кончается на «у».

Потому что... огни галереи затуманились... потому что...

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека...

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнущую известью мужскую комнату и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: «Сколько людей, которых я знал, умерли этим летом... Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла — и кончено. И это еще не все... (Он запнулся.) А я? Нет, они не могут убить меня!» — «Да, — сказал голос внутри, — да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь...» — «Я не хочу умирать», — беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется, — сказал голос внутри, — хочешь не хочешь, а придется».

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: «Никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ...»

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее —

людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею сноп лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался, и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая, — сказал Том.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку — ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно!

Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полускрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику.

— Эй ты! Давай работай!

Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась... Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окочуриться...

— Ну пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыханья оно затуманилось.

Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало...

Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову, одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло, как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задребезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта.

— Она ожила! Она опять действует!

— Дуг, а что там, на карте?

— То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай!

И Дуглас прочитал:

Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!

Только дурак хочет умереть!

То ли дело плясать и петь!

Когда звучит погребальный звон,

Пой и пляши, дурные мысли — вон!

Пусть воет буря,

Дрожит земля,

Пляши и пой,

Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!

— И больше ничего? — спросил Том.

— Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».

— Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает?

И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдунья хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие.

Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну, обыкновенная пустая карта, мы потеряли всего одно пенни — подумаешь, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и эдак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни все плохо — друзья исчезают, людей убивают и хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь все прочно, неизбежно, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая пленка, и начинается погоня — отчаянно мчатся отчаянные бандиты только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакового волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовые аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочитать свою судьбу, и даже в тех, которые прочитаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в

мире людей, можно отдать время, деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно поддержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер: стукни кулаком по мешку с опилками из всех сил — и сразу увидишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится, по всему миру. Или еще — стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорее опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом верху — значит, ты даже сильнее робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда застынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат...

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмураясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозитя убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано,

только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидал — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще не ушли? Постой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка...

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы. Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас.

И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письмена... слово, два, три...

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было!

Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять: «Secours! Secours!»* А потом кто-то сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours!».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, дурень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась... — Тут Том увидел лицо Дугласа и запнулся. — Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова...

— Там еще стояло... «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно, и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

* Спасите, на помощь! (фр.)

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там — воск, уж такой-то старый, наполовину растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почему ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, зальет лицо воском, и будем мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете, — сказал Том. — Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он... постой-ка. — Том вытащил из кармана несколько монеток. — Ага, этого, наверно, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и Сыщиков» — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже, верно, будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет?

Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух.

Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно: лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой

в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмеялся Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась, да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыхание.

— Это я, старушка, — сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тс-с! — шепнул Том. — Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и Сыщиков». Мистер Мрак как услышал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытаращил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь; в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?

Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и конечно..

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск... и вот теперь... вот она и...

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли...

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну... может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака. — В последний раз, черт бы тебя подрал, я требую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее, или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная как рыба, а человек помирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Ух ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас. — Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак. — Лгунья, лгунья! Вот тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасли в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею. — Мистер Мрак!

— Дуг! — кричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и вгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверно, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожащими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тыфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклойной преграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятия, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда пробили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым, светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он поминутно отступал в сторону и прятался в скользкой тени деревьев. И прислушивался и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пуль вылетел Том и мигом догнал бархат.

— Дуг, я застрелял потому, что боялся — вдруг он... ну, в общем... а потом он ожил и стал ругаться... Ох, Дуг, если он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой, и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... — Дуглас перебил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.

— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках

у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он подумал: «А в самом деле, к чему?» — и медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило... будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплют и совсем негде будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте... и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертами и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и...

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не оборачиваясь, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку палили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатались по траве, а рассвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков:

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные ручки вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятьями метнули, точно из великанской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятья, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла.

Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил!

И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался. Поглядел на брата.

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи скорей сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пусть его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между грудками золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему...

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею

на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— ...все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел.

Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.

— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенькие косточки вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона...

— И никакого механизма? Давай вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заго-

ворят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала... и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голой, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная — и, пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова.

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо:

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас... И еще там будет сказано: «Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля! Только дурак хочет умереть! То ли дело плясать и петь! Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли — вон!» И еще: «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно, Том, вечно. И никогда не умрем...

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты, — чуть слышно сказал Том.
И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:
— Эй, ты...

* * *

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:

— ...девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— ...тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать...

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься...

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том. — Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд. — Он поднял вверх свои дешевенькие часы. — Надо только заметить время, прибавить тридцать девять, и получится, сколько сейчас градусов жары. — Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три...

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь, — считал Том. — Восемь...

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома:

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту.

— ...двадцать семь, двадцать восемь...

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре...

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три! Пятьдесят три плюс тридцать девять будет... будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял покрасневшее лицо к солнцу.

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо — точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижный, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз... два... три...

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— ...четыре... пять... шесть...

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

* * *

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошади с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Нэд!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Нэд, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное

пение, точно молится старый раввин в земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди его самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел:

— Хлам, барахло?
Нет, сэр, не хлам.
Хлам, барахло?
Нет, мэм, не хлам!
Спицы, булавки, иголки,
Тряпки, обломки, осколки,
Пустячки, побрякушки,
Вещички-старушки —
Все возьму в барахолку
Ради пользы и толку!
Ясно ли вам?
Это не хлам!

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные, в заплатках, плисовые штаны, побуревшие от времени, а на голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без устали кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки-кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей; он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраца?» — и Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Грин-тауне; и если кто маялся головной болью, надо было только,

завидев сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонаса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну прямо руки богача, верно, он ведет еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудачком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здравый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя, жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; была там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то бренчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус

или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пытливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сияния. И тут ребята во все горло кричали ему: «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка: такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса, и мистер Джонас уже опять пел:

— Хлам, барахло?
Нет, сэр, не хлам!
Нет, мэм, не хлам!

Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

— ...хлам...

Все тише и тише:

— ...хлам...

Еле слышно:

— ...хлам...

Все стихло.

И собаки спят...

* * *

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры, и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем

покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преображались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханьем. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взошло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф, — сказал Том, входя в комнату. — Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты, может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем. — Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам, — сказал он, — Дуг, кажется, здорово заболел.

Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла, и на лице у нее мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дома. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что

он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа — он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задержали занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известка.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап...

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз кряду и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден...

Кап. Упала песчинка. Кап...

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты, Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон...

Дуглас повернул голову — как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут...

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап... Кап...

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт буйволов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет...

Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит, как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий частый стук Тук-тук... тук! Тишина. Тук-тук... тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет:

Соберемся у реки... у реки... у реки...

Соберемся у реки...

Что струится у подножия

Трона Божия...

— Бабушка! Прабабушка!

Кап — тихонько, — кап. Кап — тихонько, — кап.

...У реки... у реки...

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

...у реки...

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала обжегшись и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощеным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было власть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку, и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом...

Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдинггов.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну... — начал было мистер Джонас и прикусил язык.

Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал — я его ненавижу... я думал.. мы ведь всегда деремся... Наверно, я и правда его ненавидел... иногда... а теперь... теперь... ох, мистер Джонас, если б только...

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится...

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валятся.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну... во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом он еще свалил дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и, понятно, лето вышло пропащее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие годы, — сказал старьевщик.

Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти годы.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает...

Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете?

Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня, лицо у него было

усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том, — сказал он, глядя в спину лошади. — Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда... трудно сказать. А куда...

Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесков.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать, — попросил старьевщик. Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал мистер Джонас. — Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он... — Она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова,

которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас.

Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас.

Если прислушаться, казалось: кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и наконец легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснуло.

В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали. Взошла луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

И еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух... А вот кому воздуха?.. Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед... Купишь разок — запросишь в другой... Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев, с Антильских островов... ясный и синий, пахнет дыней... Воздух, воздух, свежий, соленый... чистый, душистый... в бутылке с колпачком, надушен чабрецом... Всякому на долю, и всласть и вволю, сколько хочешь вдохнешь — и всего-то за грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решил и неслышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг, — сказал старьевщик, — ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь: это старик Джонас, твой друг. Твой друг, — повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем бишь я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождем и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — помни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕНЬЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕЙШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взятые из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке».

Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнущих водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав, и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи и фургон покати по улице в лунном свете.

Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг правляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнувшая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

* * *

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листьях, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топоток гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клонуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза; он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно

медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы «Тайкондерога»...

* * *

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и все они пили чай. Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, недаром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владенья — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и вгляделась в лицо — совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: «Бабушка, наверно, здесь и начинается мир?» Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый фундамент, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры: в этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завертывала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ощупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Мошकारа кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг

маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь, на полках, выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

«Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? — думал Дуглас. — Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверно, только так и можно...»

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбросил вверх темные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятное название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж, верно, был человек необыкновенный. Он, верно, без усталости носился по всему свету и наконец собрал отовсюду все радости, и запихнул их в эту банку, и большими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот сочной травы или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостинной голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, — ответил дедушка; он сегодня пришел с работы пораньше,

чтобы огромному цветку не было скучно. — Ее стряпня всегда окутана тайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стеклянные вилки на люстре в столовой возмущенно зазвенели.

Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой.

Пряности... вот отличное слово? А бетель? А базилик? А стручковый перец? А кэрри? Все это великолепные слова. Но Услава, да еще с большой буквы, — тут уж спору нет, лучше не придумаешь!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или и дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе, — все равно они не встанут из-за стола, недостижимые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скал, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу...

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упоительной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни, и заглядится, и заслушается — а там взметаются тучи сахарной пудры, что-то позвякивает, трещит, щелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка щурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что, случалось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением, всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке:

— Говядина... или барашек? Имбирь... или это корица? Ветчинный соус? Черника? И, верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные расспросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо развертывали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаилась бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучает, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо, — сказала бабушка.

Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая! — продолжала тетя Роза. — Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света, — сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прошу тебя, сядь, посиди, — сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала... — сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять—пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станутдохнуть от обжорства, как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь? — с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся! — зашептал в библиотеке Дуглас.

Но, к ужасу своему, он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей, — и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к этой суете. Потом озабоченно поскреб подбородок:

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр, — сказал Дуглас, — и во сне не снился.

— Что там у тебя? — спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга! — воскликнула она и уронила книгу на стол. — Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, шепотку сего, капельку этого — и все тут.

— Я помогу вам все закупить, — сказала тетя Роза. — И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели вы все эти годы портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идемте за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбита с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг, — сказал дедушка. — Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Попомни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт, — сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые.

Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда как вкусно? — спросила тетя Роза, не обращая ни к кому в отдельности. — И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем настанет понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же безрадостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домочадцы предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что, — сказал дедушка. — Дело зашло слишком далеко. — Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: — Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк, — сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа. — У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай... — И он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его теплым дыханьем.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду, она срезала цветы.

— Тетя Роза, — серьезно предложил он, — пойдемте погуляем, хорошо? Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойно и торопливо; на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подходили к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку.

— Роза, — начал он, — мне надо тебе кое-что сказать, — а сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела, чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал, — ответил дедушка. — Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навестить опять годиков эдак через десяток. — Дедушка вынул массивные золотые часы. — Теперь пойдемте-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка, по своему обыкновению, задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча устались себе в тарелки, сложили руки на коленях, а за щекой так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась, — сказала бабушка. — Я больше не умею стряпать...

И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие, руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибор. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыханье.

Ощупью пробрался на кухню, минуту постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «Сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шпагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящиков, где она лежала годами. Снял с полки тарелки, вытащил из ящиков ножи и вилки — им место на столах!

Потом он отыскал новые бабушкины очки на камин в гостиной и спрятал их в погребке. И наконец, разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались один за другим все обитатели дома — женщины в папилютках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспылками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка; было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не нарушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены кэрри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесся то ли тихий стон, то ли мычанье, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на которой режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепнулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

«Старьевщик, — думал он, — мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше...»

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

* * *

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тьфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа. Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке — он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай. — Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку. — Ведь не я создал мир. — Он на минуту

задумался. — Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей, не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется... что я буду один, — пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни, — сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро разворачивать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, а вечером заворачивать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово, — сказал Том. — Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся:

— Да, это вернее, чем записывать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну а когда бутылки опустеют, тут уж лету конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездымно, действительно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль буйволов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось,— сказал Том.— Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось, — сказал дедушка, разбирая винный пресс. — Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют... и уже не отличишь один от другого...

— Как же так! — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засыплют всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погребца, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь. Том, — сказал он. — Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцанья вина из одуванчиков и вышли из погребца: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет mosquitos, они покинули поле боя — и тут войне со Временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрами воздух. Мальчикам казалось, в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость.

Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

«Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезает в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слышать, только листья с деревьев так и падают».

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслу ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах созревающих тыкв — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет изнутри жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погреба потекли жесткие черные реки и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку:

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы!

Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет!

И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли огни.

— Ну, теперь последние... вон там... и тут...

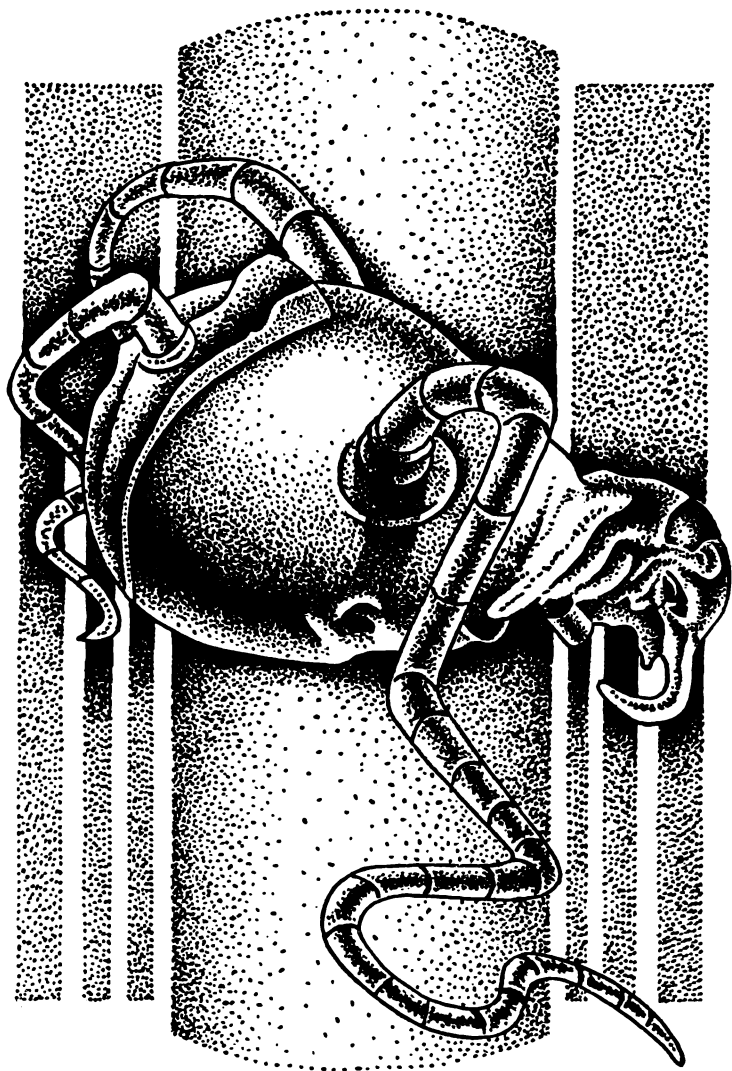
Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребке стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все, до конца...

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.



**ОКТЯБРЬСКАЯ
СТРАНА**



Эйми отрешенно смотрела на небо. Тихая ночь была такой же жаркой, как и все это лето. Бетонный пирс опустел; гирлянды красных, белых и желтых лампочек светились над деревянным настилом сотней сказочных насекомых. Владельцы карнавальных аттракционов стояли у своих шатров и, словно оплавленные восковые фигуры, безмолвно и слепо разглядывали темноту.

Час назад на пирс пришли два посетителя. Эта единственная пара развлекалась теперь на «американских» горках и с воплями скатывалась в сиявшую огнями ночь, перелетая из одной бездны в другую.

Эйми медленно зашагала к берегу, перебирая пальцами несколько потертых деревянных колец, болтавшихся на ее руке. Она остановилась у билетной будки, за которой начинался «Зеркальный лабиринт». В трех зеркалах, стоявших у входа, мелькнуло ее печальное лицо. Тысячи усталых отражений зашевелились в глубине коридора, заполняя чистый и прохладный полумрак горячими конвульсиями жизни.

Она вошла внутрь и остановилась, задумчиво рассматривая тощую шею Ральфа Бэнгарта. Тот раскладывал пасьянс, покусывая желтыми зубами незажженную сигару. Веселая пара на «американских» горках вновь завопила, скатываясь вниз в очередную пропасть, и Эйми вспомнила, о чем хотела спросить.

— Интересно, что привлекает людей в этих взлетах и падениях?

Помолчав с полминуты, Ральф Бэнгарт вытащил сигару из рта и с усмешкой ответил:

— Многим хочется умереть. «Американские» горки дают им почувствовать смерть.

Он прислушался к слабым винтовочным выстрелам, которые доносились из тира.

— Наш бизнес создан для идиотов и сумасшедших. Взять хотя бы моего карлика. Да ты его видела сотню раз. Он приходит сюда каждую ночь, платит десять центов, а потом тащится через весь лабиринт в комнату Чокнутого Луи. Если бы ты только знала, что он там вытворяет. О Боже! На это действительно стоит посмотреть!

— Он такой несчастный, — ответила Эйми. — Наверное, тяжело быть маленьким и некрасивым. Мне его так жалко, Ральф.

— Я мог бы играть на нем, как на аккордеоне.

— Перестань. Над этим не шутят.

— Ладно, не дуйся. — Он игриво шлепнул ее ладонью по бедру. — Ты готова тревожиться даже о тех парнях, которых не знаешь. — Ральф покачал головой и тихо засмеялся. — Кстати, о его секрете. Он еще не в курсе, что я знаю о нем, понимаешь? Поэтому лучше не болтай — иначе парень может обидеться.

— Какая жаркая ночь. — Она нервно провела пальцами по деревянным кольцам на своей руке.

— Не меняй темы, Эйми. Он скоро придет. Ему даже дождь не помеха.

Она отступила на шаг, но Ральф ухватил ее за локоть.

— Чего ты боишься, глупенькая? Неужели тебе не интересно посмотреть на причуды карлика? Тихо, девочка! Кажется, это он.

Ральф повернулся к окну. Тонкая и маленькая волосатая рука положила на билетную полку монету в десять центов. Высокий детский голос попросил один билет, и Эйми, сама того не желая, пригнулась, чтобы посмотреть на странного посетителя.

Карлик бросил на нее испуганный взгляд. Этот черноглазый темноволосый уродец напоминал человека, которого сунули в давяльный пресс, отжали до блеклой кожи, а потом набили ватой — складку за складкой, страдание за страданием, пока поруганная плоть не превратилась в бесформенную массу с распухшим лицом и широко раскрытыми глазами. И эти глаза, должно быть, не закрывались и в два, и в три, и в четыре часа ночи, несмотря на теплую постель и усталость тела.

Ральф надорвал желтый билет и лениво кивнул:

— Проходите.

Будто испугавшись приближавшейся бури, карлик торопливо поднял воротник черной куртки и вперевадку зашагал по коридору. Десять тысяч смущенных уродцев замелькали в зеркалах, как черные суетливые жуки.

— Быстрее!

Ральф потащил Эйми в темный проход за зеркалами. Она почувствовала его руки на своей талии, а потом перед ней возникла тонкая перегородка с маленьким отверстием для подглядывания.

— Смотри, смотри, — хихикал он. — Только не смейся громко.

Она нерешительно взглянула на него и прижала лицо к стене.

— Ты видишь его? — прошептал Ральф.

Эйми кивнула, стараясь унять гулкие удары сердца. Карлик стоял посреди небольшой голубой комнаты — стоял с закрытыми глазами, предвкушая особый для него момент. Он медленно приоткрыл веки и посмотрел на большое зеркало, ради которого приходил сюда каждую ночь. Отражение заставило его улыбнуться. Он подмигнул ему и сделал несколько пируэтов, величаво поворачиваясь, пригибаясь и медленно пританцовывая.

Зеркало повторяло его движения, удлинняя тонкие руки и делая тело высоким, красивым и стройным. Оно повторяло счастливую улыбку и неуклюжий танец, который позже закончился низким поклоном.

— Каждую ночь одно и то же! — прошептал Ральф. — Забавно, правда?

Она обернулась и молча посмотрела на его тонкий, искривленный в усмешке рот. Не в силах противиться любопытству, Эйми тихо покачала головой и вновь прижалась лицом к перегородке. Она затаила дыхание, взглянула в отверстие, и на ее глазах появились слезы.

А Ральф толкал ее в бок и шептал:

— Что он там делает, этот маленький урод?

Через полчаса они сидели в билетной будке и пили кофе. Перед уходом карлик снял шляпу и направился было к окошку, но, увидев Эйми, смутился и зашагал прочь.

— Он что-то хотел сказать.

— Да. И я даже знаю, что именно, — лениво ответил Ральф, затушив сигару. — Парнишка застенчив, как ребенок. Однажды ночью он подошел ко мне и пропищал своим тонким голоском: «Могу поспорить, что эти зеркала очень дорогие». Я сразу смекнул, к чему он ведет, и ответил, что зеркала безумно дорогие. Коротышка думал, что у нас завяжется разговор. Но я больше ничего не сказал, и он отправился домой. А на следующую ночь этот придурок заявил: «Могу поспорить, что такие зеркала стоят по пятьдесят или

даже по сто баксов». Представляешь? Я ответил, что так оно и есть, и продолжал раскладывать пасьянс...

— Ральф... — тихо сказала Эйми.

Он взглянул на нее и с удивлением спросил:

— Почему ты так на меня смотришь?

— Ральф, продай ему одно из своих запасных зеркал.

— Слушай, девочка, я же не учу тебя, как вести дела в твоём аттракционе с кольцами.

— А сколько стоят такие зеркала?

— Я достаю их через посредника за тридцать пять баксов.

— Почему же ты не скажешь этому парню, куда он может обратиться за покупкой?

— Эйми, тебе просто не хватает хитрости.

Ральф положил руку на ее колено, но она сердито отодвинулась.

— Даже если я назову ему адрес поставщика, он не станет покупать это зеркало. Ни за что на свете! Пойми, он застенчив, как дитя. Если парень узнает, что я видел его кривляние в комнате Чокнутого Луи, он больше сюда не придет. Ему кажется, что он, как и все другие, бродит по лабиринту и что зеркало не имеет для него никакого значения. Но это обычный самообман! Карлик появляется здесь только по ночам, когда поток посетителей убывает, и он остается в комнате один. Бог его знает, чем он тешит себя в праздничные дни, когда у нас полным-полно народа. А ты подумай, как сложно ему купить такое зеркало. У него нет друзей, и даже если бы они были, он не осмелился бы просить их о подобной покупке. Чем меньше рост, тем больше гордость. Он ведь и со мной заговорил только потому, что я единственный, кто смыслит в кривых зеркалах. И потом, ты же видела его — он слишком беден, чтобы тратить на такие вещи. В нашем чертовом мире работу найти нелегко, особенно карлику. Наверное, живет на какое-то нищенское пособие, которого едва хватает на еду и парк аттракционов.

— Какая ужасная участь! Мне так его жаль. — Эйми опустила голову, скрывая набежавшие слезы. — Где он живет?

— На Ганджес Армс, в портовом районе. Там комнаты метр на метр — как раз для него. А почему ты спрашиваешь?

— Влюбилась. Мог бы и сам догадаться.

Он усмехнулся, прикусив желтыми зубами незажженную сигару.

— Эйми, Эйми! Вечно ты со своими шуточками...

Теплая ночь переросла в горячее утро, а затем в пылающий полдень. Море казалось голубым покрывалом, усыпан-

ным блестками и крошечном битомом стекла. Эйми шла по многолюдной набережной, прижимая к груди пачку выгоревших на солнце журналов. Свернув на пирс, она подбежала к павильону Бэнгарта и, открыв дверь, закричала в жаркую темноту:

— Ральф? Ты здесь? — Ее каблучки застучали по деревянному полу за зеркалами. — Ральф? Это я!

Кто-то вяло зашевелился на раскладушке.

— Эйми?

Ральф сел и включил тусклую лампу на туалетном столике. Протерев полусонные глаза, он покосился на нее и сказал:

— Ты выглядишь как кошка, слопавшая канарейку.

— Я кое-что узнала об этом маленьком человечке.

— О карлике, милая Эйми, об уродливом карлике. Маленькие человечки появляются из наших яичек, а карлики рождаются из гланд...

— Ральф! Я только что узнала о нем потрясающую вещь!

— О Боже, — пожаловался он своим рукам, словно призывал их в свидетели. — Что за женщина! Я бы и двух центов не дал за какого-то мелкого гаденыша...

— Ральф! — Она раскрыла журнал, и ее глаза засияли. — Он писатель! Подумай только! Писатель!

— Слишком жаркий денек, чтобы думать.

Он снова лег на раскладушку и с игривой улыбкой осмотрел ее фигуру.

— Я прошла сегодня утром по Ганджес Армс и встретила мистера Грили — знакомого продавца. Он сказал, что мистер Биг* печатает на машинке и днем и ночью.

— У этого карлика такая фамилия?

Ральф начал давиться смехом.

— Рассказы писателей часто связаны с их реальной жизнью, — продолжала Эйми. — Я нашла одну из его историй в прошлогоднем журнале, и знаешь, Ральф, какая мысль пришла мне в голову?

— Отстань. Я хочу спать.

— У этого парня душа огромная как мир; в его воображении есть то, что нам даже и не снилось!

— Почему же он тогда не пишет для больших журналов?

— Наверное, боится или еще не понимает, что это ему по силам. Так всегда бывает — люди не верят в самих себя. Но

* Большой (англ.).

если он когда-нибудь наберется храбрости, уверяю тебя, его рассказы примут где угодно.

— Так ты думаешь, он богат?

— Вряд ли. Известность приходит медленно, и он сейчас скорее всего довольствуется жалкими грошами. Но кто из нас не сидел на мели? Хотя бы немного? А как, должно быть, трудно пробиться в люди, если ты такой маленький и живешь в дешевой однокомнатной конуре...

— Черт! — прорычал Ральф. — Ты говоришь как бабушка Флоренс Найтингейл.

Она полистала журнал и нашла нужную страницу.

— Я прочитаю тебе отрывок из его детективной истории. В ней говорится об оружии и крутых парнях, но рассказ идет от лица карлика. Наверное, издатели даже не знали, что автор писал о себе. Ах, Ральф, прошу тебя, не закрывай глаза. Послушай! Это действительно интересно.

И она начала читать вслух:

— «Я карлик. Карлик-убийца. Теперь эти два понятия уже неразделимы. Одно стало причиной другого.

Я убил человека, когда мне исполнился двадцать один год. Он издевался надо мной: останавливал на улице, поднимал на руки, чмокал в лоб и баюкал, напевая «баюшки-баю». Он тащил меня на рынок, бросал на весы и кричал: «Эй, мясник! Взвесь мне этот жирный кусочек!»

Теперь вы понимаете, почему я погубил свою жизнь и пошел на убийство? И все из-за этого ублюдка, терзавшего мою душу и плоть!

Мои родители были маленькими людьми, но не карликами — вернее, не совсем карликами. Доходы отца позволяли нам жить в собственном доме, похожем на белое свадебное пирожное безе: крохотные комнаты, миниатюрные картины и мебель, камни и янтарь с комарами и мухами — все маленькое, малосенское, микроскопическое! Мир гигантов оставался вдалеке, как шум машин за высокой садовой стеной. Мои несчастные мама и папа! Они делали все, что могли, и берегли меня, словно фарфоровую вазу — единственную драгоценность в их муравьином мире, с домиком-ульем, дверцами для жуков и окнами для бабочек. Лишь теперь я понимаю гигантские размеры их психоза. Им казалось, что они будут жить вечно, оберегая меня, как мотылька, под стеклянным колпаком. Но сначала умер отец, а потом сгорел наш дом — это маленькое гнездышко с зеркалами, похожими на почтовые штампы, и шкапами, которые напоминали своими размерами

солонку. Мама не успела выбежать при пожаре, и я остался один на пепелище родного крова, брошенный в мир чудовищ неудержимым оползнем реальности. Жизнь подхватила меня и закрутила в водовороте событий, унося на самое дно общества, в эту мрачную зияющую пропасть.

Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к миру людей: на работу меня не принимали, и казалось, что на всем свете не было места для такого, как я. А потом появился Мучитель... Он нацепил мне на голову детский чепчик и закричал своим пьяным друзьям: «Я хочу познакомить вас со своей малышкой!»

Эйми замолчала и смахнула слезу, бежавшую по щеке. Ее рука дрожала, когда она передавала Ральфу журнал.

— Почитай! Это его жизнь! Это история убийства! Теперь ты понимаешь, что он человек? Маленький и сильный человек!

Ральф отбросил журнал в сторону и лениво прикурил сигару.

— Мне нравятся только вестерны.

— Но ты должен это прочитать. Ему нужен человек, который мог бы поддержать его в такое трудное время. Он настоящий писатель, однако парня надо в этом убедить.

Ральф с усмешкой склонил голову набок:

— И кто же это сделает? Ты и я? Небесные посланники Спасителя?

— Не говори со мной таким тоном!

— А ты тогда пошевели мозгами, черт возьми! Тебе захотелось понянчить его на своей груди, но он уже сыт по горло этой дешевой жалостью. Как только ты появишься у него со слезами и слюнями, он выставит тебя за дверь, и правильно делает.

Она задумалась над его словами, стараясь рассмотреть вопрос со всех сторон.

— Не знаю, Ральф. Возможно, ты прав. Но это не только жалость. Хотя он действительно может понять меня как-то неверно, и я должна быть предельно осторожна.

Он встряхнул ее и по-дружески ущипнул за щеку.

— Отстань от него, Эйми, я тебя прошу. Ты ничего не получишь, кроме проблем и неприятностей. Я еще никогда не видел, чтобы ты так заводилась. Давай лучше сделаем себе хороший день: пообедаем, поболтаем немного, прокатимся по побережью до какого-нибудь маленького городка и поужинаем в ресторане с первоклассным шоу. Черт с ним, с этим карнавалом, а? Один хороший день и никаких забот! Я тут припас на такой случай небольшую сумму.

— Понимаешь, он другой, — ответила Эйми, всматриваясь в темноту. — Он такой, какими мы уже никогда не будем — ни ты, ни я, ни остальные на этом пирсе. Как странно, правда? Судьба дала ему тело, которое годится только для карнавальных забав, но он сумел пробиться в люди. А мы получили все, чтобы не торчать в балаганах, и тем не менее оказались здесь, на этом проклятом пирсе. Иногда мне кажется, что от нас до берега миллионы миль. Мы смеемся над его телом, но у него есть мозги, и он может создавать в своих книгах чудесные миры, которые нам даже не снились.

— Черт, ты даже меня не слушала, — возмутился Ральф, вскакивая с раскладушки.

Она сидела, опустив голову, и ее руки, сложенные на коленях, сотрясала мелкая дрожь. Голос Ральфа казался далеким, как морской прибор.

— Мне не нравится этот взгляд на твоём лице, — произнес он с тяжелым вздохом.

Эйми медленно открыла кошелек и, вытащив оттуда несколько смятых банкнот, начала их пересчитывать.

— Тридцать пять. Сорок долларов. Наверное, хватит. Я собираюсь позвонить Билли Файну и попросить его отправить одно из кривых зеркал на Ганджес Армс для мистера Бига.

— Что!

— Ты только подумай, Ральф, как он обрадуется, когда получит это зеркало. Он поставит его в своей комнате и будет пользоваться им, когда захочет. Я могу позвонить по твоему телефону?

— Делай что хочешь. Черт возьми, ты просто рехнулась!

Он повернулся и зашагал по коридору. Чуть позже хлопнула дверь.

Эйми подождала еще несколько секунд, потом подняла трубку и с болезненной медлительностью начала накручивать телефонный диск. Перед последней цифрой она затаила дыхание и, закрыв глаза, представила, как тяжело и грустно живется в этом мире маленьким людям. А как, наверное, приятно получить в подарок большое зеркало — зеркало для твоей комнаты, где ты можешь любоваться своим большим отражением, писать рассказы и не покидать уютных стен до тех пор, пока тебе этого не захочется. Но возможна ли такая чудесная иллюзия на нескольких квадратных метрах жилья? Что она принесет ему: радость или печаль, страдание или помощь? Она смотрела на телефон и мечтательно кивала. По крайней мере, за ним перестанут подсматривать. Ночь за

ночью, поднимаясь в три или четыре часа, он будет танцевать и улыбаться, кланяться и махать себе руками — высокий-высокий, красивый и мужественный в этом сияющем зеркале.

Голос в трубке ответил:

— Билли Файн слушает.

— О, Билли! — воскликнула она.

И снова ночь опустилась на пирс. Темный океан вздыхал и ворочался, осыпая брызгами деревянный настил. Ральф застыл в своей будке, как восковая фигура. Он навис над картами с приоткрытым ртом, и пирамида окурков у его локтя становилась все больше и больше. Пройдя под паутиной голубых и красных ламп, Эйми улыбнулась и помахала ему рукой. Но он, казалось, не замечал ее приближения. Его холодный взгляд застыл на разложенных картах.

— Привет, Ральф, — сказала она.

— Что нового в делах Амура? — спросил он, поднося ко рту грязный бокал с холодной водой. — Как поживает Чарли Бойер и Гари Грант?

— Посмотри, я купила себе новую шляпку, — улыбаясь, ответила она. — У меня сегодня прекрасное настроение! И знаешь почему? Завтра утром Билли Файн отправит писателю зеркало! Ты только представь лицо этого парня!

— Я не так силен в воображении.

— Ты дуешься на меня, словно я собираюсь выйти за него замуж.

— А почему бы и нет? Будешь носить его с собой в чемодане. Тебя спросят: «Где твой муж?», а ты откроешь крышку и скажешь: «Вот он, голубчик!» Это как серебряный кларнет. В час раздумий ты будешь вытаскивать его из футляра и, немного поиграв, укладывать назад. Только не забудь поставить туда маленькую коробочку с песком.

— И все равно я чувствую себя прекрасно, — ответила Эйми.

— Твоя благотворительность похожа на пощечину. — Поджав губы, Ральф мрачно посмотрел на карты. — Я знаю, с чего все началось. Ты решила наказать меня за то, что я подсматривал за этим карликом. Теперь он получит свое зеркало, а я — пинок под зад. Такие, как ты, всегда перебежали мне дорогу, отнимая маленькие радости и лишая жизнь удовольствий.

— Тогда больше не зови меня к себе на выпивку. Терпеть не могу жалобы слабаков!

Ральф тяжело вздохнул и тихо прошептал:

— Ах, Эйми, Эйми. Неужели ты думаешь, что чем-то поможешь этому парню? Он проклят своей судьбой, и ты напрасно убеждаешь себя в обратном. Я знаю, что у тебя на уме. «Пусть меня считают душой, но мой подарок сделает его счастливым». Верно?

— Я готова на все, если моя глупость принесет кому-то искреннюю радость, — ответила она.

— О Боже, избавь меня от таких благодетелей...

— Замолчи! — закричала Эйми и закрыла лицо руками. — Замолчи! Замолчи!

После нескольких минут напряженного безмолвия Ральф отодвинул в сторону запятнанный стакан и поднялся.

— Ты посидишь за меня в будке? Мне надо отлучиться по делам.

— Ладно, иди. Я посижу.

Она увидела, как тысячи холодных отражений замелькали среди зеркал по стеклянным коридорам — тысячи поджатых губ и скрюченных в гнев пальцев. Эйми сидела, вслушиваясь в тиканье старых настенных часов. Внезапно по ее телу пробежала дрожь. Она попыталась успокоиться, раскладывая пасьянс. Но озноб усиливался с каждой минутой. В глубине лабиринта застучал молоток, потом раздались странные протяжные звуки. Она ждала, задыхаясь от страха и наступившей тишины. В освещенном проходе зашевелились ряды отражений. Они возникали и исчезали, подпрыгивали и сгибались, пока Ральф шел среди зеркал, разглядывая ее напуганную фигуру. Когда он подошел к двери, Эйми услышала его тихий смех.

— Что тебя так развеселило? — осторожно спросила она.

— Слушай, милочка, — ответил Ральф, — мы же не хотим поссориться, правда? Значит, завтра мистер Биг получит от Билли большое зеркало?

— Ты решил устроить какую-то пакость?

— О нет! Зачем мне это?

Забрав у нее карты, он вышел из будки. Его лицо сияло от удовольствия; проворные руки быстро тасовали колоду. Остановившись у двери, Эйми смущенно смотрела на отрешенную ухмылку Ральфа. Ее правый глаз начал подергиваться, и она прижала пальцем нижнее веко. Старые часы отмеряли минуты. У стен пирса шумели волны, и воздух казался густым от влажной духоты и низких облаков. Далеко над морем змеились вспышки молний.

— Ральф, — прошептала она.

— Успокойся, Эйми, — ответил он.

— Я о той поездке по побережью, которую ты мне предлагал...

— Можем поехать хоть завтра... или через месяц, — произнес он. — Или через год. Старина Ральф Бэнгарт терпеливый парень. Я ни о чем не тревожусь. Вот, смотри. — Он протянул руку к ее лицу. — Я абсолютно спокоен.

Она подождала, пока над морем не утих раскат грома.

— Прости, если я тебя расстроила. Только не надо делать ничего плохого. Обещай мне это, Ральф.

В лицо пахнуло запахом дождя. Порыв прохладного ветра закружил обрывки карнавальных лент. В будке тикали часы, и Эйми кусала губы, наблюдая за картами, которые мелькали в руках Ральфа. Из тира доносились выстрелы и звон падавших мишеней.

А потом появился он.

Карлик шел по безлюдной набережной, и его маленькое тело раскачивалось из стороны в сторону. В свете уличных фонарей смуглое лицо Бига казалось маской боли, как будто каждое движение требовало от него невероятных усилий. Когда он свернул на пирс, у Эйми забилося сердце. Ей хотелось подбежать к нему и закричать: «Это твоя последняя ночь, и больше никто не будет подсматривать за тобой!» Ей хотелось плакать и смеяться; ей хотелось сказать это Ральфу в лицо. Но она промолчала.

— О, кого мы видим! — воскликнул Ральф. — Сегодня вход бесплатный! Специально для старых клиентов!

Карлик взглянул на него снизу вверх, испуганно отступил на шаг, и в его маленьких черных глазах отразилось замешательство. Зашептав слова благодарности, он поднял руку и начал натягивать горлышко свитера на дрожащий подбородок. Другая рука сжимала серебряную монетку. Осмотревшись по сторонам, он быстро кивнул и вошел в зеркальный коридор. Тысячи перекошенных мукой лиц замелькали на стеклянных стенах лабиринта.

— Ральф, — прошептала Эйми, вцепившись в его локоть. — Что ты задумал?

— Решил поиграть в благотворительность, — с усмешкой ответил он.

— Ральф!

— Тихо! Слушай!

Они замерли в теплой тишине билетной будки, и через пару минут в глубине лабиринта послышался крик.

— Ральф!

— Ты думаешь, это все? — ответил он. — Послушай, что будет дальше!

Раздался еще один крик, за которым последовали горькие рыдания и стремительный топот. Судя по звукам, карлик налетал на зеркала, отскакивал от них и, истерично завывая, метался в тупиках лабиринта. Когда он выскочил в коридор, Эйми отшатнулась, увидев его широко открытый рот и дрожащие щеки, по которым стекали слезы. Мистер Биг пронесся мимо нее в пылавшую молниями ночь и, затравленно осмотревшись, побежал по пирсу.

— Что ты сделал, ублюдок?

Ральф корчился от хохота и хлопал себя ладонями по ляжкам. Она ударила его по щеке.

— Что ты сделал?

Он не мог перестать смеяться.

— Идем. Я все тебе покажу.

Они шли по лабиринту раскаленных добела зеркал, и тысячи пятен ее губной помады казались красными огоньками, сиявшими в серебряной пещере. С обеих сторон мелькали сотни истеричных женщин, за которыми крались хищные фигуры мужчин с искривленными ртами.

— Идем, идем, — шептал он за ее спиной.

Они вошли в небольшую комнату, заполненную запахом пыли.

— О Боже! Ральф, что ты наделал?

Это была заветная комната, которую карлик посещал каждую ночь в течение целого года. Он входил сюда, как в святилище, с закрытыми глазами, предвкушая чудесный миг, когда его уродливое тело станет большим и красивым.

Прижимая руки к груди, Эйми медленно подошла к зеркалу.

Оно было другим. Оно превращало людей в крохотных и скорченных чудовищ — даже самых высоких, самых прекрасных людей. И если новое зеркало придавало Эйми такой жалкий и отвратительный облик, что же оно сделало с карликом — этим напуганным маленьким существом?

Она повернулась к Ральфу и с упреком взглянула ему в глаза:

— Зачем? Зачем ты так?

— Эйми! Вернись!

Но она уже бежала мимо зеркал. Из-за жгучих слез ей было трудно найти дорогу, и она почти не помнила, как оказалась на ночном пирсе. Не зная, в какую сторону идти, Эйми остановилась. Ральф схватил ее за плечи и развернул к себе. Он что-то говорил, но его слова походили на бормо-

тание за стеной гостиничного номера. Голос казался далеким и незнакомым.

— Замолчи, — прошептала она. — Я не хочу тебя слушать. Из тира выбежал мистер Келли.

— Эй, вы не видели тут маленького паренька? Подлец сташил у меня заряженный пистолет. Вырвался прямо из рук! Я вас прошу, помогите мне его найти!

Он побежал дальше, выискивая воришку между брезентовых шатров под гирляндами синих, красных и желтых ламп. Эйми медленно пошла за ним следом.

— Куда ты направилась?

Она посмотрела на Ральфа, как на незнакомца, с которым случайно столкнулась в дверях магазина:

— Надо помочь Келли найти этого парня.

— Ты сейчас ни на что не способна.

— И все же я попытаюсь... О Господи! Это моя вина! Зачем я звонила Билли Файну? Если бы не зеркало, ты бы так не злился, Ральф! Зачем я покупала это проклятое стекло! Мне надо найти мистера Бига! Найти во что бы то ни стало! Даже если это будет последним делом в моей жалкой и никому не нужной жизни!

Утирая ладонями мокрые щеки, Эйми повернулась к зеркалам, которые стояли у входа в «лабиринт». В одном из них она увидела отражение Ральфа. Из ее груди вырвался крик. Но она продолжала смотреть на зеркало, очарованная тем, что предстало ее глазам.

— Эйми, что с тобой? Куда ты...

Он понял, куда она смотрит, и тоже повернулся к зеркалу. Его глаза испуганно расширились. Ральф нахмурился и сделал шаг вперед.

Из зеркала на него щурился гадкий и противный маленький человечек, не больше двух футов ростом, с бледным и вдавленным внутрь лицом. Безвольно опустив руки, Ральф с ужасом смотрел на самого себя.

Эйми начала медленно отступать назад. Повернувшись на каблуках, она зашагала к набережной, потом не выдержала и перешла на бег. И казалось, что теплый ветер нес ее на своих крыльях по пустому пирсу — навстречу свободе и крупным каплям дождя, которые благословляли это бегство.

СЛЕДУЮЩИЙ

Окна выходили на некое подобие городского сквера — надо сказать, довольно жалкое подобие. Впрочем, некоторые его составные части освежали зрелище: эстрада, чем-то напоминающая коробку из-под конфет (по четвергам и воскресеньям какие-то люди разражались здесь громкой музыкой), ряды бронзовых скамеек, богато украшенных всякими позеленевшими излишествами и завитками, а также прелестные дорожки, выложенные голубой и розовой плиткой — голубой, как только что подведенные женские глазки, и розовой, как тайные женские же мечты. Дополняли очарование остриженные на французский манер деревья с кронами в виде огромных шляпных коробок. В целом же, глядя из окна гостиницы, человек, не лишенный воображения, мог бы принять это место за какую-нибудь французскую виллу конца девяностых годов. И, конечно, ошибся бы. Все это находится в Мексике. Обычная плаза — площадь в маленьком колониальном городке, где в государственном оперном театре всего за два песо вам покажут замечательные фильмы: «Распутин и императрица», «Большой дом», «Мадам Кюри», «Любовное приключение» или «Мама любит папу».

Было раннее утро. Джозеф вышел на разогретый солнцем балкон и присел на колени перед решеткой. В руках он держал небольшой фотоаппарат «Брауни». Позади, в ванной, журчала вода, и голос Мари произнес:

— Что ты там делаешь?

— Снимаю, — пробормотал он себе под нос.

Она повторила вопрос. Щелкнув затвором, Джозеф поднялся на ноги, перевел кадр и, повернувшись к двери, сказал громче:

— Снимаю! Городской сквер!.. Не пойму, зачем им понадобилось всю ночь шуметь? До полтретьего глаз не сомкнул...

Угораздило же приехать как раз в тот день, когда в местном «Ротари»* попойка...

— Какие у нас на сегодня планы? — спросила она.

— Пойдем посмотреть мумии, — ответил он.

— О Господи... — вздохнула Мари, после чего в комнате повисла долгая пауза.

Он вошел, положил фотоаппарат и прикурил сигарету.

— Ну, если ты не хочешь, я сам поднимусь на гору и осмотрю их один.

— Да нет, — замялась она. — Лучше уж я пойду с тобой. Только я все думаю — на что они нам? Такой чудный городок...

— Смотри-ка! — вдруг воскликнул Джозеф, видимо, заметив что-то краем глаза. В несколько шагов он оказался на балконе и замер там. В руке его дымилась забытая сигарета. — Иди же сюда, Мари!

— Я вытираюсь, — ответила она.

— Ну давай, побыстрее, — не унимался Джозеф, а сам как зачарованный смотрел куда-то вниз, на улицу.

За его спиной послышался шорох, который принес с собой аромат мыла, только что вымытого тела, мокрого полотенца и одеколona. Рядом с ним стояла Мари.

— Не двигайся, — сказала она. — Я спрячусь за тебя и буду выглядывать. Просто я голая... Ну, что у тебя там такое?

— Смотри, смотри!

По улице внизу двигалась какая-то процессия. Возглавлял ее человек, несущий поклажу на голове. За ним шли женщины в черных *gebozo***, прямо на ходу они зубами срывали шкурки с апельсинов и плевали их на мостовую. Далее следовали мужчины, а за ними — стайка детей. Некоторые ели сахарный тростник, вгрызаясь в кору, пока та не начинала трескаться — и тогда они кусками отламывали ее, чтобы добраться до вожделенной мякоти, а напоследок высосать сок из всех сухожилий. Всего в толпе было человек пятьдесят.

— Джо... — проговорила Мари за спиной у Джозефа и взяла его за руку.

Человек, возглавлявший процессию, нес на голове не простую поклажу. Накрытая сверху серебристым шелком с бахромой, она была еще украшена серебряными розочками.

* Сеть клубов по всему миру для бизнесменов и представителей свободных профессий. (Здесь и далее *примеч. пер.*)

** Длинный мексиканский шарф.

Мужчина бережно придерживал ее одной смуглой рукой, а другой размахивал при ходьбе.

Вне всякого сомнения, перед Мари и Джозефом были похороны, а поклажа являлась ничем иным, как маленьким гробиком.

Джозеф взглянул на жену.

Когда Мари только-только вышла из ванной, кожа ее была нежно-розовой, а теперь стала белой, как парное молоко. Сердце словно скатилось в какую-то пустоту внутри ее самой. Она совершенно забыла, что голая, — и вышла на балкон, не отрывая взгляда от этой толпы жующих и что-то бормочущих людей. Некоторые из них даже сдавленно смеялись.

— Наверное, какая-то девчушка отправилась в мир иной — или мальчонка, — сказал Джозеф.

— А куда они тащат... ее?

Ее! Разумеется, Мари представилось, что это девочка, а не мальчик. И не просто девочка, а она сама, запакованная в посылочный ящик, как недозрелые фрукты. И вот ее несут, зажатую в крошечной темноте, как персиковую косточку, руки отца касаются ее гроба, но изнутри это не видно и не слышно. Там, внутри — только ужас и тишина...

— На кладбище — куда же еще? — ответил Джозеф, глядя на Мари сквозь облачко сигаретного дыма.

— Ты так уверенно говоришь, будто знаешь, на какое именно.

— А в таких городках всегда только одно кладбище. Здесь обычно не тянут с похоронами. Думаю, девчушка умерла всего несколько часов назад.

— Несколько часов... — Мари отвернулась — голая, жалкая, с мокрым полотенцем в поникших руках. И медленно двинулась к своей кровати. — Неужели... Всего несколько часов назад она была еще жива, и вот теперь...

Джозеф продолжил:

— Теперь ее скорее несут на гору. Неподходящий здесь климат для покойников. Жара, бальзамировать нечем. Вот и приходится им спешить.

— Но представь себе, какой ужас — то кладбище... — произнесла Мари совершенно замогильным голосом.

— Ах ты о мумиях, — сказал он. — Да будет тебе расстраиваться.

Сидя на кровати, Мари машинально разглаживала полотенце у себя на коленях. Глаза ее казались не более зрячими, чем круглые коричневые соски груди. Она смотрела на

Джозефа и не видела его. Щелкни он сейчас пальцами, кашляни — она даже не вздрогнула бы.

— Они едят фрукты прямо на ее похоронах. И смеются!

— Путь до кладбища неблизкий, да еще все время в гору.

Мари вдруг дернулась, словно рыба, которая заглотила крючок и пытается освободиться. Затем бессильно откинулась на подушку.

Джозеф посмотрел на нее долгим взглядом. Это был особый взгляд — так обычно разглядывают плохую скульптуру. Холодный, придирчивый и в то же время равнодушный... Ну да, конечно, его рукам знакомы все изгибы ее полнеющего и дряблого тела. Это уже далеко не то тело, которое он обнимал на заре их супружества, — оно изменилось, и изменилось непоправимо. Словно скульптор случайно пролил на упругую глину воды, превратив ее в бесформенную массу. Теперь сколько ни отогревай ее в руках, сколько ни пытайся выпарить влагу, прежней ей уже никогда не стать. Да и откуда взяться теплу? Ведь лето — их лето — давно прошло. Теперь безжалостная вода въелась в каждую клеточку ее тела, отяжелив груди, заставив обвиснуть кожу.

— Что-то я неважно себя чувствую, — сказала Мари и задумалась, словно пыталась понять, действительно ли это так. — Совсем неважно, — повторила она, но Джозеф ничего не ответил. Полежав еще пару минут, она приподнялась. — Давай не будем оставаться здесь еще на одну ночь, Джо.

— Городек такой живописный...

— Да, но ведь мы уже все осмотрели. — Мари встала. Она знала наперед, что он скажет. Что-нибудь веселое, бодрое и жизнерадостное — разумеется фальшивое. — Можно поехать в Патцкуэро. Это рукой подать. Тебе даже вещи паковать не придется, милый, я все беру на себя! Остановимся в отеле «Дон-Посада». Говорят, там красивейшие места...

— Здесь, — перебил ее Джозеф, — здесь красивейшие места.

— ...и все дома увиты бугенвиллией... — закончила Мари.

— Вон, — он показал на цветы на окне, — вон твоя бугенвиллия.

— ...а еще там можно порыбачить — ты же обожаешь рыбачить, — поспешно добавила Мари. — И я тоже буду рыбачить с тобой. Я научусь — правда научусь. Я так давно мечтала научиться рыбачить! Знаешь, у тарасканских индейцев раскосые глаза и они почти не говорят по-испански... А оттуда мы можем отправиться в Паракутин — это недалеко от Урвапана, там делают замечательные лаковые шкатулки.

О, это будет здорово, Джо!.. Все. Я начинаю собирать вещи. Постарайся понять меня и...

— Послушай, Мари...

Джозеф окликнул ее, и она остановилась, не добежав до двери ванной комнаты.

— А? — повернулась она.

— Разве не ты говорила, что неважно себя чувствуешь?

— Ну да, я. Я и правда чувствовала... чувствую себя неважно. Но стоит только подумать об этих замечательных местах...

— Да пойми же: мы не осмотрели и десятой части этого города, — с самым резонным видом начал он. — Там, на горе, есть статуя Морелоса — я собирался ее сфотографировать. Кроме того, дома французской постройки... Ну подумай: преодолеть столько миль, ехать сюда, добираться — а потом побыть всего один день и уехать! И потом, я уже заплатил за следующую ночь...

— Мы можем сделать возврат, — поспешно заверила его Мари.

— Ну почему ты так хочешь уехать отсюда? — с притворным простодушием, словно он говорил с ребенком, спросил Джозеф. — Тебе что, не нравится этот город?

— Да нет же, городок прелестный, — ответила Мари, изобразив улыбку на совершенно бледном лице. — Такой чистенький... гм-м... зеленый.

— Ну вот и ладно, — порешил Джозеф. — Тогда остаемся еще на день. Обещаю: ты обязательно полюбишь эти места.

Мари начала что-то говорить, но замолкла.

— Что-что? — переспросил он.

— Да нет, ничего.

Она закрыла за собой дверь ванной. Было слышно, как Мари роется там в аптечке. Затем зашумела вода. Очевидно, она принимала какое-то желудочное средство.

Джозеф встал под дверь.

— Скажи... ты ведь не боишься мумий? — спросил он.

— Н-не, — промычала она.

— Значит, все из-за похорон?

— Угу.

— Имей в виду: если бы ты действительно боялась, я бы без всяких промедлений собрал чемодан — да-да, дорогая.

Он дал ей время обдумать ответ.

— Да нет, я не боюсь, — сказала Мари.

— Вот и умница, — похвалил он.

Кладбище было обнесено толстой кирпичной стеной. В каждом из четырех углов ограды застыли в порыве на своих

каменных крыльях грязноватого вида купидоны. Головы их были украшены шапочками из птичьего помета, которые на лбу плавно переходили в веснушки. На руках пестрели амулеты того же происхождения. Джозеф и Мари наконец поднялись на гору, увязая в горячих солнечных лучах, словно в тягучей жиже. За их спинами по земле стелились голубые тени. Впереди маячила железная решетка кладбищенских ворот. Чтобы открыть ее, им пришлось немало потрудиться.

Прошло всего несколько дней после празднования так называемого *Eli Dia de Muerte*, то есть Дня мертвых, и повсюду, словно безумные волосы, развевались ленточки, обрывки ткани и блестки — на торчащих тут и там могильных плитах, на резных, отполированных поцелуями распятия и на гробницах, издали похожих на нарядные шкатулки для драгоценностей. Невысокие холмики все как один были посыпаны гравием. На некоторых застыли в ангельских позах статуи, на других возвышались огромные — в человеческий рост — каменные надгробия, щедро увешанные все теми же ангелочками. Отдельные плиты были такими непомерно широкими, что напоминали кровати, выставленные на просушку после ночной неожиданности. Во всех четырех стенах кладбища имелись встроенные ниши с гробами, обшитыми со всех сторон мрамором. Имена умерших либо вырезались прямо на камне, либо обозначались на жестяных табличках. Кое-где сведения были снабжены дешевым портретиком, рядом с которым на гвоздике висела какая-нибудь безделушка — видимо, та самая, которую усопший больше всего любил при жизни. Здесь были серебряные брелки, серебряные ручки и ножи (а также фигурки людей целиком), серебряные чашки, серебряные собачки, серебряные церковные медальоны, просто — обрывки красных и голубых лент... Встречались и целые картинки, написанные маслом по жести: покойник при помощи ангелов возносится на небо.

Приглядевшись к могилам, Джозеф и Мари заметили на них остатки недавней фиесты Смерти. Застывшие капли воска на камнях — видимо, от праздничных свечей. Вялые орхидеи, прилипшие к молочно-белым камням, как раздавленные красные пауки — в некоторых из них, несмотря на убогость, было что-то ужасающе сексуальное. Повсюду валялись скрученные листья кактусов, пруттики бамбука и тростника, мертвые плети дикого вьюна, засохшие венки из гардений и бугенвиллий... Так выглядит бальный зал после буйного веселья, когда все танцоры уже разъехались, оставив за собой

покосившиеся столы, брызги конфетти, оплывшие свечи, ленты и пустые мечты...

Здесь, среди могильных плит и склепов, было тепло и тихо. В дальнем углу кладбища Джозеф и Мари увидели какого-то человека. Он был на редкость маленького роста — прямо коротышка, — довольно белокож для испанца, имел высокие скулы и носил очки с толстыми стеклами. Облик довершали черный пиджак, серые брюки без стрелок, серая шляпа и аккуратно зашнурованные ботинки. Коротышка с деловым видом расхаживал среди могил — словно что-то проверял, а может быть, следил за работой другого человека, который совсем неподалеку орудовал лопатой. При этом руки у него были засунуты в карманы, а под мышкой зажата сложенная вчетверо газета.

— Buenos dias, senora y señor!* — сказал он, наконец обратив внимание на Джозефа и Мари.

— Это у вас тут las mommias?** — спросил Джозеф. — Скажите, они действительно существуют, или это только легенда?

— Si***, существуют, — ответил мужчина. — И именно у нас. В катакомбах.

— Por favor, — сказал Джозеф. — Yo quiero veo las mommias, si****

— Si, señor.

— Me Espanol es mucho estúpido, es muy malo*****, — извинился Джозеф.

— Да нет, что вы, señor. Вы прекрасно говорите! Сюда, пожалуйста.

Он провел их между двух увешанных цветами плит к большому надгробию, спрятанному в тени ограды. Широкое и плоское, оно, как и все остальные, было посыпано гравием, а в середине его имелась узкая деревянная дверь с висячим замком. Подалась дверь со скрипом, обнаружив под собой круглый люк с винтовой лестницей, уходящей под землю.

Джозеф не успел сделать и шага, как его жена поставила ногу на ступеньку.

— Подожди, — сказал он. — Давай я вперед.

* Добрый день, сеньора и сеньор! (исп.)

** Мумии (исп.).

*** Да (исп.).

**** Будьте любезны, я хотеть видеть мумии (исп.).

***** Я говорить испанский есть много плохо (исп.).

— Да нет. Все в порядке, — одними губами проговорила Мари и тут же начала спускаться вниз по спирали, пока земля и темнота не поглотили ее. Двигалась она осторожно — ступеньки здесь были такие узенькие, что не сгодились бы даже ребенку. Стало совсем темно, и некоторое время она только по звукам шагов догадывалась, что смотритель идет за ней. Потом снова забрезжил свет, и наконец лестница вывела к длинному широкому коридору, стены которого были выкрашены белой краской.

Как оказалось, свет проникал сюда через небольшие готические окна, сделанные в сводчатом потолке. Высота стен говорила о том, что они углубились под землю футов на двадцать. Налево коридор тянулся пятьдесят футов, после чего упирался в стеклянную двустворчатую дверь, на которой было написано, что посторонним вход воспрещен. В правом же конце коридора возвышалась груда каких-то белых палочек и таких же белых гладких валунов.

— Это солдаты, которые сражались за отца Морелоса, — пояснил смотритель.

Они подошли к этому гигантскому складу поближе. Кости были уложены очень аккуратно — как дрова в поленнице, а поверх них такими же ровными рядами лежали черепа.

— Лично я ничего не имею против черепов и костей, — сказала Мари. — По-моему, в них нет совершенно ничего человеческого. Честное слово, я совсем не боюсь черепов и костей. Они все какие-то... насекомоподобные. К примеру, ребенок растет и даже не знает, что у него внутри скелет; для него в костях нет ничего плохого и страшного. Так же и я. Я не вижу на них никаких следов человека. Никаких остатков, которые могли бы вызвать ужас. Они... они слишком гладкие, чтобы их бояться. Настоящий ужас — это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь. А этих я совсем не узнаю. Они для меня как были скелеты, так и остаются скелетами. То, что я знала в них, изменилось настолько, что совсем исчезло — а значит, не на что смотреть и нечего бояться. Правда же, забавно?

Джозеф кивнул.

Мари совсем расхрабрилась:

— Ну ладно, теперь давайте посмотрим мумии.

— Сюда, сеюга, — вежливо направил ее смотритель.

Они отошли от груды костей и зашагали к запрещенной стеклянной двери. Получив от Джозефа свой песочек, смотритель торжественно распахнул дверь, и взору их открылся еще

один коридор — узкий и длинный, — по стенам которого стояли люди.

— Боже правый! — воскликнул Джозеф.

Они были похожи на первоначальные заготовки скульптора — каркасы, на которые нанесен лишь первый слой глины, слегка обозначивший мускулы. Сто пятнадцать незаконченных статуй.

Пергаментная кожа была натянута между костей, как белье для просушки. Разложение не тронуло их — просто внутри высохли все соки.

— Все дело в сухом климате, — пояснил смотритель. — Поэтому они так хорошо сохраняются.

— И сколько же они здесь простояли? — спросил Джозеф.

— Некоторые один год, некоторые — пять, некоторые — десять, а некоторые и все семьдесят — да-да, сеньор.

Одна только мысль об этом вызывала ужас. Достаточно было посмотреть направо — и взгляд упирался в первого, как и все остальные, прикрепленного к стене с помощью крюка и проволоки. Его отвратительный вид казался просто насмешкой по сравнению со следующим телом, которое определенно принадлежало женщине — хотя верилось в это с трудом. При взгляде на третьего стыла в жилах кровь, а у четвертой — тоже женщины — было такое лицо, словно она извинялась за то, что умерла и находится в таком странном месте.

— Но почему они здесь? — спросил Джозеф.

— Их родственники не заплатили ренты за могилы.

— А что, существует какая-то рента?

— Sì, sеньор. Двадцать песо в год. Или, если вам угодно, вы можете занять постоянное место — но тогда извольте выложить сто семьдесят песо. Сами знаете, народец тут у нас бедный — чтобы получить сто семьдесят песо, им приходится работать года два. Вот они и оставляют своих покойников здесь. Ну конечно, первый год все платят двадцать песо и хоронят их в земле. Они-то надеются, что будут платить и на следующий год, и на последующий... Однако на следующий год вдруг оказывается, что совершенно необходимо купить нового осла. Или в семье появляется еще один лишний рот — а то и не один. А покойничек что — он ведь есть-то не просит. С другой стороны, и за плугом не ходит. А если, скажем, кто-то взял себе другую жену? Или у кого-то прохудилась крыша? В постель ведь мертвого не потянешь, и крышу он тоже не починит. Так на что люди скорее потратят свои денежки? А? То-то и оно...

— Ну и что дальше? — спросил Джозеф. — Ты слушаешь, Мари? — добавил он.

Мари считала тела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

— Что-что? — еле слышно переспросила она.

— Ты слушаешь?

— Думаю, да... Э-э... Что ты сказал? Ах да, слушаю, конечно, слушаю.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

— А дальше... дальше в конце первого года я вызываю *trabajando**, он берет свою лопатку — и вперед. Откапывать. Знаете, на какую глубину мы их опускаем?

— Шесть футов? Насколько мне известно, это обычная глубина.

— А вот и не угадали, сеньор, а вот и не угадали. Поскольку мы почти что уверены, что ренту не заплатят, мы углубляемся всего на два фута. Так меньше возни, понимаете? Конечно, родственники умерших могут нас осуждать. Но мы делаем глубину и на три, и на четыре, и на пять, и на шесть футов — в зависимости от достатка семьи и от вероятности, что нам придется вскрывать эту могилу и доставать из нее тело. Следовательно, на шесть футов мы копаем, только если совершенно уверены, что нам больше не придется выкапывать. И знаете — мы еще ни разу не ошибались, просчитывая денежные возможности людей. Ни одной вскрытой шести-футовой могилы!

Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Губы Мари двигались почти беззвучно.

— Ну вот. А тела, которые выкопаны, размещают там, у стены — рядом с остальными *compañeros***.

— И их родственники знают, что они там?

— Si. — Коротышка вытянул указательный палец. — Вот этот, *yo veo?**** Он из новеньких. Его *madre y padre***** знают, что он здесь. Да только есть ли у них деньги? То-то и оно, что нет.

— Какое ужасное горе для родителей!

— Ну что вы, им на это совершенно наплевать, — с подкупающей честностью ответил коротышка.

* Здесь — рабочий (*исп.*).

** Приятели (*исп.*).

*** Видите? (*исп.*)

**** Мать и отец (*исп.*).

— Нет, ты только послушай, Мари!

— Что? — Тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре... — Ну да, совершенно наплевать.

— А если ренту все же заплатят — ну потом? — поинтересовался Джозеф.

— Тогда, — охотно ответил смотритель, — тела снова захоронят — на столько лет, за сколько будет заплачено.

— Прямо вымогательство какое-то... — пробормотал Джозеф.

Не вынимая рук из карманов, коротышка пожал плечами:

— Жить-то как-то надо.

— Но вы же понимаете, никому не под силу выложить сразу такую сумму — сто семьдесят песо, — сказал Джозеф. — Значит, так вы и держите их на двадцати песо год за годом — хоть десять лет, хоть тридцать. А тем, кто не платит, грозится, что упечете их любезную *mamacita** или *piño*** в катакомбы...

— Ну, жить-то как-то надо, — повторил коротышка.

Пятьдесят один, пятьдесят два...

Мари шла по длинному коридору, вдоль стен которого рядами стояли мертвецы. И считала.

Они орали!

Казалось, они пытались вырваться из своих могил: их ссохшиеся руки были неистово сцеплены на груди, рты отверсто открыты, языки вывалены, ноздри напряжены...

Они словно застыли в этом крике.

Надо же, у всех до одного открытые рты. Какой-то нескончаемый вопль. Как будто они знают, что они мертвецы. Чувствуют каждой порой, каждым органом, каждым волоском.

Мари остановилась, чтобы услышать этот крик.

Говорят, собаки слышат звуки, недоступные человеческому уху. Людям кажется, что никаких звуков нет — а они на самом деле есть.

Коридор просто тонул, задыхался в крике. Вопили что есть сил вывернутые в ужасе губы, страшные ссохшиеся языки... Пусть и недоступно для человеческих ушей — но вопили!

Джозеф подошел к одному из тел поближе.

— Ну и ну... — протянул он.

Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь, — считала Мари, окруженная немymi воплями.

* Мамочка (*исп.*).

** Ребенок (*исп.*).

— Вот интересный экземпляр, — заметил смотритель.

Перед ними была женщина — руки вскинuty к лицу, рот широко раскрыт (так что видны совершенно целые зубы), длинные волосы спутаны, а глаза похожи на голубоватые птичьи яйца.

— Да, такое иногда случается. Эта женщина страдала каталепсией. Однажды она упала замертво, но на самом-то деле не умерла — у них сердце продолжает биться, но так скрытно, что не разобрать. Ну вот, значит, ее и похоронили в недорогом, но очень добротном гробу...

— А вы что — не знали, что она страдает каталепсией?

— Ее сестры знали. Но на этот раз они подумали, что она действительно умерла. А хоронят у нас быстро — климат жаркий...

— Ее похоронили через несколько часов после смерти?

— Si, разумеется. И никто бы даже не узнал о том, что с ней произошло, если бы год спустя ее сестры — которым пришлось поберечь деньги на другие покупки — не отказались платить ренту. Ну вот, мы и выкопали ящик, достали его, сняли крышку и заглянули внутрь...

Мари смотрела во все глаза.

Эта несчастная проснулась под землей. Она истошно визжала, билась в своем гробу, царапала крышку, пока не умерла от удушья — прямо в этой вот позе, с руками, вскинутыми к лицу, с разинутым ртом, с выпученными от ужаса глазами...

— Обратите внимание на ее руки, señor, и сравните их с руками других, — продолжал смотритель. — У тех пальчики гладкие, все равно как розанчики. А у этой... скрюченные, растопыренные — сразу видно, что она пыталась выбить руками крышку!

— А может, тут виновато трупное окоченение?

— Уж поверьте мне, señor, в трупном окоченении люди не колотят по крышкам гробов. И не кричат, и не выворачивают себе ногтей, и не вышибают локтями боковых досок, в надежде получить хоть глоток воздуха. Не спорю, у других тоже разинуты рты — словно все они кричат, si. Но это лишь потому, что им не ввели бальзамирующее вещество. Их «крик» — всего лишь результат сокращения мускулов. Тогда как вот эта señorita действительно кричала — ей досталась поистине muerte horrible*.

* Ужасная смерть (исп.).

Шаркая туфлями, Мари подходила то к правой стороне, то к левой. Тела были голые — одежда уже давно сшелушилась с них, как сухие листья. Полные груди женщин походили на куски подошедшего теста. Тощие же бедра мужчин напоминали об узловатых изгибах увядших орхидей.

— Мистер Гримасоу и мистер Разиньрот, — сказал Джозеф и наставил объектив фотоаппарата на двух мужчин, которые словно бы мирно беседовали — рты их были открыты, а руки застыли в выразительных жестах.

Щелкнул затвор. Джозеф перевел кадр и наставил объектив на другое тело. Снова щелкнул затвором, перевел кадр и перешел к следующему.

Восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три...

Отвалившиеся челюсти, высунутые, как у дразнящихся детей, языки, в круглых глазницах — воздетые к небу карие глаза с бледными белками... Острые, вспыхивающие искрами волоски на коже — они усеивают щеки, губы, веки, лоб. На подбородке, на груди и бедрах — густеют. Сухая пергаментная кожа, натянутая, как на барабане... Плоть, похожая на опару... Необъятные женщины — смерть расплющила их, превратив в жирную, бесформенную массу. Безумные волосы торчат во все стороны, наподобие разоренного гнезда. Виден каждый зубик — у них прекрасные зубы.

Восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь... Глаза Мари убегают вперед по коридору. Быстрее! Не останавливаться! Девяносто один, девяносто два, девяносто три! Вот мужчина со вспоротым животом — дыра такая огромная, что похожа на древесное дупло, в которое Мари бросала любовные письма, когда ей было лет одиннадцать. Заглянув в него, она увидела ребра, позвоночник и тазовые пластины. И снова — сухожилия, пергаментная кожа, кости, глаза, обросшие подбородки, застывшие, словно в изумлении, ноздри... Вот у этого разорван пупок — будто его пытались кормить пудингом прямо через чрево. Девяносто семь, девяносто восемь! Фамилии, названия городов, числа, месяцы, безделушки...

— Эта женщина умерла при родах!

К руке несчастной, словно куклу, подвесили на проволоке ее мертворожденное дитя.

— А это солдат — на нем еще сохранились остатки формы...

Глаза Мари метались от одной стены к другой... Вправо — влево, вправо — влево. От одного ужаса — к другому. От одного черепа — к новому. Словно зачарованная, смотрела она на мертвые, бесплотные, навсегда забывшие о любви чресла... Здесь были мужчины, странным образом превратив-

шиеся в женщин. И женщины, превратившиеся в грязных свиней. Взгляд отскакивает от одного — и рикошетом перелетает к другому... От вздувшейся груди — к иступленному рту... От стены — к стене, от стены — к стене... Вот мяч в зубах у одного — он неистовым плевком перебрасывает его в когти к следующему — тот кидает его дальше — и мяч застревает меж темных набухших сосков... Публика неистовствует, кричит и свистит, глядя на этот страшный пинг-понг, где мячик-взгляд в ужасе отшатывается от стен и все-таки, преодолевая отвращение, катится дальше сквозь строй подвешенных на крюки солдат смерти...

Вот и последний — теперь за спиной все сто пятнадцать, голоса их слились в единый вопль...

Мари рывком оглянулась и посмотрела назад, туда, где начиналась винтовая лестница, ведущая наружу. До чего же изобретательна смерть! Сколько всевозможных выражений, поворотов, изгибов рук — и ни одно не повторяется... Они выстроились здесь, словно трубки гигантской каллиопы*, вместо клапанов — разверстые рты. И эта каллиопа кричит, надрывается во все сто глоток разом — будто огромная сумасшедшая рука нажала сразу на все клавиши...

То и дело щелкал затвор фотоаппарата, и Джозеф переводил кадр. Щелк — перевел. Щелк — перевел...

Морено, Морелос, Сантина, Гоме, Гутиерре, Вилланусул, Урета, Ликон, Наварро, Итурби... Хорхе, Филомена, Нена, Мануэль, Хосе, Томас, Рамона... Этот — путешествовал, эта — пела, у того было три жены. Один умер от одной болезни, другой — от другой, третий — от третьей. Четвертого застрелили, пятого — пырнули ножом. Шестая просто упала замертво. Седьмой умер от пьянства, восьмой — от любви. Девятый свалился с лошади, десятый кашлял кровью, у одиннадцатой остановилось сердце... Двенадцатый — тот любил посмеяться. Тринадцатый — слыл прекрасным танцором. Четырнадцатая была первой красавицей. У пятнадцатой было десять детей. Шестнадцатый — один из этих детей, так же как и семнадцатая. Восемнадцатого звали Томас — он чудесно играл на гитаре. Следующие три выращивали маис. У каждого было по три любовницы! А двадцать второй никогда не знал любви. Двадцать третья продавала на площади перед оперным театром маисовые лепешки — прямо там же и выпекала их на маленькой угольной жаровне. А двадцать четвертый бил свою жену — теперь она, гордая и счастливая,

* Клавишный музыкальный инструмент.

разгуливает по городу с другим, а он стоит здесь, навсегда возмущенный такой несправедливостью... А двадцать пятый захлебнул в легкие несколько кварт воды из реки — его выжили сенью... А двадцать шестой был великим мудрецом — только теперь его мозги сморщились, как сушеная слива...

— Хочу сделать цветные фотографии каждого из них. А также записать имена и кто от чего умер, — сказал Джозеф. — Из этого может получиться забавная книжонка. Только представьте себе: сначала краткая история чьей-то жизни — а потом фотография, как он уже стоит здесь.

Джозеф тихонько похлопывал тела по груди. Звук получался глухой, словно он стучался в двери.

Мари с трудом продиралась сквозь опутавшую коридор вязкую путину воплей. Стараясь держаться ровно посерединке, она размеренно, не глядя по сторонам, шагала к винтовой лестнице. За спиной ее то и дело шелкал затвор фотоаппарата.

— И для новеньких место осталось, — сказал Джозеф.

— Si, señor. Места здесь еще много.

— Да уж, не хотелось бы быть следующим... в вашем списке кандидатов.

— Эх, señor, кому ж этого хочется.

— А как насчет того, чтобы купить у вас одного... из этих?

— Что вы, что вы, señor! Нет, señor!

— Ну, я заплачу вам пятьдесят песо.

— Да нет же, нет, señor! Нет!

На рынке с шатких лотков продавали оставшиеся после фиесты Смерти леденцовые черепа. Женщины-продавщицы, замотанные в черные gebozo, почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались словечками. Перед ними был разложен товар: сладкие скелетики, сахарные трупы и белые леденцовые черепа. На каждом из черепов причудливыми буквами было выдавлено какое-нибудь имя: Кармен, или Рамон, или Тена, или Гуермо, или Роза. Стоило все дешево — праздник закончился. Джозеф заплатил песо и купил парочку черепов.

Мари стояла рядом с ним на узкой улочке и смотрела, как смуглолицая продавщица складывает в пакет леденцовые черепа.

— Только не это, — проговорила она.

— А почему бы и нет? — возразил Джозеф.

— После всего, что было там...

— В катакомбах?

Она кивнула.

— Но они же вкусные, — прищурился он.

— Не знаю... Вид у них довольно ядовитый.

— Только из-за того, что они сделаны в форме черепушек?

— Да нет. Просто они плохо проварены... К тому же ты не знаешь, кто их делал — может, у этих людей вообще дизентерия.

— О Господи, Мари. Да у всех мексиканцев дизентерия.

— Ну и ешь их сам! — огрызнулась она.

— Увы, бедный Йорик... — продекламировал Джозеф, заглядывая в пакет.

Они двинулись по узенькой улочке, зажатой между высокими домами, где рамы на окнах были выкрашены желтым. Из-за их розовых решеток пахло острым *tamale** и слышался плеск воды по кафельному полу. Чирикала домашняя птичка в клетке из бамбука, кто-то исполнял на пианино Шопена.

— Надо же, здесь — и вдруг Шопен, — сказал Джозеф. — Потрясающе!.. Кстати, довольно интересный мост. Подержика. — Он отдал жене пакет с леденцами и принялся фотографировать красный мост, соединяющий два белых здания, по которому шагал мужчина в *segare* — ярко-красной мексиканской шали. — Прекрасно!

Мари шла и смотрела на Джозефа, потом отворачивалась от него — и снова смотрела. При этом губы ее беззвучно шевелились, шея была неестественно напряжена, а правая бровь слегка подергивалась. Мари то и дело перекладывала пакет с леденцами из одной руки в другую — точно несла ежа. Вдруг она споткнулась о бордюр, неловко взмахнула руками, вскрикнула и... уронила пакет.

— О Господи! — Джозеф поспешно подхватил пакет с земли. — Посмотри, что ты наделала! Нескладеха!

— Нет, наверно, мне лучше было сломать лодыжку... — пробормотала Мари.

— Это же были самые лучшие черепа — и ты их испортила. А я так хотел привезти их домой и показать друзьям...

— Прости меня, — еле слышно сказала она.

— Прости, прости!.. — с досадой выкрикнул Джозеф, мрачно заглядывая в пакет. — Черт-те что! Где я теперь найду такие? Нет, это просто невыносимо!

Поднялся ветер. На узенькой улочке не было ни души — только Мари и Джозеф, почти зарывшийся лицом в свой пакет. Никого. Только они вдвоем, вдалеке от всего мира,

* Мексиканское блюдо: толченая кукуруза с мясом и красным перцем.

за тысячи миль отовсюду — откуда ни возьми... А вокруг — пустой, ничего не значащий для них город. И голая пустыня, над которой кружат ястребы.

Чуть впереди, на крыше оперного театра, сверкали фальшивым золотом греческие статуи. В какой-то пивнушке надрылся граммофон, чужие слова уносил ветер.

Джозеф закрутил верх пакета, чтобы тот не раскрывался, и с досадой сунул в карман.

Они как раз успели на гостиничный ленч к половине третьего.

Сидя за столиком напротив Мари, Джозеф молча зачерпывал ложкой альбондигасский суп. Пару раз Мари весело заговаривала с ним, указывая на настенные фрески, но он только хмуро смотрел на нее и молчал. Пакет с разбитыми черепами лежал рядом на столе...

— Señora...

Коричневая рука убрала со стола суповые тарелки. Вместо этого появилась большая тарелка с энчиладами*.

Мари подняла взгляд.

На тарелке лежало шестнадцать энчилад.

Она взяла в руки вилку и уже потянулась, чтобы взять себе одну штуку, но вдруг что-то ее остановило. Она положила вилку и нож по обеим сторонам тарелки. Оглянувшись, посмотрела на расписные стены, затем на мужа... Взгляд ее снова вернулся к энчиладам.

Шестнадцать. Одна к одной — вплотную друг к другу. Длинный ряд...

Мари принялась считать их.

Один, два, три, четыре, пять, шесть.

Джозеф выложил одну на тарелку и съел.

Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

Она спрятала руки на коленях.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.

Мари закончила считать.

— Я не хочу есть, — сказала она.

Джозеф положил перед собой еще одну энчиладу. Начинка, запеленутая в тонкую, как папирус, кукурузную лепешку. Вот он отрезает кусочек и кладет в рот... Мари мысленно представила себе, как этот кусочек пережевывается у него во рту, смачивается слюной, хрустит — и зажмурилась.

— Ты чего? — спросил он.

* Блинчик с острой мясной начинкой.

— Ничего, — сказала она.

Осталось еще тринадцать энчилад — они были похожи на маленькие посылки или конвертики с младенцами...

Джозеф съел еще пять.

— Что-то мне нехорошо, — сказала она.

— Ела бы нормально — и все.

— Не хочу.

Он покончил с энчиладами и, открыв пакет, достал оттуда один из полураздавленных черепов.

— Может быть, не надо здесь?

— Почему это еще? — Джозеф смачно откусил одну из глазниц и принялся жевать. — А они ничего, — сказал он, перекатывая леденец на языке. После этого отхватил еще один кусок. — Очень даже ничего.

Она вдруг заметила выдавленное на черепе имя.

Там было написано «Мари».

Это надо было видеть, как она собирала чемоданы — свой и его. Бывает, в спортивных репортажах кадры прокручивают наоборот; например, только что спортсмен прыгнул с трамплина в воду — и вот он уже запрыгивает задом наперед обратно, на спасительный трамплин. Так и сейчас на глазах у Джозефа вещи словно сами собой залетали обратно в чемоданы: пиджаки — в один, платья — в другой... Перед тем как юркнуть в коробки, в воздухе птицами парили шляпы... Туфли, словно мыши, разбегались по полу и исчезали в норках. Наконец чемоданы закрыли свои пасти, клацнули замки и повернулись ключи. Все.

— Ну вот! — воскликнула Мари. — Все запаковано! Боже мой, Джо, как я счастлива, что мне удалось тебя уговорить.

Подхватив чемоданы, она засеменила к двери.

— Подожди, дай я помогу, — сказал он.

— Да нет, мне не тяжело, — покачала головой она.

— Но ты же никогда не носила чемоданы. И не надо. Я позову посыльного.

— Ерунда, — проговорила Мари, задыхаясь от тяжести.

Уже на выходе из номера мальчишка-посыльный все же выхватил у нее чемоданы с криком:

— Señora, por favor!*

— Мы ничего не забыли? — Джозеф заглянул под обе кровати, после чего вышел на балкон и внимательно оглядел сквер. Зашел обратно, осмотрел ванную, секретер и даже

* Сеньора, будьте любезны! (исп.)

умывальник. — Ну вот, — сказал он и с торжествующим видом вынес что-то в руке. — Ты забыла свои часы.

— Неужели? — Мари торопливо надела их и вышла за дверь.

— Не понимаю... — проворчал Джозеф. — Какого черта мы выезжаем в такую позднотищу?

— Но еще ведь только полчетвертого, — сказала она. — Всего лишь полчетвертого...

— Все равно не понимаю, — повторил он.

Оглядев в последний раз комнату, Джозеф вышел, прикрыл дверь, запер ее и, поигрывая ключами, стал спускаться вниз.

Мари уже ждала его в машине. Она прекрасно устроилась на переднем сиденье — и даже успела расправить на коленях плащ. Джозеф проследил, чтобы в багажник загрузили остатки багажа, а затем подошел к передней двери и постучал. Мари открыла и впустила его.

— Ну вот, сейчас-то мы и поедem! — воскликнула она со смехом, и глаза ее озорно блеснули на раскрасневшемся лице. Она даже вся подалась вперед — будто от этого движения машина могла тронуться сама собой. — Спасибо тебе, дорогой, что разрешил сделать возврат денег за сегодняшнюю ночь. Думаю, они нам еще пригодятся в Гвадалахаре. Спасибо!

— Угу, — пробурчал он в ответ.

Затем вставил ключ зажигания и надавил на стартер.

Машина не завелась.

Тогда Джозеф снова нажал на стартер. Рот Мари болезненно дернулся.

— Наверное, надо прогреть, — сказала она. — Ночью было холодно...

Он попробовал снова. Никакого результата.

Мари вцепилась в свои колени.

Джозеф попытался завестись еще не менее шести раз, после чего бессильно откинулся назад.

— Гм-м...

— Попробуй еще разок. Должно заработать, — попросила она.

— Без толку, — сказал он. — Какая-то поломка.

— И все-таки попробуй еще раз.

Джозеф попробовал еще раз.

— Она обязательно заведется, вот увидишь, — проговорила Мари. — Ты включил зажигание?

— Включил — не включил... Включил! — огрызнулся Джозеф.

— Что-то непохоже, чтобы ты его включил, — сказала она.

— Ну вот, смотри! — Он на ее глазах повернул ключ.

— Теперь давай, пробуй.

— Видела? — спросил Джозеф, после того как вновь ничего не получилось. — Я ведь тебе говорил.

— Ты, наверное, что-то неправильно делаешь. Сейчас мы почти завелись! — воскликнула она.

— Так можно посадить аккумулятор — потом черта с два его здесь купишь!

— Ну и ладно — сажай. Я уверена, вот сейчас мы заведемся.

— Знаешь что, если ты такая умная, попробуй сама! — Джозеф вылез из машины и уступил ей место за рулем. — Ну давай, вперед!

Мари закусила губу и уселась за руль. Ее руки двигались медленно и торжественно, словно она совершала некий мистический обряд. Всем своим телом она будто пыталась поправить земное притяжение и прочие физические законы. Туфля с тупым носком изо всех сил топтала стартер — однако машина не издавала ни звука.

У Мари вырвался жалобный писк. Она отпустила стартер и дернула дроссель. После этого в воздухе появился вполне недвусмысленный запах.

— Ну вот, ты залила свечи! — воскликнул Джозеф. — Прекрасно! Изволь теперь пересесть на свое место.

Затем он раздобыл где-то троих молодцов, которые покатали автомобиль под гору. Сам вспрыгнул за руль, чтобы управлять. Машина быстро разогналась и стала бодро подпрыгивать на ухабах. Глаза Мари вспыхнули надеждой.

— Сейчас она заведется! — сказала она.

Но машина и не думала заводиться. Вместо этого они спокойно докатились до заправочной станции и затормозили возле баков с бензином.

Мари сидела молча, поджав губы, и когда служитель станции подошел к машине, не открыла ни дверцу, ни окно — ему пришлось обходить машину и обращаться к ее мужу.

Некоторое время механик стоял, склонившись над мотором, потом выпрямился и хмуро посмотрел на Джозефа. Затем они вполголоса обменялись несколькими фразами по-испански.

Мари опустила окно и прислушалась к разговору.

— Ну, что он говорит?

Мужчины продолжали что-то обсуждать.

— Что он говорит? — еще раз, более настойчиво, спросила Мари.

Смутный механик делал жесты в сторону мотора. Джозеф понимающе кивал. Беседа все продолжалась.

— Что там? — не унималась Мари.

Джозеф строго посмотрел на нее и свел брови к переносице.

— Подожди минуту. Не могу же я слушать двоих сразу!

Механик взял Джозефа под локоть. Казалось, они никогда не закончат обсуждение.

— Что он тебе говорит? — снова встряла Мари.

— Он говорит... — начал Джозеф, но не закончил, потому что мексиканец снова увлек его к мотору. Вид у механика был такой серьезный, будто на него наконец снизошло прозрение.

— Во сколько нам это обойдется? — выкрикнула Мари, выглядывая из окна машины и обращаясь к их склоненным спинам.

Механик что-то сказал Джозефу.

— Пятьдесят песо, — перевел Джозеф.

— А сколько времени займет починка? — прокричала его жена.

Джозеф снова обратился к механику. Тот пожал плечами, и некоторое время они спорили.

— Ну так сколько? — нетерпеливо спросила Мари.

Но обсуждение продолжалось.

Солнце уже клонилось к закату. Теперь оно висело над верхушками кладбищенских деревьев на горе, а на долину быстро напозла тень. И только небо оставалось чистым, голубым и нетронутым.

— Два дня. А может, и все три, — сказал Джозеф, повернувшись к Мари.

— Два дня!.. А не мог бы он починить как-нибудь временно — чтобы мы могли перебраться в другой город и встать на ремонт там?

Джозеф задал механику вопрос. Тот ответил.

— Нет, так нельзя. Надо делать полный ремонт.

— Ну почему, почему — что за глупость? Зачем он будет делать полный ремонт — ведь он прекрасно знает, что без него можно обойтись? Скажи ему, Джо, скажи... Пусть он поторопится и закончит...

Но мужчины уже не слушали ее. У них снова пошел серьезный разговор.

На этот раз вещи уже не были такими приткими. Джозефу пришлось самому распаковывать свой чемодан. А чемодан Мари так и остался стоять у двери.

— Мне ничего не понадобится, — сказала она.

— Даже ночная рубашка?

— Ничего, посплю нагишом, — ответила Мари.

— Ну ладно тебе, я же не нарочно, — сказал Джозеф. — Это все дурацкая машина.

— Надо будет обязательно сходить и проконтролировать, как они там все делают, — пробормотала Мари, которая сидела на краешке кровати.

Они сняли другой номер. Мари отказалась от старой комнаты, сказав, что этого она просто не вынесет. Здесь, в новом номере, она могла представить, что они в другой гостинице, в другом городе. Отсюда открывался вид на аллею и на трубы канализации — а не на сквер с шляпными коробками деревьев.

— Слышишь, Джо, обязательно спустись к станции и проверь, как у них движется работа. Если не проверять, они могут протянуть с починкой и месяц и два! — Она подняла на него взгляд. — А лучше вот что: пойди и займись этим прямо сейчас — вместо того чтобы слоняться без дела.

— Что ж, можно и сходить, — сказал он.

— Я пойду с тобой. Хочу купить журналов.

— Думаю, в таком городе ты вряд ли отыщешь американские журналы.

— Что, мне уже и посмотреть нельзя?

— И вообще... У нас мало денег, — сказал Джозеф. — Мне бы не хотелось связываться с банком и телеграфом. Только лишняя возня и трата времени.

— Но на журналы-то, я надеюсь, денег хватит? — спросила Мари.

— Ну, на парочку хватит.

— На столько, сколько я захочу! — отрезала Мари, сидя на кровати, вся красная от возмущения.

— Господи, у тебя же в машине чертова уйма этих журналов: «Пост», «Колльер», «Меркьюри», «Атлантик», «Барнаби», «Супермен»! Ты же не прочитала в них и половины статей!

— Они старые, — покачала головой Мари. — Я их уже все просмотрела и хочу новые... Когда сразу просмотришь, становится совсем...

— А ты не только просматривай, но и пробуй читать их, — язвительно сказал Джозеф. — Ты же умеешь читать, не так ли?

Когда они спустились на площадь, уже совсем стемнело.

— Дай мне несколько песо, — попросила Мари, и Джозеф протянул ей деньги. — И научи, как спрашивать по-испански про журналы.

— Quiero una publicacion Americano, — произнес он, не останавливаясь.

Мари, запинаясь на каждом слове, повторила за ним фразу и прохихикала:

— Спасибо.

Джозеф зашагал по направлению к технической станции, а Мари вернулась и подошла к ближайшей лавке с надписью Farmacia Botica*. Разложенные на витрине журналы были все на одно лицо. Быстро пробежав глазами похожие, как члены одной семьи, названия, Мари пытливо взглянула на старичка, сидящего за прилавком.

— У вас есть американские журналы? — начала она, не решившись заговорить по-испански.

Старик уставился на нее.

— Habla Ingles?** — спросила она.

— Нет, señorita.

Тогда Мари попыталась вспомнить испанскую фразу.

— Quiero... погодите... — Она запнулась и начала снова: — Quiero... Americano... э-э... жюр-на-ло?

— О нет, señorita!

Мари всплеснула руками — как будто клацнули челюсти большого рта. Рот ее открылся и снова закрылся. У Мари было ощущение, что перед ней какая-то завеса. Она словно бы находилась здесь, в этом маленьком магазинчике — и одновременно нет. Все эти смуглые, пропеченные солнцем люди, которые населяли город, были для нее чужими. Они не знали слов, которые знала она — так же, как она не понимала их слов. А если слова и произносились, то с великим смущением и стыдом. И вокруг города — одно только бесконечное пространство и время. А дом, ее дом — где-то далеко, в другой жизни...

Мари резко повернулась и вышла.

Одну за другой обходила она лавки и везде видела одни и те же обложки с окровавленными быками, жертвами насилия или слащаво-конфетными лицами священников. Наконец в каком-то магазинчике ей попалось три номера «Пост», и она так обрадовалась, что даже засмеялась от восторга и оставила хозяину лавки приличные чаевые.

Прижимая заветные журналы к груди, Мари побежала по узкому тротуару — перепрыгнула канаву, стремительно перелетела через улицу, что-то напевая себе под нос на «ля-ля»...

* Аптека (исп.).

** Вы говорите по-английски? (исп.)

Затем вскочила на другой тротуар, пробежалась по нему и, улыбнувшись самой себе, перешла на быстрый шаг. Журналы она крепко прижимала к груди, глаза ее были полузакрыты, ноздри вдыхали пропахший углем воздух, уши щекотал теплый ветерок...

В вышине звезды играли лучами на позолоте греческих статуй оперного театра. Мимо Мари проковылял какой-то мужчина, на голове он нес большую корзину, полную буханок хлеба.

Мари посмотрела на мужчину, на корзину у него на голове и внезапно застыла. Улыбка разом сошла с ее губ, руки, державшие журналы, разжались... Мужчина шел и бережно придерживал корзину рукой, а другой размахивал при ходьбе. Журналы выскользнули у Мари из пальцев и рассыпались на тротуар.

Она скорее бросилась подбирать их. Затем в одну секунду домчалась до отеля и буквально взлетела по лестнице.

Мари сидела в номере. По обеим сторонам и впереди от нее стопками лежали журналы. Она окружила себя ими, как крепостной стеной с опускаемыми решетками из слов. Это были старые журналы — те, что валялись в машине. Их она уже смотрела раньше, и они годились теперь лишь для постройки крепости. А вот три только что купленные (хотя и потрепанные) номера «Пост» она взяла к себе и заботливо уложила на колени. Мари даже не решалась открывать их, предвкушая, как будет с упоением читать, читать, жадно перелистывать страницы, и опять читать...

Наконец она решилась перевернуть первую страницу. Она будет читать их внимательно — строку за строкой, страницу за страницей. Все до запятой, до малейшего оттенка цвета в картинках. А еще осталось несколько лакомых кусочков в старых номерах из «крепостной стены» — рекламы, мультяшки, которые она пропускала, оставляя на потом.

Первый номер — вот этот — она будет читать сегодня вечером. Она растянет это удовольствие надолго, а завтра вечером примется за второй. Завтра вечером — если, конечно, она будет здесь завтра вечером. А может, и не будет — вдруг машина заведется, и тогда... Мари словно наяву ощутила запах выхлопных газов, услышала шорох шин по дороге и завывание ветра, раздувающего ей волосы. И все-таки, возможно, она будет здесь завтра вечером — здесь, в этой комнате. На этот случай у нее останется второй номер, и еще третий — на послезавтра. Она аккуратно разложила все по

полочкам у себя в голове. Итак, первая страница перевернута.

Затем вторая. Глаза пробежали по строчкам, потом еще раз, а пальцы уже сами собой нащупывали третью. И так дальше — часы тихонько тикали у Мари на запястье, время бежало, а она все переворачивала и переворачивала страницы — одну за другой, жадно разглядывая людей на фотографиях. Людей из другой страны, из другого мира — мира разноцветных неоновых вывесок, ночных баров и таких знакомых, родных запахов... Мира, где люди говорят друг другу хорошие слова... А она сидит здесь и тупо переворачивает страницы, и строчки прыгают у нее перед глазами, а руки так быстро листают страницы, что они обдувают ей лицо, как опахалом. Мари отбросила в сторону первый «Пост», лихорадочно ухватила за второй и в полчаса покончила с ним. Руки ее потянулись к третьему, и через пятнадцать минут он также был отброшен в сторону. Мари почувствовала, что ей трудно дышать — она хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Она подняла руки к затылку.

Откуда-то подул легкий ветерок.

Мари почувствовала, как сзади на шею зябко съезжились корни волос.

Бледной рукой она осторожно дотронулась до головы, будто это был хрупкий шар одуванчика.

На улице, в сквере, целыми стаями летали бумажки, раскачивались на ветру уличные фонари. Тени то появлялись, то исчезали под их круглыми шляпами — при этом ржавые железные соединения на высоких столбах жалобно скрипели.

У Мари начали дрожать руки — она видела, как они дрожат. Затем у нее задрожало все тело. Под ярчайшей из ярчайших юбок, которую она специально надела сегодня вечером, в которой она прыгала и крутилась перед высоким, похожим на крышку гроба зеркалом — под этой нарядной юбкой из искусственного шелка трепетало ее тело, натянутое точно струна. Стучали даже зубы. Мари пыталась сжать их, но они все равно стучали. Она изо всех сил закусила губу — так, что размазалась помада...

И тут раздался стук в дверь — вернулся Джозеф.

Они готовились ко сну. Джозеф сообщил, что все в порядке и машину уже начали чинить. Завтра он пойдет туда опять и проследит.

— Только не стучи больше в дверь, — сказала Мари, раздеваясь перед зеркалом.

— Тогда оставляй ее открытой, — пожал плечами Джозеф.

— Нет уж, я лучше ее запру. Но ты не долби так. Просто скажи, что это ты.

— А что тут такого — ну, постучал?

— Как-то странно... — ответила Мари.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду?

Она бы и не смогла объяснить. Свесив руки вдоль тела, она стояла, обнаженная, перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Она видела свои груди, бедра — все свое тело. Она была живая — двигалась, ощущала под ногами прохладный пол, чувствовала кожей воздух вокруг себя... Если бы она дотронулась пальцами до кончиков грудей, груди бы узнали эти прикосновения.

— Ради всего святого, — поморщился Джозеф, — хватит тебе любоваться собой. — Он уже лежал в постели. — Ну что ты делаешь, скажи на милость? Что за поза? Зачем тебе понадобилось закрывать лицо?

Джозеф погасил свет.

Она не могла говорить с ним, потому что не знала слов, которые знал он, а он не понимал слов, которые говорила она. Поэтому Мари пошла к себе в кровать и легла. А Джозеф остался лежать на своей, повернувшись к жене спиной. Он был совсем как те чужие коричневые люди в городе. Мари казалось, что этот город находится где-то далеко, на самой Луне, и чтобы попасть на Землю, нужно совершить космический перелет. Ах, если бы он поговорил с ней сегодня, она бы спокойно уснула! И дыхание бы улеглось, и кровь не билась бы так яростно в запястьях и подмышечных впадинах... Но он не говорил. Только тикали в тишине часы, отмеряя тысячи долгих секунд, и тысячи раз Мари поворачивалась с боку на бок, накручивая на себя одеяло, и подушка жгла ей щеку, как раскаленная плита...

Темнота опутывала комнату черной москитной сеткой — Мари барахталась в ней, с каждым поворотом застревая все больше. Если бы он сказал ей хоть слово — одно только слово... Но он не говорил. И вены продолжали ныть в запястьях. Сердце ухало, как мехи, раздуваемые страхом, и раскалялось докрасна, освещая ее изнутри воспаленным огнем. Легкие так надрывались, будто она была утопленницей и сама делала себе искусственное дыхание. В довершение всего, тело обливалось потом — вскоре Мари прилипла к простыням, как растение, зажатое между страницами толстой книги.

Так она лежала долгие часы, пока ей не начало казаться, что она вновь стала ребенком. Когда ненадолго стихали глухие удары сердца, похожие на бубен безумного шамана, тогда к Мари приходили эти неторопливые печальные образы. Теплое, золотистое, как бронза, детство — солнце играет на зеленой листве деревьев, на гладкой воде, вспыхивает на пушистой и светлой детской головке... Карусель памяти кружила перед ней лица — вот чье-то лицо приближается, проносится мимо и улетает... Вот еще одно появляется слева — его губы что-то говорят — и вот оно уже метнулось вправо и исчезло. Снова и снова...

О, до чего же нескончаемая ночь! Мари пыталась успокоить себя, представляя, как они поедут завтра домой (если, конечно, машина заведется), как мирно будет гудеть мотор, шуршать под колесами дорога... Она даже улыбнулась своим мыслям в темноте.

А если не заведется? Мари сразу съежилась, будто съеденная огнем бумажка. Внутри у нее все сжалось, и осталось только тиканье часов на руке — тик, тик, тик...

Наконец пришло утро. Мари посмотрела на мужа, который, непринужденно раскинувшись, спал на своей кровати. Ее рука свисала в прохладный проем между кроватями. Она держала ее там всю ночь. Один раз попыталась дотянуться рукой до Джозефа, но не смогла — кровать отстояла слишком далеко. Ей пришлось тихонько притянуть руку обратно, надеясь, что он ничего не услышал и не почувствовал.

Вот он лежит перед ней. Веки сомкнуты в сладкой дреме, ресницы спутаны, словно длинные сплетенные пальцы. Ребра почти не двигаются — будто он не дышит. Конечно же, за ночь он успел наполовину выпростаться из пижамы. Впрочем, виден только его торс, а остальное скрыто под одеялом. Профиль на фоне подушки кажется таким задумчивым...

На подбородке у него она вдруг заметила щетину.

В скудном утреннем свете белели ее глаза. В сущности, во всей комнате двигались только они — вверх, вниз, направо, налево — изучая анатомию лежащего напротив мужчины.

Мари видела каждый волосок на его подбородке и на щеках — и каждый был само совершенство. В щелку между шторами пробивался маленький сноп солнечного света и падал как раз на подбородок Джозефа, зажигая на нем искры.

Черные волоски вились и на его запястьях — такие же совершенные, гладкие и блестящие.

На голове волосы тоже были хороши — прядка к прядке, ни одного изъяна. Красиво вырезанные уши. И зубы — у него были прекрасные зубы...

— Джозеф! — вдруг закричала Мари. — Джозеф! — еще раз выкрикнула она и в ужасе вскочила.

«Бом! Бом! Бом!» — загремел колокол на башне огромного собора, что стоял через дорогу.

За окном шумно вспорхнула стайка белых голубей — словно махнувшие страницами журналы. Сделав круг над площадью, птицы поднялись вверх. «Бом! Бом!» — продолжал звенеть колокол. Где-то вдалеке музыкальная шкатулка выводила мелодию «Cielito Lindo»*.

Потом все стихло, и стало отчетливо слышно, как в ванной капает из крана вода.

Джозеф открыл глаза. Жена сидела на своей кровати и не спускала с него глаз.

— А я уж подумал... — сказал он и зажмурился. — Да нет... — Закрыл глаза и потряс головой. — Просто колокола звонят... — Он вздохнул. — А сколько сейчас времени?

— Не знаю. Ах да — восемь. Восемь часов.

— О Господи, — проворчал Джозеф и повернулся на другой бок. — Можем спать еще целых три часа.

— Нет уж, ты встанешь! — вскричала Мари.

— Совершенно ни к чему, слышишь? Все равно в гараже никто раньше десяти не появится, а торопить их бесполезно. Так что можешь успокоиться.

— И все-таки ты встанешь, — сказала Мари.

Джозеф наполовину обернулся к ней — при этом над губой у него блеснули на солнце медные волоски.

— Но с какой стати? Ради Бога, скажи, с какой стати я должен вставать?

— Потому что... потому что тебе нужно побриться! — Голос Мари сорвался в крик.

Джозеф застонал от досады.

— Значит, только из-за того, что мне нужно побриться, я должен вставать ни свет ни заря и бежать намыливаться — так что ли?

— Но ты небритый!

— И не собираюсь бриться — до тех пор, пока мы не приедем в Техас.

— Не будешь же ты ходить, как последний забулдыга!

* Мексиканская народная песня.

— Хочу — и буду! Хватит и того, что каждое утро в течение тридцати дней я брился, повязывал галстук и отутюживал складку на брюках! Отныне — никаких брюк, никаких галстуков, никакого бритья и... и вообще.

Он так резко натянул на уши одеяло, что оно сползло наверх и обнажило его голую ногу.

Нога была согнута в колене и почти свисала с кровати. Падавшие солнечные лучи зажигали на ней искорки черных волос — они были совершенны.

Чем дольше Мари смотрела на эту ногу, тем больше округлялись ее глаза.

Она в ужасе прижала ко рту дрожащие пальцы...

Целый день Джозеф то уходил, то приходил. Он так и не побрился. Слонялся внизу по скверу. Так медленно вышагивал — Мари готова была убить его. Она была бы рада, если бы его поразило прямо на месте молнией. Вот он остановился возле одной из «шляпных коробок» и разговаривает с управляющим отеля, шаркая ботинком по бледно-голубой плитке тротуара. Вот любуется птичками и сверкающими на утреннем солнце греческими статуями. Вот дошел до угла и наблюдает за движением на дороге. Да нет там никакого движения! Просто он тянет время, чтобы подольше не возвращаться к ней. Нет бы ему пойти — побежать! — в гараж, накричать на этих ленивых механиков и ткнуть их носом в мотор, чтобы быстрее делали! Так нет же, он стоит здесь и смотрит за так называемым движением. А движения-то всего — «форд» 1927 года выпуска, велосипедист, полураздетые детишки да хромая свинья!

Господи, ну давай же, шевелись, иди! — кричало все внутри у Мари. Ей хотелось разбить вдребезги окно.

Плетущейся походкой Джозеф перешел через улицу и скрылся за углом. Всю дорогу до гаража он останавливался у витрин, читал вывески, глазел на картинки, трогал керамические безделушки на лотках гончаров. Эх, надо попить где-нибудь пивка. Да-да, пивка — самое то.

Мари тоже вышла в сквер — прогулялась по солнышку, еще немного походила по магазинам в поисках журналов. Затем снова поднялась в номер — почистила ногти, покрыла их лаком и снова спустилась в сквер. Слегка перекусила — и вернулась в отель. В качестве второго блюда были все те же журналы.

Мари боялась ложиться в постель. Стоило ей задремать, как перед глазами вновь всплывали печальные картины

детства. А еще — старые друзья, дети, которых она никогда не видела, но о которых всегда думала, долгие двадцать лет... И все дела, которые она хотела сделать, но не сделала... Сколько она собиралась позвонить Лайле Холдридж — восемь лет прошло, с тех пор как они окончили колледж — так и не позвонила. А какими они с ней были подругами! Милая, милая Лайла!.. И еще, лежа в постели, Мари думала о книгах, которые давно собиралась купить и прочитать, но так и не купила. Прекрасные книги — а как они пахнут! Как же все это грустно! Всю жизнь она мечтала иметь в своей библиотеке книги о стране Оз... До сих пор не купила! Но почему? И почему бы ей не сделать это сейчас? Жизнь ведь еще не окончена? Вот она приедет в Нью-Йорк — и сразу побежит покупать! А потом позвонит Лайле! И встретится с Бертом, Джимми, Хелен и Луизой! И обязательно съездит в Иллинойс, чтобы пройти по родным местам, где прошло ее детство. Если только она вернется в Штаты. Если только... Каждый удар сердца болью отдавался в груди — тук, тук, тук — остановка — и снова тук, тук, тук... Если только она вернется.

Мари лежала и прислушивалась к биению.

Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук. Тук. Тук...

А вдруг оно прямо сейчас остановится совсем?

Ну вот!

Снова тишина!

— Джозеф!

Мари вскочила. Прижав обе руки к груди, она с силой надавила на нее, словно хотела вручную раскатать неисправный насос.

Сердце вздрогнуло, встрепенулось — и вдруг забилось часто-часто, сотрясая ударами всю грудь.

Мари снова откинулась на кровать. А вдруг оно остановится снова — и больше уже не забьется? Что же тогда делать? Она ведь просто умрет от страха... Умрет от страха! Ну не смешно ли? Значит, она услышит, что сердце у нее не бьется — и сразу умрет. От страха! И все равно она будет лежать и слушать. Все равно она вернется домой и позвонит Лайле, и купит книги, и будет танцевать, и будет гулять в Центральном парке, и... Слушать...

Тук. Тук. Тук... Тишина...

Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь — машина до сих пор не готова — значит, предстоит пережить

еще одну ночь. Он так и не побрился, и черные волосы у него на подбородке один совершеннее другого, а все газетные киоски уже закрыты, и ей больше нигде купить журналов, и они поужинали (впрочем, она могла бы и не ужинать), и Джозеф пошел прогуляться по вечернему городу.

Снова Мари сидела на стуле и чувствовала кожей, как сзади на шее щекотно поднимаются волосы. Она так ослабела, что не было сил даже встать со стула. Она была совсем одна — один на один с гулким биением собственного сердца, которое, казалось, сотрясало болью всю комнату. Глаза ее налились жаром, словно у испуганного ребенка, веки набрякли.

Нутром Мари почувствовала первый сбой. Еще одна ночь... Еще одна ночь... Еще одна ночь... Она будет даже дольше, чем предыдущая. Вот он, первый сбой — маятник пропустил один удар. А вот и второй, и третий — как по цепочке. Они цепляются один за другой. Первый — совсем крохотный, второй — побольше, третий — еще побольше, четвертый — совсем большой, а пятый — просто громадный...

Ганглий — какой-то красненький жалкий узелок, похожий на обыкновенную штопальную нить, которая оборвалась в ней и трепещет. Как будто в механизме сломалась маленькая деталь — и теперь вся машина разладилась и дрожит как в лихорадке.

Мари не сопротивлялась. Она отдалась во власть этой дрожи, этому ужасу, этим взрывам внутри, обдающим ее липким потом, этому гадкому кислому вину, заполонившему рот. Сердце ее, словно сломанный волчок, отклонялось то в одну сторону, то в другую, спотыкалось, вздрагивало, ныло... Краска схлынула с лица — как будто выключили лампочку и теперь стало видно все, что у нее внутри — серые, бесцветные нити, переплетения и жилки...

Джозеф был здесь же, в комнате — он уже пришел, но Мари даже не услышала, как он пришел. Впрочем, от его прихода ничего не изменилось. Молча, не произнося ни единого слова, он готовился ко сну: ходил по комнате, брал какие-то вещи, курил. Мари тоже ничего ему не сказала, только молча легла в кровать. Она не услышала, как он обратился к ней.

Она засекала время. Каждые пять минут смотрела на часы — и часы вздрагивали, и время вздрагивало вместе с ними. И эта дрожь, казалось, никогда не прекратится. Мари попросила воды. Перевернулась с боку на бок. Еще раз. И еще раз. За окном гудел ветер, сбивая набекрень шляпы фонарей — и в окна врвался свет, будто кто-то открывал

глаза, а потом закрывал их. Снизу, из холла, не доносилось ни звука — гостиница словно вымерла после ужина.

Он подал ей стакан воды.

— Я замерзла, Джозеф, — проговорила Мари, поглубже зарываясь в одеяло.

— Ничего страшного, — сказал Джозеф.

— Правда замерзла! И плохо себя чувствую, и вообще — я боюсь...

— Господи, ну чего ты боишься?

— Я хочу сесть в поезд и поскорее уехать в Штаты...

— Поезда ходят только из Леона — здесь не проходит железная дорога, — вздохнул Джозеф и прикурил очередную сигарету.

— Ну так давай доедем до Леона.

— Как? На такси? А свою машину бросим здесь? И потом — здесь такие шоферы...

— Все равно. Я хочу уехать.

— Утром тебе станет лучше.

— Нет, не станет. Я знаю, не станет! Мне плохо!

— Но это влетит нам в кругленькую сумму, дорогая — брать машину до самого дома. Думаю, здесь пахнет сотнями долларов.

— Неважно. У меня на личном счету есть двести долларов. Я заплачу. Только, ради всего святого, поехали домой!

— Ну что ты — завтра утречком выглянет солнце, и ты сразу почувствуешь себя лучше... Это все потому, что нет солнца.

— Солнца нет, и ветер поднялся... — прошептала Мари, закрыв глаза и прислушиваясь. — Завывает, как в пустыне. Непонятная страна эта Мексика. Или джунгли тебе — или пустыня. И кругом разбросаны крохотные городки, вроде этого, где фонарей раз-два и обчелся...

— Между прочим, довольно большая страна.

— Неужели местные жители никогда не ощущают себя одинокими в этой пустыне?

— Думаю, они привыкли.

— И не боятся?

— Чего им бояться — у них есть вера, религия.

— Мне бы такую веру.

— Знаешь, если бы у тебя появилась вера, ты бы очень быстро разучилась думать, — сказал Джозеф. — Если отдаться целиком какой-то одной идее, то в голове просто не останется места для чего-то другого.

— Вчера, — тихо произнесла Мари, — мне только того и хотелось. Я рада была бы ни о чем не думать и целиком отдаться какой-нибудь идее, которая спасла бы меня от страха

— Господи, какого еще страха? О каком ты говоришь страхе? — пожал плечами Джозеф.

— Если бы у меня была вера, — проговорила Мари, не обращая внимания на его слова, — то я бы знала, как себя приободрить. Я просто не умею выводить себя из этого дурацкого состояния...

— Боже... — пробормотал себе под нос Джозеф и рывком сел.

— Я всегда была верующей, — сказала Мари.

— Баптисткой.

— Нет. Тогда мне было лет двенадцать. Я перестала верить — потом.

— Ты никогда мне не рассказывала.

— Да нет же — ты знаешь...

— Какая еще вера? Гипсовые святые в ризнице? Или нет — какой-то специальный, собственный святой, к которому ты обращала свои молитвы, да?

— Да.

— И что же — он отвечал на них?

— Ну, немного. Один раз. А потом — нет. Ни разу больше. За долгие годы — ни разу. Но я все равно продолжаю молиться.

— Что же это за святой?

— Святой Иосиф.

— Значит, святой Иосиф. — Он встал и с оглушительным бульканьем налил себе воды из стеклянного графина. — Проще говоря, Джозеф, да?

— Это совпадение, — сказала Мари.

Некоторое время они в упор смотрели друг на друга. Затем Джозеф отвернулся.

— Надо же — гипсовые святые... — проговорил он, отхлебывая воду.

— Джозеф! — прозвучал голос Мари в повисшей тишине.

— Что?

— Возьми меня за руку, пожалуйста.

— Ох уж эти женщины... — вздохнул Джозеф, после чего подошел и взял жену за руку.

Через минуту она вдруг выдернула у него руку и спрятала ее под одеяло. Рука Джозефа так и осталась в воздухе, пустая. Мари закрыла глаза и сказала дрожащим голосом:

— Надо же... Это вовсе не так здорово, как я себе представляла. На самом деле, когда я проделывала это в уме, было даже гораздо приятнее.

— Господи... — только и сказал Джозеф. Затем встал и направился в ванную.

Мари выключила свет. Теперь лишь тоненькая желтая полоска светилась под дверью ванной. Мари вновь прислушалась к своему сердцу. Оно стучало ужасно быстро — не меньше ста пятидесяти ударов в минуту. И вновь изнутри ее тела исходил какой-то отвратительный дребезжащий гул, как будто во всех костях завелись трупные мухи — и теперь жужжат, жужжат, жужжат... Она пыталась смотреть перед собой, но глаза ее будто перевернулись внутрь и видели только сердце. Сердце, которое разрывалось на части в грудной клетке.

В ванной шумела вода. Мари слышала, как муж чистит зубы.

— Джозеф!

— Да, — отозвался он из-за закрытой двери.

— Пойди сюда.

— Что тебе нужно?

— Я хочу, чтобы ты обещал мне кое-что. Пожалуйста, прошу тебя...

— Но что?

— Сначала открой.

— Я спрашиваю — что? Что именно? — раздался голос из-за закрытой двери.

— Обещай мне... — начала Мари и запнулась.

— Ну что, что тебе обещать? — спросил Джозеф, прервав затянувшуюся паузу.

— Обещай мне... — снова начала Мари и снова замолчала.

На этот раз муж ничего не сказал. Мари обнаружила, что ее сердце стучит в унисон с часами. Где-то за окном скрипнул фонарь.

— Обещай мне, если что-нибудь... случится... — услышала она свой голос — такой глухой и далекий, будто она стояла в миле отсюда, — ...если что-нибудь случится со мной, то ты не дашь похоронить меня на этом кладбище, рядом с этими мерзкими катакомбами!

— Ну, не глупи, — отозвался Джозеф из-за двери.

— Ты обещаешь? — переспросила Мари, глядя расширенными глазами в темноту.

— Зачем ты заставляешь меня обещать всякие глупости!

— Обещай, пожалуйста, обещай... Ты обещаешь?

— Утром ты поправишься, дорогая, — продолжал твердить он.

— Все равно обещай — иначе я не усну. Я смогу заснуть, только если ты скажешь, что никогда не оставишь меня там. Я не хочу, не хочу стоять там...

— Ну честное слово! — воскликнул Джозеф, теряя терпение.

— Пожалуйста... — умоляла Мари.

— Ну почему я должен обещать тебе такие вещи, почему? — всплеснул он руками. — Завтра тебе будет лучше. И вообще... Лучше представь, как бы ты замечательно смотрелась в этих катакомбах — где-нибудь между мистером Гримасоу и мистером Разиньротом, а? — Джозеф заразительно рассмеялся. — Встали бы тебе в волосы бугенвиллию...

Мари молча лежала в темноте.

— Ну разве не здорово? — спросил он сквозь смех из-за двери.

Она ничего не ответила.

— Как ты думаешь? — переспросил он.

Внизу на площади послышались чьи-то тихие шаги — и удалились.

— Эй! — позвал он, продолжая чистить зубы.

Мари лежала, вперив глаза в потолок, и грудь ее часто-часто вздымалась — и все чаще и чаще, воздух вырывался из ее ноздрей, а в уголке рта показалась тоненькая струйка крови. Глаза ее были широко распахнуты, руки неистово терзали края простыни.

— Эй! — снова окликнул он из-за двери.

Мари не ответила.

— Господи... — бормотал себе под нос Джозеф. — Да точно тебе говорю. — Он влез головой под струю и начал полоскать рот. — Уже завтра утром...

Со стороны ее кровати ни доносилось ни звука.

— Странные все-таки существа эти женщины, — сказал Джозеф, обращаясь к своему отражению в зеркале.

Мари все лежала на кровати.

— Точно тебе говорю, — продолжал бубнить он, с бульканьем полоща горло антисептиком, затем громко сплюнул в раковину. — Завтра утром ты встанешь и побежишь...

Ни слова в ответ.

— Скоро они закончат чинить автомобиль.

Ни слова.

— Ты погоди, утро вечера мудренее. — Джозеф открутил крышечку и стал протирать лицо освежителем. — Думаю,

закончат чинить уже завтра. Ну в крайнем случае — послезавтра. Ты ведь не против провести здесь еще одну ночь?

Мари ничего не отвечала.

— Не против? — переспросил он.

Никакого ответа.

Полоска света под дверью расширилась.

— Мари!

Он открыл дверь.

— Спишь?

Она лежала, глядя перед собой расширенными глазами, грудь ее тяжело вздымалась.

— Ну, значит, спишь, — заключил он. — Спокойной ночи, дорогая.

Джозеф лег в кровать.

— Устала, наверное.

Она не ответила.

— Устала... — повторил он.

За окном ветер качал фонари. Комната была темной и длинной, как туннель. Через минуту Джозеф уже дремал.

А Мари все так же лежала с открытыми глазами, и грудь ее то поднималась, то опускалась, и на руке тикали часы...

В такую погоду было здорово ехать через тропик Рака. Сверкающий автомобиль мягко подпрыгивал на ухабах, петлял между сопками, с ревом вписывался в крутые повороты, оставляя за собой легкое облачко дыма и все больше приближаясь к Соединенным Штатам. В машине сидел Джозеф — как всегда свежий, румяный и в панаме. На коленях у него уютно свернулся неизменный фотоаппарат — он не расставался с ним даже за рулем. К лацкану желтого пиджака была пришпилена черная шелковая ленточка.

Оглядывая проносящийся пейзаж, Джозеф рассеянно взмахнул рукой, словно обращался к попутчику... но осекся. Тут же его губы тронула глуповатая улыбка — он снова отвернулся к окну и принялся мычать себе под нос какой-то мотив. В то время правая его рука тихонько подкрадывалась к соседнему сиденью...

Оно было пусто.

ПРИСТАЛЬНАЯ ПОКЕРНАЯ ФИШКА РАБОТЫ А. МАТИССА

Сейчас, в момент нашего с ним знакомства, Джордж Гарви — ничто, нуль без палочки. Позднее он будет щеголять моноклемом работы самого Матисса — белой покерной фишкой с изображением голубого глаза. Вполне возможно, что еще позднее из золоченой клетки, вделанной в искусственную ногу Джорджа Гарви, польются трели и рулады, а левая его рука обретет новую — красная медь с нефритом! — кисть.

Но сперва взгляните на ужасающе заурядного человека.

— Финансовую секцию, дорогая?

Его квартира, вечер, шорох газет.

— Метеорологи пишут: «Ожидается дождь».

Дыхание, черные волосы в ноздрях колыхаются — внутри-наружу, внутри-наружу, тихо, спокойно, размеренно, час, другой...

— Пора и ложиться.

По внешности — прямой потомок восковых витринных манекенов образца 1907 года. Умеет, на зависть всем магам и фокусникам, сесть в зеленое велюровое кресло и — исчезнуть. Отвернитесь — и вы уже забыли его лицо. Тарелка манной каши.

И вот, случайнейшая из случайностей сделала его ядром, средоточием авангардного литературного течения, дичайшего на памяти человечества.

Уже двадцать лет супруги Гарви жили в гулкой пустоте одиночества. Прелестная женщина, однако опасность неизбежной встречи с ним вчистую отпугивала всех возможных посетителей.

Гарви обладал способностью мгновенно мумифицировать людей — о чем не догадывались ни его жена, ни он сам. Супруги утверждали, что после суматошного рабочего дня им очень приятно провести вечер спокойно, в обществе друг

друга. Оба выполняли тусклую, бесцветную работу. Случалось, что даже они сами не могли припомнить название тусклой, бесцветной фирмы, поручавшей им эту работу — белая краска на белом.

Записывайтесь в авангард! Записывайтесь в «Странный септет»!

Великолепная семерка расцвела махровым цветом в парижских полуподвалах, под звуки довольно вялой разновидности джаза; шесть с лишним месяцев она чудом сохраняла свои в высшей степени неустойчивые взаимоотношения, вернулась в Соединенные Штаты и тут, ежесекундно готовая с треском развалиться, наткнулась на мистера Джорджа Гарви.

— Мой Бог! — воскликнул Александр Пейп, экс-самодержец шайки. — Я познакомился с потрясающим занудой. Вы просто обязаны на него посмотреть! Прошлым вечером Билл Тимминс оставил на двери записку, что, мол, вернусь через час. Я слоняюсь по холлу, и тут этот самый Гарви предлагает мне подождать в его квартире. Вот там мы и сидели — Гарви, его жена и я. Невероятно! Он — сама чудовищная Тоска, порожденная нашим материалистическим обществом. У него в арсенале миллионы способов парализовать человека! Великолепный антикварный экземпляр с непревзойденным талантом доводить до ступора, до глубокого сонного оцепенения, до полной остановки сердца. Клинический, лабораторный случай. Пошли к нему, нагрянем на него все вместе!

Они слетелись как стервятники! Жизнь текла к дверям Гарви, жизнь сидела в его гостиной. «Странный септет» разместился на засаленном диванчике, «Странный септет» пожирали добычу глазами.

Гарви нервничал, не находил себе места.

— Если кто-нибудь хочет закурить... — бледнейшая, почти что и не заметная улыбка. — Так вы не стесняйтесь — курите. Тишина.

Инструкция гласила: «Молчать, чтобы никто ни полслова. Пусть подергается. Это — лучший способ выявить его сокрушительную заурядность. Американская культура — абсолютный ноль».

Три минуты полной тишины и неподвижности. Мистер Гарви чуть подался вперед.

— Э-э... — произнес он, — каким бизнесом занимаетесь вы, мистер?..

— Крэбтри. Поэт.

Гарви обдумал услышанное.

— Ну и как, — сказал он, — ваш бизнес?

Ни звука.

Пред нами фирменное молчание Гарви. Пред нами крупнейший в мире производитель и поставщик молчаний, назовите любое, и он вручит вам заказ, упакованный в благопристойное откашливание, завязанный еле слышными перешептываниями. Смущенное и оскорбленное, невозмутимое и торжественное, равнодушное и беспокойное, и даже то молчание, которое золото, — все что угодно, только обратитесь к Гарви.

Но вернемся к конкретному молчанию данного, конкретного вечера — «Странный септет» буквально им упивался. Позднее, в своей квартире, за бутылкой «незамысловатого, но вполне приличного» красного вина (очередная фаза развития привела их в соприкосновение с реальной реальностью), эта тишина была разорвана в клочья, изгрызена и разжевана.

— Ты обратил внимание, как он мял уголок воротника? Да-а!

— И все-таки что ни говорите, мужик он почти крутой. Я упомянул Маггси Спэннера и Бикса Байдербека — видели его в тот момент? Хоть бы глазом моргнул. А вот я... я только мечтать могу о таком выражении лица, чтобы полное безразличие и ноль эмоций.

Готовясь ко сну, Джордж Гарви перебирал в уме события необыкновенного вечера. Приходилось признать, что в тот момент, когда ситуация стала совсем неуправляемой — когда началось обсуждение загадочных книг, незнакомой музыки, — он запаниковал, похолодел от ужаса.

Но это, похоже, не слишком озаботило необычных гостей. Более того, при прощании все они энергично трясли ему руку, рассыпались в благодарностях за великолепно проведенный вечер.

— Вот это я понимаю — прирожденный, профессиональный, высшего разряда зануда! — воскликнул в противоположном конце города Александр Пейп.

— Как знать, возможно, он потихоньку хихикает над нами, — возразил Смит, малый американский поэт двадцатого века.

Находясь в бодрствующем состоянии, Смит оспаривал все, без исключения, утверждения Пейпа.

— Надо сводить туда Минни и Тома, они влюбятся в нашего Гарви. Да-а, вечерок был — просто восторг, воспоминаний на месяц хватит.

— А вы заметили, — блаженно зажмурился Смит, малый поэт. — Краны в их ванной. — Он сделал драматическую паузу. — Горячая вода.

Все раздраженно вскинули на Смита глаза.
Им и в голову не пришло попробовать.

Шайка разрасталась; опара на невероятных дрожжах, она выламывала двери, выпирала через окна.

— Ты не видел еще Гарви? Господи! Возвращайся в свой гроб! Вот точно говорю — Гарви репетирует. Ну разве можно быть настолько серым без системы Станиславского?

Александр Пейп неизменно ввергал всю компанию в уныние безукоризненными речевыми имитациями; теперь он заговорил точь-в-точь как Гарви — медленно, неуверенно и смущенно.

— «Улисс»? А это не та книга, где про грека, про корабль и про одноглазого людоеда? Простите? — Пауза. — О-о! — Еще одна пауза. — Понятно. — Полное изумление. — «Улисса» написал Джеймс Джойс? Странно. Я готов был поклясться, что точно помню, как много лет назад, в школе...

Они ненавидели Александра Пейпа за эти блестящие имитации — и все же покатались от хохота. Продолжение не замедлило последовать.

— Теннесси Уильямс? Это что, тот самый, который написал слащавую деревенскую песенку «Вальс»*?

— Быстро! — хором закричал народ. — Какой там у Гарви адрес?

— Да-а, — сказал мистер Гарви своей жене, — последнее время жизнь бьет ключом.

— А ведь это все ты, — ответила его жена. — Ты заметил, как они боятся пропустить хоть одно твое слово?

— Напряженность их внимания, — сказал мистер Гарви, — граничит с истерией. Они буквально взрываются от самых невинных моих замечаний. Странно. Ведь в конторе любая моя шутка словно натывается на каменную стену. Вот сегодня, скажем, я и вообще не пытался шутить. Очевидно, во все, что я делаю или говорю, незаметно вплетается струйка подсознательного юмора. Очень приятно, что во мне это есть, раньше я даже не подозревал... Ага, вот и звонок. Начинается.

— Нужно извлечь Гарви из постели в четыре утра, — сообщил Александр Пейп. — Вот тогда он — действительно

* Песня в стиле кантри «Теннесси вальс» не имеет, естественно, никакого отношения к Теннесси Уильямсу. (Здесь и далее примеч. пер.)

пальчики облизнешь. Полное изнеможение плюс мораль fin de siecle* составляют изысканнейший салат.

Все дружно обиделись на Пейпа — ну почему именно он придумал наблюдать Гарви на рассвете? И все же конец октября был отмечен повышенным интересом к полуполночному времени.

Собственное подсознание нашептывало мистеру Гарви, что он — премьера, открывающая театральный сезон, что дальнейший успех полностью зависит от устойчивости скуки, навешиваемой им на зрителей. Купаясь во внимании гостей, он, однако, догадывался, с какой именно стати стекаются эти лемминги к его личному океану. По сути своей, в глубине, Гарви был на редкость блестящей личностью, однако вчистую лишенные какого-либо воображения родители втиснули его в прокрустово ложе привычного своего окружения. Далее он попал в еще худшую соковыжималку — Контора плюс Фирма плюс Жена. Конечный результат: человек, чьи потенциальные возможности превратились в бомбу замедленного действия, двадцать лет мирно тикавшую в мирной гостинице. Подавленное подсознание Гарви наполовину осознавало, что авангардисты в жизни не встречали никого, ему подобного — или, вернее, встречали миллионы таких, но никогда прежде не удосуживались подвергнуть одного из них исследованию.

Итог исследования: он стал первой знаменитостью сезона. Через месяц в этой роли может оказаться какой-нибудь абстракционист из Аллентауна, сменивший кисти на садовый распылитель ядохимикатов и кондитерские шприцы, разбрызгивающий с двенадцатифутовой стремянки малярную краску исключительно двух — синего и светло-серого — оттенков на холст, загрунтованный неровными слоями клея и кофейной гущи, чей творческий рост зависит от признания общественности. Или — чикагский жестянщик, творец мобилей, пятнадцати лет от роду, но уже умудренный всей мудростью веков.

Ушлое подсознание мистера Гарви прониклось еще большими подозрениями, когда он допустил колоссальную оплошность — прочитал номер излюбленного авангардистами журнала «Ньюклизс».

— Вот, скажем, этот материал о Данте, — сказал Гарви. — Очень, очень любопытно. Особенно анализ пространственных метаморфоз, происходящих у подножия Antipurgatorio, и обсуждение Paradiso Terreste**. А пассаж, где обсуждаются

* «Конец века» (фр.) — литература и искусство 1890-х; декадентство.

** Речь, вероятно, идет о второй и третьей частях «Божественной комедии» Данте.

песни XV—XVIII веков, так называемые «доктринальные кантос», просто великолепен.

Ну и как же реагировал на это «Странный септет»?

Они были ошеломлены — все, до единого.

В воздухе повис зябкий холодок.

Дальше — хуже. Выйдя из роли восхитительно заурядного недотепы, не имеющего за душой ни единой собственной мысли, жалкого раба машинной цивилизации, чья единственная мечта — чтобы все не хуже, чем у соседей, Гарви доводил их до бешенства своими соображениями по статье «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или Крафт-Эббинг*». И они ушли.

Им не нужны умственные рассуждения об алхимии и символике, преподносимые твоим писклявым голоском, увещавало Гарви его подсознание. Им нужен исключительно простой, старомодный белый хлеб с деревенским, домашнего приготовления, маслом, чтобы пережевывать затем в каком-нибудь полутемном баре, восклицая «как восхитительно!»

Гарви отступил на прежние позиции.

На следующий вечер он снова был таким же, как раньше, милейшим, драгоценнейшим, чистейшей воды — хоть на зуб пробуй — Гарви. Дейл Карнеги? Великий религиозный вождь! Харт Шаффнер и Марк? Лучше любой Бонд-стрит. Новейшая Книга Месяца? Вот она, на столе. Вы читали когда-нибудь Элинор Глин?

«Странный септет» впал в почти истерический экстаз. Они согласились — не очень даже упираясь — посмотреть Мильтона Берля. Каждая шутка, каждое слово Берля вызывало у Гарви приступы неудержимого хохота. Соседи Гарви согласились записывать на видеомэгнитофон дневные мыльные оперы, Гарви их ежевечерне смотрел, смотрел, не отрываясь от экрана, с истым, религиозным благоговением. «Странный септет» с таким же благоговением смотрел на Гарви, они изучали его лицо, анализировали его абсолютную преданность «Матушке Перкинс» и «Второй жене Джона».

Гарви хитрел прямо на глазах. Ты на вершине успеха, говорило ему внутреннее «я». Оставайся на вершине! Радуй свою аудиторию! Завтра... завтра поставь им пластинки «Двух

* Непереводимая игра слов. Искажена (что не отражается на произношении) фамилия немецкого психиатра Крафт-Эбинга, чем подчеркивается ее созвучие с английскими словами. В результате название статьи можно понять как «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или это ремесло приходит в упадок?».

Черных Ворон»! И осторожнее, осторожнее! Вот, скажем, Бонни Бейкер... да, вот именно! Они вздрогнут, не в силах поверить, что тебе и вправду нравится, как она поет. Ну а Гай Ломбардо? Верно, самое то!

Ты символизируешь серую, безликую толпу, не отставало Джорджево подсознание. Они приходят сюда, чтобы изучить ужасающую пошлость воображаемого Человека Толпы — которого они якобы ненавидят. Однако колодец со змеями их заворачивает.

— Они тебя любят, — сказала Джорджу Гарви жена, угадавшая ход его мыслей.

— Несколько устрашающей любовью, — печально улыбнулся Гарви. — Я ночами не сплю — все пытаюсь понять, зачем они сюда приходят. Сам у себя я не вызываю ничего, кроме тоски и неприязни. Глупый, уныло-болтливый человек. Ни одной свежей мысли в голове. И теперь выяснилось: мне нравится быть в обществе. Собственно говоря, мне всегда хотелось быть компанейским, только вот возможности не представлялось. Последние месяцы стали для меня сплошным праздником. Их интерес угасает. А я хочу сохранить его навсегда. Что же мне делать?

Услужливое подсознание снабдило его списком необходимых приобретений.

Пиво. Тупо до крайности, свидетельствует об отсутствии воображения.

Претцели*. Восхитительная старомодность.

Навестить маму. Прихватить картину Максфилда Парриша** — ту, выцветшую, засиженную мухами. Произнести о ней речь.

К декабрю мистера Гарви объял полный, безысходный ужас.

Члены «Странного септета» уже свыклись с Милтоном Берлем и Гаем Ломбардо. Мало-помалу они сами убедили себя, что в действительности Берль слишком тонок для американской публики, а Ломбардо опередил свое время на добрые двадцать лет — просто так уж выходит, что пошлые люди любят его совсем не за то, по своим пошлым причинам.

Империя Гарви сотрясалась, готовая рухнуть.

* Сухое солоноватое печенье.

** Максфилд Парриш (1870—1966) — американский художник и иллюстратор.

Неожиданно оказалось, что он — вполне заурядный человек, не отклоняющийся от принятых в обществе вкусов, а едва за ними поспевающий — авангардисты с восторгом вцепились в Нору Базз, в Никербокер-квартет урожая семнадцатого года, в Эла Джонсона, исполняющего «Куда пошли Робинзон Крузо с Пятницей субботним вечером», и Шепу Филдза с его «зыбким ритмом». Максфилд Парриш был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Уже на второй вечер все пришли к единодушному мнению: «Пиво — напиток интеллектуалов. Очень жаль, что идиоты тоже его употребляют».

Короче говоря, друзья испарились. До Гарви доходили слухи, что Александр Пейп даже играл одно время с мыслью провести — сугубо для прикола — в свою квартиру горячую воду. Этот чахлый сорняк был безжалостно вырван с грядки, но не прежде, чем Пейп сильно упал в глазах *cognoscenti**.

Гарви из кожи вон лез, пытаясь прозреть прихотливые сдвиги вкусов и моды. Он увеличил количество бесплатно выставляемой пищи, раньше всех предугадал возвращение к Ревущим Двадцатым — не только сам сменил брюки на грубошерстяные колючие бриджи, но даже уговорил жену вырядиться в ровный, как мешок, балахон и сделать короткую стрижку «под мальчика».

Но стервятники прилетали, быстренько сметали все со стола и убирались восвояси. Теперь, когда по миру устрашающим гигантом шагало телевидение, они торопливо влюбились в радио. Интеллектуалы слушали пиратские перезаписи радиопьес тридцатых годов — таких, как «Вик и Сэди» и «Семья Пеппера Янга», — а затем до хрипоты обсуждали их на своих сборищах.

Джорджа Гарви спасла серия решительных, с чудом граничащих действий, задуманных и осуществленных его запаниковавшим подсознанием.

Первым из этой серии был эпизод с неловко захлопнутой дверцей машины.

Мистер Гарви лишился кончика мизинца.

В последовавшей суматохе он нечаянно наступил на крошечный кусочек своей плоти, а затем, столь же нечаянно, отфутболил его далеко в сторону. К тому времени как утрата была выужена из уличной канавы, ни один хирург не взялся бы уже пришивать ее на место.

* Ценитель искусства (*um.*).

Счастливым несчастный случай! На следующий же день перебинтованный страдалец заметил в окне восточной лавки очаровательнейший *objet d'art**. Быстренько припомнив, что рейтинг Гарви в среде авангарда неуклонно падает, зрителей на спектаклях становится все меньше и меньше, многоопытное подсознание затолкнуло его в лавку и заставило вытащить бумажник.

— Ты давно не встречал Гарви?— кричал Александр Пейп в телефонную трубку. — Мой Бог, ты должен это увидеть!

— Что это такое?

Все глаза устремились в одну точку.

— Наперсток китайского мандарина. — Гарви небрежно взмахнул рукой. — Восточная древность. Мандарины носили такие наперстки, чтобы защитить свои пятидюймовые ногти.

Он поднял стакан с пивом. Золотой, чуть отставленный в сторону, мизинец завораживающе сверкал.

— Никто не любит калек, их недостатки вызывают невольное раздражение. Утрата мизинца очень меня огорчила. Но теперь, с этой золотой фитюлиной я чувствую себя лучше прежнего.

— Такого красивого пальца ни у кого из нас нет и никогда не будет, — сказала жена Гарви, раскладывая по тарелкам зеленый салат. — И Джордж имеет на него полное право.

Гарви был потрясен, с какой легкостью расцвела заново его совсем было увядшая популярность. О искусство! О жизнь! Маятник, качающийся налево, направо, снова налево, от сложного к простому, снова к сложному. От романтики к реализму, чтобы неизбежно вернуться к романтике. Проницательный человек способен ощущать интеллектуальные перигелии, заранее готовиться к новым головокружительным орбитам. Полуобморочная, загнанная в подсознание гениальность Джорджа Гарви села в постели, начала принимать пищу, даже рискнула встать и прогуляться, с некоторым удивлением пробуя свои не находившие прежде никакого применения руки-ноги. А затем разгулялась.

— У людей нет ни крупницы воображения, — говорила эта тайная, столь долго пребывавшая в небрежении сущность Гарви — его собственным языком. — Если несчастный случай лишит меня ноги, я не стану пристегивать на ее место деревяшку. Нет, я закажу себе золотую, усыпанную драгоценными камнями ногу, и чтобы в ней была устроена золотая клетка с дроздом, чьи трели будут улаживать мой слух на

* Произведение искусства (*фр.*).

прогулках и во время дружеских бесед. Лишившись руки, я закажу себе новую, из красной меди с нефритом, полую, и в ней будет отделение для сухого льда и еще пять отделений — по одному на каждый палец. «Кто-нибудь хочет выпить? — воскликну я. — Херес? Бренди? Дюбонне?» Затем невозмутимо поверну над бокалами золотые кончики моих пальцев. Пять холодных струй из пяти пальцев, пять напитков. Я закрою золотые краны и воскликну: «Пьем до дна!»

А самое главное, почти начинаешь хотеть, чтобы собственный глаз тебя оскорбил. Выковыряй его, говорит Библия, я не ошибаюсь? Это действительно из Библии? Если бы такое случилось со мной — помилуй Бог, я бы и не подумал об этих кошмарных стеклянных глазах, не говоря уж о всяких там черных пиратских повязках. Знаете, что бы сделал я? Я бы взял покерную фишку и послал ее этому вашему французскому знакомому, как там его фамилия? Да, Матисс! Я бы написал: «К этому письму приложена покерная фишка и чек на ваше имя. Нарисуйте, пожалуйста, на фишке голубой, прекрасный, человеческий глаз. Ваш покорный слуга Дж. Гарви»!

Гарви всегда презирал свое тело, в частности — считал свои глаза слабыми, тусклыми и невыразительными. Соответственно, он не очень удивился, когда через месяц — одновременно с очередным падением гэллаповского индекса — его правый глаз заслезился, загноился, а затем и вовсе ослеп.

Гарви был убит.

И — в равной степени — тайно ликовал.

Авиаписьмо с покерной фишкой и чеком на пятьдесят долларов улетело во Францию. «Странный септет» наблюдал за всеми действиями Гарви, злорадно ухмыляясь.

Неделю спустя из Франции вернулся непогашенный чек.

Следующей почтой прибыла покерная фишка.

А. Матисс нарисовал на фишке прекраснейший, изысканнейший голубой глаз, с бровью и нежными пушистыми ресницами. А. Матисс уложил глаз на зеленый бархат, в маленькую коробочку, какими пользуются для своих изделий ювелиры. Не было никаких сомнений, что все это действие доставляло ему такое же удовольствие, как и Джорджу Гарви.

«Харперс Базар» опубликовал фотографию Гарви с матиссовским глазом и фотографию самого Матисса, разрисовывающего монокль после длительных экспериментов с тремя дюжинами фишек.

А. Матисс проявил на редкость здравый смысл, попросив фотографа запечатлеть сие событие для потомков. Журнал

цитировал его слова: «Выбросив двадцать семь глаз, я изготавил в конечном итоге такой, как мне хотелось. Он летит уже к мсье Гарви».

И еще один снимок — глаз, воспроизведенный в шести цветах, угрожающе таращится с зеленого бархата своей корбочки. Музей современного искусства начал торговать копиями. Друзья и сподвижники «Странного септета» играли в покер на красные фишки с голубыми глазами, белые фишки с красными глазами и синие фишки с белыми глазами.

Но лишь один во всем Нью-Йорке человек носил оригинальный матиссовский монокль — мистер Гарви.

— Я — все тот же убийственный зануда, — сказал он как-то жене, — но кто же сможет рассмотреть глупость мою и неотесанность за этим моноклем и мандаринским пальцем? А если их интерес снова начнет иссякать — нет ничего проще, чем утратить в результате несчастного случая руку или ногу. Ты уж не сомневайся. За выстроенным мной фасадом никто и никогда не сумеет найти того, прежнего недотепу.

Не далее как вчера нам удалось поговорить с его женой.

— Я почти не воспринимаю Джорджа как того, полузабытого Джорджа Гарви. Он сменил имя, хочет, чтобы все называли его «Джулио». Иногда ночью я посмотрю на него и окликну: «Джордж», но он не отвечает. Так вот и лежит с китайским наперстком на мизинце и голубым матиссовским моноклем в глазнице. Я часто просыпаюсь по ночам, часто смотрю на Джорджа. И знаете что? Иногда эта невероятная матиссовская покерная фишка словно бы заговорщицки мне подмигивает.

СКЕЛЕТ

Сколько ни откладывай, а сходить к врачу придется. Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли» — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет — ну как же, десятый визит на протяжении одного года. И чего он, спрашивается, так страдает, ведь за все обследования заплачено.

Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет.

— Угадайте, доктор, кто к нам пришел, — прошелестело в ушах Харриса, а затем — ответ, совсем уже еле слышный: — Господи Боже ты мой, неужели опять?

Харрис нервно сглотнул.

При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул.

— И у вас, конечно же, снова боль в костях! — Он нахмурился, чуть поправил очки. — Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это — просто нервы. Вот, посмотрим на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дохните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации? Бросьте курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас десять долларов.

Харрис угрюмо молчал.

— Вы еще здесь? — снова взглянул на него врач. — Вы — ипохондрик. Теперь с вас одиннадцать долларов.

— А почему же у меня все кости ноют? — спросил Харрис.

— Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу? — Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. — Так и хочется сделать с ней что-нибудь —

растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое — и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а наоборот — шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое. Примите слабительное, поставьте клизму. Отдохните от этого города, прогуляйтесь в Финикс — вы же полгода туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати.

Пятью минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающим телефонную книгу. От этих, вроде Берли, зашоренных идиотов — разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку «ОСТЕОПАТЫ (СПЕЦИАЛИСТЫ по КОСТЯМ)», остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного «доктор медицины», ни прочих академических аббревиатур, зато его приемная располагалась очень близко: три квартала вперед, потом один назад...

М. Мьюниган был похож на свой кабинет — такой же темный и маленький, такой же пропахший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым, заинтересованным блеском в глазах. Сам Мьюниган говорил со странным акцентом — словно и не говорил, а высвистывал каждое слово, наверное — плохие зубные протезы.

Харрис рассказал ему все.

М. Мьюниган понимающе кивнул. Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забывает, что у него есть кости. Да, да — кости. Скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом.

— Очень, очень сложно, — негромко присвистывал М. Мьюниган.

Неужели и вправду нашелся врач, понимающий мою болезнь? Харрис слушал как завороченный.

— Психология, — сказал М. Мьюниган, — корнями своими все это уходит в психологию.

Он подлетел к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков; в воздухе повисли призрачные силуэты бледных тварей, выловленных в пене доисторического прибоа. Вот, вот! Скелет, пойманный врасплох! Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осоз-

нать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения.

Рука М. Мьюнигана указывала, постукивала, шелестела, поскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей — известковые образования, кальций, костный мозг, здесь, и здесь — тоже, это, то, эти и те и еще другие! Смотрите!

Харрис зябко поежился. Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый, фосфоресцирующий ветер страны, населенной монстрами Дали и Фузели*.

И снова тихое присвистывание М. Мьюнигана. Не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были... подвергнуты обработке?

— Смотря какой, — сказал Харрис.

Мистер Харрис должен понимать, что М. Мьюниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет нужным образом настроен. Психологически пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую. Однако (М. Мьюниган коротко пожал плечами) М. Мьюниган попробует.

Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло, все шторы были плотно задернуты. М. Мьюниган приблизился к пациенту.

Легкое прикосновение к языку.

Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога, он непроизвольно захлопнул рот.

М. Мьюниган громко вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос! Бесполезно, все бесполезно! Сейчас не тот момент! Легкий шорох, шторы поднялись, М. Мьюниган обернулся, прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Мьюнигану — тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего два доллара; М. Мьюниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема, пусть мистер

* Джон Генрих Фузели (1742—1825) — английский художник, иллюстратор и эссеист.

Харрис возьмет ее домой и изучит. Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело, насквозь, до мельчайшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет — структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Мьюнигана лихорадочно поблескивали.

— И — всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку?

М. Мьюниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь — хлебные палочки, очень помогают сохранять... ну... форму. Всего хорошего, мистер Харрис, всего хорошего!

Мистер Харрис пошел домой.

На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бесчисленную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мьюнигана.

За обедом Кларисса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка — шелкала суставами своих тонких, удивительно изящных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал: «Прекрати!»

После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Кларисса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили; Харрис тем временем со все возрастающим интересом ощупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул:

— Кларисса!

Кларисса умела не войти, а впорхнуть в комнату; плавные, пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостями и весело влетела в комнату мужа.

Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему.

— Все грустишь, милый, и хмуришься? — Кларисса села ему на колени. — Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно.

Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Клариссы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой, своим светом светящейся кожей, чуть пошевелилась.

— Это что, — судорожно вздохнул Харрис, — так, что ли, и полагается?

— Что полагается? — звонко расхохоталась Кларисса. — Ты это про мою коленную чашечку?

— Ей что, так и полагается двигаться?

Кларисса удивленно потрогала свое колено.

— Ой, а ведь и правда!

— Хорошо, что твоя тоже ползает, — облегченно сказал Харрис. — А то я уже начинал беспокоиться.

— О чем?

— Да вот и колено, и ребро. — Он похлопал себя по грудной клетке. — Ребра у меня не до самого низа, вот тут они кончаются. А есть и совсем уж странные — не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе, ни на чем!

Кларисса ощупала свое тело, чуть ниже груди.

— Ну конечно же, глупенький, здесь они у всех кончаются. А эти коротенькие, смешные — это называется «ложные ребра».

— Вот видишь — ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие.

Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве. Ведь здесь вот, совсем рядом, только нащупай дрожащими, боязливыми пальцами, лежали дальнейшие открытия, новые, еще более странные археологические находки — и он не хотел, чтобы над ним кто-то смеялся.

— Спасибо, милая, что пришла, — сказал Харрис.

— Кушайте на здоровье.

Маленький носик Клариссы шаловливо потерся о нос Харриса.

— Подожди! А вот здесь, здесь... — Харрис ощупал сперва свой нос, затем — нос жены. — Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только досюда. А все остальное заполнено хрящевой тканью!

— Ну конечно же, милый!

Кларисса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты.

Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубления и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки.

Он облизнул губы и закрыл глаза. Теперь... теперь... следующим пунктом повестки дня... что? Да, позвоночник.

Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков, примерно так же, как у себя в кабинете — по многочисленным

кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас в ответ на осторожные нажимы из скрытых в мозгу дверей вырывались бессчетные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым, единственная ассоциация — хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие, круглые бугорки.

— Господи! Господи!

Зубы Харриса начали выбивать дробь. «Боже милостивый, — думал он, — как же мог я этого не понимать? Все эти годы я существую, имея внутри себя — скелет! Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимся? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии?»

Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих ломких палочек, пародия на человека — отвратительная, с длинными, вечно трясущимися пальцами, с черепом вместо лица, с черными, пустыми, плящимися в никуда глазницами. Одна из этих омерзительных штук, которые качаются на цепях в заброшенных, затянутых паутиной чуланах либо отдельными, добела выгоревшими на солнце частями лежат в пустынях вдоль караванных троп.

Зная все это — разве можно спокойно сидеть? Харрис вскочил на ноги. «Вот сейчас внутри меня, — он схватился за живот, затем за голову, — внутри моей головы находится череп. Гнутая костяная коробка, дающая приют электрической медузе моего мозга, надтреснутая скорлупа с дырами, словно пробитыми выстрелом из двустволки! С костяными гротами и пещерами, куда вмещается и мое осязание, и мой слух, и мое зрение, и все мои мысли. Череп, надежная темница, через крохотные, хрупкие оконца которой мой мозг смотрит на окружающий мир».

Разве можно так жить? Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник, в гостиную, чтобы мирное квохтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выдранных перьев заплясали в воздухе карты... Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие. «Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках. Да, это — откровение, ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать». «Так ведь скелет же! — вопило его подсознание. — Я не могу этого принять, да я просто не могу поверить! Это вульгарно, гротескно, ужасно! Все скелеты — кошмар, они трещат, стучат и дребезжат в древних замках, длинными, лениво раскачива-

ющимися маятниками свисают с почерневших дубовых балок...»

— Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами! — Чистый, ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния.

Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении! Эта мерзость внутри, этот наглый захватчик, этот несказанный ужас — он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову! Ощущение, словно сзади, за спиной, стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безвыходность своего положения, полную свою зависимость от чужеродного Нечто.

— Секунду, милая, я сейчас, — бессильно откликнулся Харрис.

«Брось, возьми себя в руки! — сказал он себе. — Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить наконец в Финикс. До Финикса далеко, несколько сотен миль. Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится, а кто же, кроме тебя, уломает мистера Креддона инвестировать в твой керамический бизнес? Так что — выше нос!»

Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Уидерз, миссис Эблмэтт и мисс Кеди; все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому на удивление спокойно, ибо милосердная природа приодела неприглядную наготу ключиц, бедренных и берцовых костей грудями, икрами и пушистыми бровями, красными, капризно надутыми губками и... «Господи! — беззвучно вскрикнул мистер Харрис. — Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывает часть скелета — зубы! Господи, я никогда об этом не думал!»

— Извините, ради Бога, — судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной, выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ленч до клумбы с петуниями.

Перед сном, пока Кларисса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно подстригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу — не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет.

Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух — одетая в пеньюар жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила:

— Милый, так ведь ногти — совсем никакие не кости, это просто ороговевшая эпидерма.

Харрис отбросил ножницы.

— А ты точно знаешь? Будем надеяться, что да — так будет уютнее, и будем надеяться... — он обвел взглядом плавные изгибы ее тела, — ...что все люди устроены одинаково.

— В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика. — Кларисса вытянула руку, не подпуская мужа к себе. — Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке все по порядку.

— Внутри, — сказал он, — что-то у меня внутри не так. Съел, наверное, что-нибудь.

Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со все нарастающим раздражением размеры, формы и устройство различных костей своего тела. В десять утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недоверчиво нахмурился, однако возражать не стал. После ленча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча, как котенок, и зажмурил глазки.

— А ну-ка прекратите! — резко скомандовал мистер Харрис. — Что это с вами, мисс Лорел?

Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны скорее всего с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Креддона в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо же так свихнуться!.. К счастью, он успел познакомиться с М. Мьюниганом — человеком, готовым понять и оказать возможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая, без крайней к тому необходимости, к услугам доктора Берли, или там Мьюнигана. Чужеродное, непонятное ощущение должно пройти.

Харрис сидел и смотрел в пустоту.

Чужеродное ощущение и не думало проходить, оно усиливалось.

Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами, лицо в

зеркале; иногда, благодаря некому фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти.

— Отпусти! — кричал он. — Отпусти меня! Мои легкие! Прекрати!

Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать.

— Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!

Ужасающая, невероятная головная боль выжигала из мозга все, подчистую, мысли, как степной пожар — траву.

— Мои внутренние органы — оставь их, ради Бога, в покое! Не трогай мое сердце!

Под угрожающими взмахами ребер — бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, — сердце Харриса в ужасе сжималось.

Кларисса ушла на собрание Красного Креста, Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить — но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри.

Кожа лица: жирная, с явно уже проступающими морщинами.

А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа.

Нос: великоват, тут уж не поспоришь.

А теперь взгляни на крошечные косточки носа, какой он у черепа, вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский, кособокий хобот.

Тело: толстовато, не правда ли?

И сравни с ним скелет — стройный, худощавый, с экономными, законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость, шедевр какого-нибудь великого восточного мастера.

Глаза: заурядные, невыразительные, по-идиотски вылупленные.

А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа, такие круглые и глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них ни вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чашах тьмы, кроется вся ирония, и вся жизнь, и все вообще, что есть.

Сравнивай. Сравнивай? Сравнивай.

Этот ужас продолжался часами, скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в грубой куколке, лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал...

Харрис медленно сел.

— Ну-ка, ну-ка, — воскликнул он, — подожди-ка минутку! Так ты же тоже беспомощный. Я тебя тоже припер. Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться! Я скажу: ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами, и — алле-гоп! — они поднимаются, двигаются, и вот я махнул кому-нибудь там рукой! — Харрис расхохотался. — Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодическое движение, и — правой-левой-три-четыре, правой-левой-три-четыре — мы гуляем вокруг квартала. Вот так вот!

Он помолчал, торжествующе ухмыляясь.

— Так что тут у нас с тобой пятьдесят на пятьдесят. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю! Да, да, и это — самое главное! Даже будь ты сильнее, все равно думаю я!

Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары, один за другим, вплоть до самого последнего, и тогда все померкло...

В конце недели он снова отложил поездку в Финикс — по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165.

Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу сто семьдесят пять фунтов. Ну не мог же я так вот, за здорово живешь, взять и потерять сразу десять фунтов!» Он всмотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало — и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса. «Ты, все это — ты! Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот!»

Он тряс кулаком перед своим сухим костлявым лицом, обращаясь — в первую очередь — к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам.

— Это все ты, чертова хреновина, все ты! Решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет и нет!

Харрис влетел в кафе.

Фаршированная индейка, картошка со сливками, четыре разновидности овощей, три десерта — ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя — но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так, что ли? — зло ощерился Харрис. — А я вот буду есть, хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал, пусть они хоть все повываливаются на тарелку!»

Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными, судорожными толчками, дико ныли зубы — и все же он одержал победу. Пусть и маленькую — но победу! Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя — и никак уж не для тебя».

— Сто пятьдесят фунтов, — сообщил он жене через неделю. — А вот ты, ты замечаешь, как я изменился?

— К лучшему, — улыбнулась Кларисса. — Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь, — она потрепала мужа по подбородку, — у тебя такое сильное, мужественное лицо, все линии четкие, определенные.

— Да не мои это линии, а этой погани! Значит, он нравится тебе больше меня, так, что ли?

— Он? Кто такой «он»?

За спиной Клариссы, в зеркале, сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа.

Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Кларисса посмотрела на бутылочку с таблетками.

— Милый, — удивилась она, — если ты набираешь вес ради меня, так не надо. Правда не надо.

«Ну неужели ты не можешь заткнуться!» — хотелось крикнуть Харрису.

Кларисса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени.

— Милый, — сказала она, — последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе... тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь,

мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет — одно неделимое целое, одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные, вы выстоите, разъединенные — падете. Вы должны ладить, как немолодая уже, притершаяся семейная пара, а если ничего не получается — сходи к доктору Берли. Только сперва расслабься. Это же типичнейший порочный круг: чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинщик всей склоки — ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?

Харрис закрыл глаза.

— Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори.

— Поспи, — сказала Кларисса. — Поспи и забудь.

Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поуявля. Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как!

После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию «М. Мьюниган», написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами, — и в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Ослепленный и оглушенный, Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь, прочь. Глаза он открыл только за углом, на главной улице; вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду.

Боль отпустила.

Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь.

Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар.

Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался: а не лежит ли значительная часть вины на плечах того самого М. Мьюнигана? В конце концов, кто как не Мьюниган привлек внимание Харриса к скелету?..

Мысль плотно засела в голове, затем потянулось все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих, гнусных целях?.. В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка. Пытается помочь. Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган — нормальный парень...

В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там «толстый» — круглый, как шар, мужчина. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб — из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление — в настоящий момент на поверхности толстяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера.

Ну что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решил заговорить.

— Эндокринная система?

— Ты меня, что ли, спрашиваешь? — удивленно повернул голову толстяк.

— Или диета такая специальная? — продолжил Харрис. — Вы уж меня простите, ради Бога, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес — все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок! А как вышло, что вы его натренировали — боялись чего-нибудь или что?

— Ты, — громко объявил толстяк, — совсем назюзюкался. Но это ничего, я люблю пьяниц. — Он заказал выпивку себе и Харрису. — Слушай внимательно, я расскажу все, как есть. Слой за слоем, двадцать лет не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил это.

Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус, брюхо и начал лекцию по гастрономической географии.

— Это же тебе не тяп-ляп, бродячий цирк какой-нибудь — разбили ночью, перед рассветом шатер, расставили-разложили там всякие чудеса — и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они — породистые собаки,

кошки и прочие животные. Мой желудок — розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и требовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапах. Кишки же мои, дорогой друг, это редчайшие бразильские анаконды, толстые, гладкие, скрученные в тугие кольца и пышущие безупречным здоровьем. Я забочусь о них, обо всем этом своим зверье, слежу, чтобы они были в форме. Из страха перед чем-нибудь? Возможно.

По этому поводу следовало выпить — что и было сделано.

— Набрать вес? — Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. — Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе склочную, болтливую жену, а заодно — чертову дюжину родственничков, способных из-за любого, самого невинного бугорка вспугнуть целый выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда щепотку деловых партнеров, чья первая, чуть ли не единственная цель в жизни — вытащить из твоего кармана последний, случайно завалившийся там доллар — и ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь — абсолютно бессознательно! — отгораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда — единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться, в результате они начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек, и в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая, — толстяк хлопал себя по шарообразному брюху, — трудовая мозоль.

С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окупнулся в темные волны ночи.

— А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал, — сказал себе Харрис. — Ну разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Финикс...

Дневное время, когда в добеда выгоревшем небе висит желтое, безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Мохавской пустыни; вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло — зачастую ни спереди ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Креддон эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет — все равно

хорошо, что поездка в Финикс состоялась. Смена обстановки — великая вещь.

Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Х. сидел внутри другого мистера Х. Один из них взмок от пота, второй — возможно — тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано, второй — возможно — тоже.

На очередном повороте внутренний мистер Х. неожиданно сдвинул плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку.

Машина слетела с дороги, в бурлящую лаву песка, и развернулась боком.

Пришла ночь, поднялся ветер, металлический горбик, выпирающий из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали — машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывания ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза.

В горячечном, полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом; его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно-острым мечом, рассекало его — до костей. В небе кружили стервятники.

Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы.

— Вот так, значит? — хрипло прошептал он. — Не мытьем, так катаньем? Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой, убьешь. — Он сглотнул набившийся в рот песок. — Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот уже ты будешь лежать один, лежать и торжествующе ухмыляться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками — известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода.

Харрис шел по пустыне, дрожавшей и пузырившейся под безжалостным потоком солнечного света, затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя, в этом пламени жарились и никак не могли прожариться кружившие над головой стервятники. Финикс. Шоссе. Машина. Вода. Жизнь.

— Эй!

Оклик донесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени.

Мистер Харрис попытался сесть.

— Эй!

Снова тот же голос. И снова. И хруст торопливых шагов.

Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком.

Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным; Харрис добрался до Финикса в таком состоянии ума и настроении, что деловая операция превратилась для него в тупую, бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Креддоном, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый, ломкий меч — в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Клариссе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей — если, конечно, здесь уместна ирония.

Смутно, словно издалека, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Креддона за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бомонтом. Лучшее уж ехать вдоль побережья, нету больше доверия к этой пустыне. Но... осторожнее, осторожнее! Соленые волны грохотали о берег, со змеиным шипением набегали на пляжи Лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее, особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду.

Да у меня что, совсем крыша съехала?

И к кому же прикажете обратиться? К Клариссе? К Берли? К Мьюнигану? К костоправу. К Мьюнигану. На том и порешим.

— Здравствуй, милый!

Жесткость зубов и челюстных костей, ощущавшаяся через страстный поцелуй Клариссы, заставила Харриса страдальчески поморщиться.

— Здравствуй, — откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь.

— Ты похудел; да, милый, а это твое дело?..

— Кажется, все в порядке. Да, все в порядке.

Кларисса снова бросилась к нему на шею.

За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение; старалась, собственно говоря, одна Кларисса, Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона; несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку.

На пороге гостиной появилась Кларисса, в пальто и в шляпке.

— Прости, милый, но я ухожу. И не нужно, не нужно так кукситься! — Она ущипнула мужа за щеку. — Я вернусь из Красного Креста часа через два, ну через три, а ты ложись пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти.

Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону.

— М. Мьюниган?

Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздирала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин, и все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог не то что встать, но даже пошевелиться.

— Входите! Входите, ради всего святого!

В гостиную вошел М. Мьюниган; слава Богу, Кларисса не заперла дверь.

Мистер Харрис выглядит ужасно, совершенно ужасно!.. Маленький и темный, М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь? Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, М. Мьюниган говорил, присвистывая. Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница? Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Мьюниган становится еще меньше, вроде как съезживается. Ерунда, конечно. Воображение. Всклипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Финикс.

М. Мьюниган пылал сочувствием. Этот скелет — да он же предатель, диверсант! Ничего, мы с ним разберемся, разберемся раз и навсегда!

— Мистер Мьюниган, — бессильно выдохнул Харрис, — я... раньше я этого не замечал. Ваш язык. Круглый, и вроде

трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза, глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?

М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот? Свет в гостиной был уже потушен. М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. А нельзя ли еще чуть-чуть пошире? В тот, первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протесует, сколько хочет.

Голос М. Мьюнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким-маленьким, совсем крошечным, присвистывание стало высоким и пронзительным. Ну вот, сейчас. Расслабьтесь, мистер Харрис. Начинаем!

Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно, что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно попытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать! Что-то заползло ему в рот, мячиком вздуло щеки, взорвало челюсти. Что-то, похожее на струю кипятка, протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах.

— А-а-а-а! — завопил задыхающийся Харрис. Его голова — голова со взломанным, вдребезги разбитым черепом — безвольно повисла; в легких полыхнул адский, мучительный огонь.

Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль! Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух.

В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна; он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног... Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полускрытую пеленой слез.

В гостиной никого не было.

— М. Мьюниган? Бога ради, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне!

М. Мьюниган исчез.

— Помогите!

А потом Харрис услышал.

Из глубочайших подземелий его тела доносились крошечные, невероятные звуки — негромкое потрескивание и по-

скрипывание, похрупывание и почмокивание, и быстрый сухой хруст, словно там, в кроваво-красной мгле, крошечная изголодавшаяся мышь умело и прилежно обгладывала... что?!

Кларисса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом.

Кларисса тут же забыла бы про случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, чело-
век сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз свое необыкновенное лакомство, Кларисса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью.

— Милый? — окликнула она с порога и улыбнулась. — Где ты, милый?

Кларисса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную.

— Милый...

Она двадцать секунд смотрела на пол и пыталась что-нибудь понять.

И закричала.

Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий, печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному, пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной.

Если вспомнить детство, сколько раз случалось Клариссе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть. А обнаружить целенькую, с желатиновой кожицей, медузу у себя в гостиной — в этом и совсем нет ничего страшного. Ну — отступишь на шаг, чтобы не раздавить.

Но когда медуза обращается к тебе по имени...

БАНКА

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие... И аккомпанемент: вечерняя тишина, нарушаемая только стрекотанием сверчков да вздохами лягушек, доносящимися с заболоченного луга. Самая обычная банка, а в ней то, что заставляет желудок подпрыгнуть к самому горлу, почище чем вид человеческой руки, покачивающейся в бледно-желтом формалине лабораторной кюветы.

Оно глядело на Чарли. Чарли глядел на него. Долго.

Очень долго. Его большие, мозолистые, волосатые на запястьях руки намертво вцепились в веревку, отделявшую экспонат от ротозеев. Он честно заплатил монетку в десять центов и теперь смотрел.

Приближалась ночь. Карусель засыпала на ходу, быстрый, веселый перестук сменился вымученным, словно из-под палки, позвякиванием. Временные рабочие, пришедшие уже снимать балаганчик, играли в покер, курили и негромко чертыхались. Мигнули и погасли наружные лампы, цирк погрузился в полутьму позднего летнего вечера; зрители потянулись домой. Громко заорало и тут же стихло радио; теперь ничто не нарушало безмолвия необъятного, в мириадах звезд луизианского неба.

Для Чарли мир сузился до размеров банки, где покачивалось белесое нечто. Челюсть Чарли отвисла, бесхитростно

выставив на показ влажную розовую полоску языка и зубы; в широко раскрытых глазах светились удивление и восторг.

В темноте обозначилась смутная фигура, совсем маленькая рядом с мосластой долговязостью Чарли.

— О, — сказал человечек, выходя на свет голой, одинокой лампы, освещавшей балаган. — Ты что, друг, так все тут и стоишь?

— Ага, — откликнулся Чарли, словно с трудом выплывая из пучины сна.

Такой страстный интерес не мог не произвести впечатления.

— Эта штука, — хозяин цирка кивнул на банку, — она всем нравится... в общем, в каком-то смысле.

Чарли неуверенно потрогал свой длинный костлявый подбородок.

— А вы... ну, значит... вы никогда не думали насчет ее продать?

Глаза циркача широко распахнулись, снова сощурились.

— Ни в жизнь, — фыркнул он. — Приманка для посетителей. Они любят посмотреть на что-нибудь этакое. Точно любят.

— А-а... — разочарованно протянул Чарли.

— С другой стороны, если подумать, — продолжил хозяин цирка, — если у человека есть деньги, то вообще говоря...

— Сколько денег?

— Ну, если у человека найдется... — Хозяин цирка начал разгибать пальцы, зорко поглядывая на Чарли. — Если у человека найдется три, четыре... ну, скажем, семь или восемь...

Видя, что Чарли встречает каждую новую цифру кивком, хозяин цирка решил поднять цену.

— ...ну, может, десять долларов, или там пятнадцать...

Чарли нахмурился.

— ...а в общем-то, если у человека найдется двенадцать долларов... — пошел на попятную хозяин цирка.

Чарли радостно ухмыльнулся.

— ...тогда, пожалуй, он мог бы и купить эту штуку в банке.

— Надо же, — удивился Чарли, — у меня тут в кармане как раз двенадцать зеленых. И я вот думал, как зауважают меня в Уайльдеровской Лощине, если я возьму и привезу домой вот такую штуку вроде этой и поставлю на полку над столом. Ребята меня вообще зауважают, вот на что хошь можно спорить.

— Ну так, значит... — прервал его мечты хозяин цирка.

По завершении сделки банка была водружена на заднее сиденье фургона. При виде покупки, сделанной хозяином, конь жалобно заржал и нервно затанцевал на месте.

На лице хозяина цирка читалось почти нескрываемое облегчение.

— Знаешь, — сказал он, глядя на Чарли снизу вверх, — а ведь хорошо, что я загнал тебе эту хреновину. Так что ты и не благодари, не надо. Я вот на нее все смотрел, а последнее время какие-то у меня про нее мысли появились, странные мысли... Да ладно, и что у меня за привычка такая дурацкая трепать языком больше, чем надо! Пока, фермер.

Чарли тронул поводья. Голые синеватые лампочки померкли и исчезли, как умирающие звезды; на фургон, и на коня, и на дорогу навалилась темная луизианская ночь. В мире не было ничего, кроме Чарли, коня, глухо и размеренно постукивающего копытами, и сверчков.

И банки, стоящей позади высокого переднего сиденья.

Банка качалась вперед-назад, вперед-назад и негромко говорила: плех-плех, плех-плех... И холодное серое нечто сонно билось о стекло и выглядывало наружу, выглядывало наружу и ничего не видело, ничего не видело.

Чарли повернулся назад, с гордостью, почти нежно хлопал по крышке банки. Его рука вернулась холодная и преображенная, полная возбужденной дрожи и странного, незнакомого запаха. «Да-а, ребята! — думал он. — Да-а, ребята».

Плех, плех, плех...

В Лошине, перед единственным ее магазином, мужчины сидели и стояли, негромко переговаривались и сплевывали в пыльном свете зеленых и кроваво-красных фонарей.

Знакомое поскрипывание сказало им, что едет Чарли; ни одна тяжелая, угловатая, с волосами, как пакля, голова не повернулась на остановившийся фургон. Красными светлячками тлели сигары, лягушачьим бормотанием звучали голоса.

— Привет, Клем! Привет, Милт! — наклонился с высокого сиденья Чарли.

— Привет, Чарли. Привет, Чарли. — Тусклое, невнятное бормотание. Политический конфликт продолжается.

Чарли разрубил его по шву:

— У меня тут есть одна вещь. Такая вещь, что вы, может, захотите посмотреть.

На крыльце магазина зеленою поблескивали глаза Тома Кармоди. Сколько помнил Чарли, Том Кармоди вечно устраивался либо под каким-нибудь навесом, в тени, либо в тени деревьев, а если в комнате — то в самом дальнем углу, и всегда из темноты на тебя поблескивали его глаза. Ты никогда не знаешь, какое выражение у него на лице, а глаза его всегда вроде как над тобой смеются. И сколько раз ни посмотрят на тебя глаза Тома Кармоди, каждый раз они смеются над тобой каким-то новым способом.

— У тебя, красавчик, нет ничего такого, на что нам захотелось бы посмотреть.

Чарли сжал кулак, осмотрел его со всех сторон и только затем продолжил:

— Такая штука в банке. Выглядит вроде как похоже на мозг, и вроде как похоже на маринованную медузу, и вроде как похоже... Да вы сами посмотрите!

Вспыхнул водопад розовых искр — один из фермеров пригнул сигару и лениво направился к фургону. Чарли великодушно снял с банки крышку; лицо фермера, освещенное неверным светом фонаря, изменилось.

— Слышь, а правда, что за хрень такая?..

Это было начало оттепели. За первым фермером последовали и остальные; они неохотно поднимались и шли, повинаясь непреодолимому тяготению. Ни один из них не делал никаких усилий — разве что выставлял вперед то одну, то другую ногу, чтобы не шлепнуться удивленным лицом о землю. Вокруг банки собралось плотное кольцо людей, после чего Чарли — впервые в своей жизни — прибегнул к чему-то вроде стратегии и вернул стеклянную крышку на место.

— Хотите посмотреть еще — заходите ко мне домой, — щедро предложил он. — Там она и будет.

— Ха! — презрительно сплонул с крыльца Том Кармоди.

— Слышь, — забеспокоился Дед Медноув, — дай я еще взгляну! Так это что, восьминог?

Чарли тряхнул поводьями, конь нехотя ожил.

— Заходите, милости просим!

— А что скажет твоя жена?

— А она нас метлой не погонит?

Но фургон уже исчез за холмом. Фермеры стояли, всматривались в темную ночную дорогу и говорили, говорили... Том Кармоди, так и не покидавший крыльца, негромко выругался.

Чарли поднялся по ступенькам своей халупы, прошел в гостиную и водрузил банку на предназначенный ей трон.

Теперь эта унылая комнатуха станет дворцом, в ней будет император — да, лучшего слова и не придумаешь! — император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне, император, возведенный на полку, приколоченную над кособоким дощатым столом.

И прямо сейчас, прямо на глазах у Чарли, банка выжгла холодный туман, набежавший с недалекого болота.

— Что это ты там притащил?

Высокий голос жены вывел Чарли из благоговейного экстаза. Теди стояла в дверях спальни: узкое тело обтянуто вылинявшим голубым ситцем, волосы стянуты на затылке в бесформенный узел, красные уши чуть оттопырены. Ее глаза напоминали вылинявший ситец.

— Ну так что? — повторила она. — Что это такое?

— А вот ты сама, Теди, как ты думаешь, на что это похоже?

Теди шагнула вперед, не отрывая взгляда от банки; бесстыжим маятником качнулись ее бедра, чуть оскалились белые кошачьи зубы.

Мертвое белое нечто, парящее в жидкости.

Теди бросила тускло-голубой взгляд на Чарли, снова на банку, еще раз на Чарли, еще раз на банку — и резко повернулась.

— Оно... оно похоже... оно очень похоже на тебя, Чарли!

Хлопнула дверь спальни.

Содержимое банки не шелохнулось, только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом, позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли заговорил, обращаясь к висящему в банке предмету:

— Я пашу эту болотину, каждый год ноги до жопы снашиваю, а потом она хватает деньги и бежит из дома — навешает, видите ли, своих родственничков по девять недель кряду. Я не в силах ее удержать. Она и эти мужики, собирающиеся у магазина... они надо мной смеются. И я не могу ничего с этим сделать — ведь я не знаю, как ее удержать! Кой хрен теперь я хотя бы попробую!

Философическое нечто, обитавшее в банке, воздержалось от советов и рекомендаций.

— Чарли?

Кто-то у входной двери.

Чарли удивленно повернулся — и тут же расплылся довольной ухмылкой.

Они, мужики от магазина.

— Вот, значит... мы... мы, Чарли, мы тут подумали... ну, значит... мы пришли посмотреть на эту... эту штуку... которая у тебя в этой самой банке...

Вслед за жарким июлем пришел август.

Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье, он ликовал, как кукуруза, пошедшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки: приближающийся шорох сапог в высокой траве, затем небольшая заминка — гости вежливо отплеывались в канаву, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами, жалобный стон косяка, на который навалилось очередное плечо, и наконец очередной голос:

— Можно мне зайти?

(Но сперва волосатое запястье аккуратно вытрет губы.)

— Заходите все, сколько вас там, — с деланным безразличием приглашает Чарли.

Стульев, ящиков из-под мыла, в конце концов половиков, чтобы сидеть на корточках, хватит на всех. К тому времени когда сверчки ногами выскребут из своих надкрылий ровное летнее гудение, а лягушки раздуют шеи и, как зобатые бабы, воплями огласят великую ночь, комната под завязку заполнится людьми со всех низинных земель.

Говорить они начнут не скоро. Первые полчаса такого вечера, пока народ собирался и рассаживался, проходили за тщательным изготовлением самокруток. Аккуратно раскладывая табак по полоске бумаги, заклеивая сигарету языком, осторожно перекачивая ее в ладонях, они раскладывали и перекачивали мысли свои, и страхи, и удивление, готовясь к вечеру. Самокрутки дарили им время подумать. Руки фермеров работали, придавая форму бумажным трубочкам с табаком, но еще больше работали их мозги, придававшие форму мыслям.

Это было нечто вроде примитивной церковной службы. Люди сидели на стульях, и сидели на корточках, и стояли, прислонившись к оштукатуренным стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на полку с банкой.

Нет, они не выпяливались на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки, все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать, осматривали комнату, отпускали свои глаза в свободное плавание, позволяли им бесцельно перебирать все находящиеся здесь предметы.

А потом — по чистой, конечно же, случайности — в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывалось одно

и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И не останется никаких звуков, только разве что попыхивание чьей-то, из кукурузного початка вырезанной, трубки. Или шлепанье босых детских ног по дощатому крыльцу. А тогда, возможно, вмешается голос какой-нибудь из женщин: «Вы бы, ребята, бежали отсюда! Ну-ка!» И смех, похожий на негромкий звон ручья, и вот уже босые ноги мчатся распугивать лягушек.

Чарли — само собой! — будет на самом виду. В кресле-качалке, подложив под тощий свой зад ковровую подушечку, медленно покачиваясь, блаженно купаясь во всеобщем почтении, пришедшем вместе с банкой.

Ну а Теди — Теди мы найдем в дальнем конце комнаты, вместе с тесной кучкой женщин, серых и тихих, как мышки, терпеливо выносящих мужские причуды.

Теди словно готова в любую секунду взорваться, но она ничего не говорит, молчит и только смотрит, как мужчины стадом на водопой тянутся в ее гостиную и садятся у ног Чарли, и глазают на эту штуку, вроде как на Святой Грааль, смотрит, и лицо у нее ледяное, и губы сжаты в ниточку, и она никому не говорит даже самого простого вежливого слова.

После подобающего периода молчания кто-нибудь — ну, скажем, Дед Медноув или Крик-Роуд — откашляет из глубинных своих глубин мокроту, подастся вперед, возможно, смочит кончиком языка губы, и в мозолистых пальцах будет необычная для таких пальцев дрожь.

Словно пение камертона, настроит эта дрожь всех присутствующих к разговору. Уши настрожены. Люди расположились уютно и непринужденно, как свиньи в теплой июльской луже.

Дед смотрел на банку, смотрел долго, затем снова обежал свои губы быстрым, ящерковым языком, откинулся назад и сказал — как всегда — писклявым стариковским тенором:

— И вот что же, все-таки, это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно? Я вот, бывает, просыпаюсь ночью, ворочаюсь-ворочаюсь на матрасе из кукурузных кочерыжек и все думаю, как эта вот банка стоит тут, в ночной темноте. Думаю об этой штуке, как висит она в своем расоле, бледная и спокойная, ну прямо твоя устрица. Иногда я разбужу мать, и тогда мы вместе о ней думаем...

Руки деда плясали в зыбкой пантомиме, все молча смотрели, как свивают невидимую нить толстые, с толстыми,

грубо обкромсанными ногтями большие пальцы, как мерно колышутся остальные восемь, похожие на черные, скрюченные обрубки.

— ...лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и от жары даже москиты не летают, а мы все равно дрожим и ворочаемся с боку на бок, пытаюсь уснуть...

Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: я сказал вполне достаточно, и пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление, и свое благоговение, и свой страх.

Джук Мармер из Ивовой Трясины отер пот с ладоней о колени и тихо начал:

— Я вот помню, как был сопливым мальчишкой, и у нас была эта кошка, всю дорогу рожавшая котят. Господи Иисусе, да ей хватало раз смыться за ограду, и вот тебе, пожалуйста — подарочек... — Джук говорил вроде как благодостно, мягко и доброжелательно. — Ну и мы что, мы раздавали котят, только к тому времени, как она в тот раз окотилась, у каждого из соседей, которые поближе, до которых можно дойти пешком, был уже наш котенок, а у кого и два.

Тогда мама вынесла на заднее крыльцо большую двухгаллонную стеклянную банку, до краев наполненную водой. «Джук, — сказала мама, — утопи котят!» Вот как сейчас помню, стою я там, а котята пищат и бегают, тычутся во все стороны, маленькие, слепые, беспомощные, и хуже всего, не совсем даже слепые, а чуть-чуть начинают открывать глаза. Посмотрел я на маму и сказал: «Нет, мама, только не я! Ты лучше сама!» А мама вся побледнела и говорит, что это нужно сделать, а никого другого не попросишь, только меня. И она ушла на кухню, делать соус и жарить курицу. Ну, я... я взял одного... одного котенка. Подержал его в ладони. Он был теплый. А потом он пискнул, и мне захотелось убежать куда угодно, чтобы только никогда не возвращаться.

Джук размеренно кивал головой; вспыхнувшими, помолодевшими глазами он смотрел в прошлое, воссоздавал прошлое в словах, языком придавал ему форму.

— Я уронил котенка в воду. Котенок закрыл глаза и открыл рот, пытаюсь вздохнуть. Вот как сейчас помню: показались маленькие белые зубы, высунулся розовый язык, а вместе с ним выскочили пузырьки воздуха, такая ниточка до самой поверхности воды!

До сегодня помню и никогда не забуду, как этот котенок плавал в воде потом, когда все было кончено, медленно

покачивался и ни о чем больше не тревожился, и смотрел на меня и не осуждал меня за то, что я сделал. Но он и не любил меня, нет, совсем не любил. А-а-а, да что там!..

Сердца бешено колотились. Глаза испуганно перебегали с Джука вверх, на полку с банкой, снова на Джука, снова вверх...

И долгое молчание.

Джаду, черный человек с Цаплиной Топи, закатил глаза — сумеречный жонглер, вскинувший слоновой кости шары. Темные пальцы сгибались и перекрещивались, как ножки огромных кузнечиков.

— Вы знаете, что это такое? Вы знаете, знаете? А я вам скажу. Это — центр жизни, и ничто другое! Точно, тут и сомневаться не в чем, Господь мне свидетель!

С болота прилетевший ветер раскачивал его, как тростинку — ветер, ни для кого, кроме самого Джаду, невидимый и неслышимый, неосязаемый. Его глаза описали полный круг, словно получив свободу двигаться по собственному желанию. Его голос, как сверкающая иголка с черной ниткой, подхватывал слушателей за мочки ушей, сшивал в единый затаивший дыхание орнамент.

— Из нее, лежавшей в Срединной Хляби, выползли когда-то все твари. Они делали себе руки и ноги, делали себе рога и языки, и они росли. Сперва, может, совсем крохотульная амeba. Потом — лягушка с надутой, словно сейчас лопнет, шеей. Да, да! — Джаду хрустнул суставами пальцев. — А потом она поднялась на задние лапы и стала... стала человеком! Это — центр творения! Срединная Мама, из которой все мы вышли десять тысяч лет назад! Верьте мне, верьте!

— Десять тысяч лет! — прошептала Бабушка Гвоздика.

— Она очень старая! Вы только на нее гляньте! Она ни о чем больше не тревожится. Зачем ей? Она все знает. Она плавает, как свиная отбивная — в жиру. У нее есть глаза, чтобы видеть, но она не моргает глазами, ее глаза не бегают, не дергаются. А зачем ей? Она все знает. Она знает, что все мы вышли из нее, что все мы в нее вернемся.

— Какие у нее глаза?

— Серые.

— Нет, зеленые!

— А волосы? Черные?

— Коричневатые!

— Рыжие!

— Нет, седые!

Затем неспешное свое мнение изложит Чарли. Иногда он скажет то же самое, что и всегда, иногда — что-нибудь другое. Не важно. Вечер за летним вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки. Ее изменят лягушки. Ее изменит нечто, глядящее из банки.

— А что, — сказал Чарли, — если какой старик ушел в болота, а может, и не старик совсем, а мальчишка, и он заблудился там, и шли годы, и он все не мог выбраться, и плутал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам, и кожа его все бледнела, а сам он холодел и съеживался. В сырости и без солнца он так съеживался и съеживался, и стал совсем маленький, и упал потом в трясину, и так и остался лежать в болотной жиже, ну вроде как червяки или еще кто. И ведь как знать, может, это кто-нибудь всем нам знакомый, а если не всем, то хоть кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы перебрасывались словом. Как знать...

В дальнем конце комнаты — громкий судорожный вздох. Одна из стоящих в тени женщин мучительно подыскивает слова.

— Каждый год в это болото убегает уйма маленьких голеньких детишек. — Глаза миссис Тридден сверкают черным, антрацитовым блеском. — Они бегают там и бегают, и не возвращаются. Я и сама там раз чуть не заблудилась. Вот так я и лишилась своего сына, своего маленького Фоли.

Волна сдавленных вздохов, уголки плотно стиснутых ртов напряженно опустились. Головы, шляпки подсолнухов, повернулись на толстых стеблях шей, все глаза вглядываются в ее ужас и в ее надежду. Миссис Тридден, натянутая, как струна, цепляется за стену скрюченными, судорогой сведенными пальцами.

— Мой маленький, — хрипло выдохнула она. — Мой маленький. Мой Фоли. Фоли! Фоли, это ты? Фоли! Фоли, маленький, скажи мне, это ты?

Все повернулись к банке и затаили дыхание.

Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взидала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких, ширококостных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие, и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой струйкой, и растаяли, и унеслись бурлящим потоком. Кто-то закричал:

— Оно пошевелилось!

— Да нет, ничего оно не шевелилось. Тебе просто мерещится.

— Да вот же ей-Бо!— воскликнул Джук. — Я видел, как оно повернулось, медленно так, совсем как мертвый котенок!

— Да тише ты, тише! Мертвая эта штука, давным-давно мертвая. Может, еще с того времени, когда тебя и на свете не было.

— Он подал мне знак! — взвизгнула миссис Тридден. — Это мой Фоли! Там, у тебя в банке, мой мальчик! Ему было три годика! Мой мальчик, пропавший в болоте!

Она затряслась от рыданий.

— Успокойтесь, миссис Тридден. Ну успокойтесь, успокойтесь. Садитесь, возьмите себя в руки. Это такой же ваш ребенок, как, скажем, мой. Ну не надо, не надо.

Одна из женщин обняла миссис Тридден за плечи, вскоре дрожь и всхлипы перешли в неровное, толчками, дыхание и быстрый, как крылья бабочки, трепет испуганных губ.

Когда все совсем стихло, Бабушка Гвоздика тронула увядший розовый цветок, воткнутый в седые, по плечи длиной волосы и начала говорить, не вынимая изо рта трубки, покачивая головой, так что волосы ее плясали в свете лампы.

— Все это болтовня, все это пустые слова. Скорее всего мы так и не узнаем никогда, что там такое в этой банке. Скорее всего если бы мы даже и узнали, то не хотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там жульничество, смотреть потом совсем не интересно, все равно как на кишки дохлой крысы. Мы тут все собираемся сюда раз в десять дней или что-то вроде, и мы разговариваем, вроде как светскую беседу ведем, и у нас всегда, всегда есть о чем поговорить. Узнай мы вдруг, что же это там за хреновина такая, очень может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем, так что вот так.

— Что она такое, эта хреновина? — пророкотал могучий голос. — Да она вообще ничто, вот же зуб даю, ничто!

Том Кармоди.

Как всегда, Том Кармоди стоял в тени — снаружи, на крыльце, и только глаза его смотрели в комнату, а губы, почти неразличимые в темноте, издевательски посмеивались, и неслышный этот смех пронзил Чарли, как жало осы. Теди, это Теди его настрополила. Теди пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает.

— Ничего, — повторил Кармоди, — в этой посудине нету, кроме слипшихся медуз, гнилых и вонючих.

— Послушай, братец Кармоди, — неспешно процедил Чарли, — а ты, часом, не завидуешь?

— Еще чего! — презрительно фыркнул Кармоди. — Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по сотому разу пережевываете пустое место. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия и даже ноги внутрь дома не поставил. А теперь я ухожу. Ну как, никто не составит мне компанию?

Желающих не нашлось. Кармоди расхохотался — ну как тут не расхохочешься, если столько людей посходило с ума; а Теди стояла в дальнем углу и сжимала кулачки — так что ногти впивались в ладони. Чарли увидел, как подергиваются ее губы, и весь похолодел, и не мог ничего сказать.

Смесь во все горло, Кармоди простучал по крыльцу высокими каблуками сапог, и стрекот сверчков унес его прочь.

Беззубые десны Бабушки Гвоздики крепко сжали трубку.

— Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой: эта самая, на полке, штука — почему она не может быть ну вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни — и смерти — и еще чего угодно. Смешайте дождь и солнце, и грязь, и все вместе: траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи дохлой гадюки. Ну почему это должна быть одна вещь? Может, это — уйма?

Тихая беседа текла еще целый час, и тогда Теди ускользнула в ночь, по следам Тома Кармоди, и Чарли покрылся потом. Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Горячий пот лился с Чарли не переставая.

Гости разошлись поздно, Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично, только как вот насчет Теди и Тома?

Время шло и шло. Судя по рисунку небосвода, по звездам, спрятавшимся за край земли, было уже за полночь, и только тогда Чарли слышал шорох высокой травы, раздвигаемой небрежным маятником бедер. Негромко простучали каблук — по крыльцу, в гостиную, в спальню.

Теди бесшумно легла в постель; Чарли ощущал на себе пристальный, как прикосновение, взгляд ее кошачьих глаз.

— Чарли?

Чарли помедлил.

А потом сказал:

— Я не сплю.

Теперь помедлила Теди.

— Чарли?

— Что?

— Вот спорим, ты не знаешь, где я была, спорим, ты не знаешь, где я была! — Негромкий насмешливый напев в ночи.

Чарли молчал.

Молчала и Теди, но не долго, слова рвались у нее с языка.

— Я была в Кейп-Сити, в цирке. Меня отвез Том Кармоди. Мы... мы говорили с хозяином, мы говорили, Чарли, мы правда говорили.

Теди едва слышно хихикнула.

Чарли похолодел. И приподнялся, опираясь на локоть.

— И мы узнали, что в той банке, мы узнали, что в той банке... — детской дразнилкой пропела Теди.

Чарли резко отвернулся, зажал уши руками.

— Я не хочу ничего слышать!

— Не хочешь, Чарли, а придется, — злое змеиное шипение. — Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть.

— Уходи, — сказал Чарли.

— Не-а! Нет, Чарли, нетушки. Не уйду я, драгоценный ты мой — не уйду, пока не расскажу.

— Вали отсюда!

— Подожди, дай я расскажу тебе все по порядку. Мы поговорили с этим самым хозяином цирка, и он... он чуть не лопнул от хохота. Говорит, что продал эту банку со всем ее содержимым одному... одному сельскому лоху за двенадцать зеленых. А она вся вместе и двух не стоит.

В темноте изо рта Теди расцвел черный цветок жуткого смеха.

Торопливо, захлебываясь, она закончила свой рассказ:

— Ведь все это, Чарли, самый обычный хлам. Резина, папье-маше, шелк, хлопок, борная кислота! И все, и больше ничего! А внутри — проволочный каркас. Вот и все, что там есть, Чарли! — Резкий, уши царапающий визг. — Вот и все!

— Нет, нет!

Чарли сел как подброшенный, с треском разорвал простыню пополам.

— Я не хочу слушать! — ревел он. — Я не хочу слушать!

— То ли будет, когда все ребята узнают, какая грошовая подделка мокнет в твоей знаменитой банке! Вот уж они посмеются, прямо кататься со смеху будут!

— Ты... — Чарли схватил ее за запястья, — ...ты хочешь им рассказать?

— Боишься, Чарли, что мне не поверят? Что посчитают меня за врушу?

— Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? — Он яростно отшвырнул Теди. — Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, ты завидуешь всему, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост, так ты и спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить!

— Ладно, — рассмеялась Теди, — никому я ничего не скажу.

— Не скажу! — с ненавистью повторил Чарли. — Главное ты уже сделала: испоганила все для меня. Теперь не так-то уж и важно, расскажешь ты кому еще или не расскажешь. Мне ты уже рассказала, и вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хотелось стереть с его лица эту проклятую ухмылочку. Он ведь сколько уже лет надо мной смеется! Ну иди, рассказывай что хочешь и кому хочешь — мне все равно, а так хоть ты удовольствие получишь!..

Чарли яростно шагнул, сорвал с полки банку, размахнулся, чтобы швырнуть ее об пол, но тут же замер и осторожно, дрожащими руками поставил свою драгоценность на длинный стол. И начал всхлипывать. С утратой банки он утратит весь мир. И Теди — Теди он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше, она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины — Том, к примеру, Кармоди — сверяли свое время по тому же эталону.

Теди стояла в ожидании, когда же Чарли расшибет банку, однако тот только ласково гладил холодное прозрачное стекло и мало-помалу успокаивался. Банка заслуживала благодарности — ну, хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей, и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной...

Чарли медленно повернулся. Да, Теди потеряна, потеряна безвозвратно.

— Теди, ты же не ходила в цирк.

— Именно что ходила.

— Ты врешь, — покачал головой Чарли.

— Именно что не вру.

— В этой... в этой банке должно быть что-нибудь. Что-нибудь кроме хлама, о котором ты говорила. Слишком уж многие люди верят, что в ней что-то есть. Теди. Ты не можешь этого изменить. Хозяин цирка, если ты и вправду с

ним говорила... он соврал. — Чарли глубоко вздохнул и добавил: — Иди сюда, Теди.

— Что ты там еще придумал? — подозрительно сощурилась Теди.

— Подойди ко мне. — Чарли шагнул вперед. — Иди сюда.

— Не трогай меня, Чарли.

— Теди, я же просто хочу показать тебе одну вещь. — Голос Чарли звучал тихо, спокойно и настойчиво. — Ну кисонька. Ну кисонька, кисонька, котенок ты мой маленький... котенок!

Прошла неделя. Снова наступил вечер. Первыми пришли Дед Медноув и Бабушка Гвоздика, за ними — Джук, миссис Тридден и Джаду, цветной человек. Дальше потянулись и все остальные — молодые и старые, благодушные и озлобленные, и все они рассаживались по стульям и ящикам, и у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище.

Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные — что-то касающееся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни, и у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики — старые, хорошо знакомые, но все равно новые.

Чарли сидел отдельно ото всех.

— Привет, Чарли. — Кто-то заглянул в раскрытую дверь спальни. — Твоя жена, она что, снова гостит у родителей?

— Ага, смылась в Теннесси. Вернется через пару недель. Только и знает, что бегать из дому... Да будто вы ее не знаете!

— Да уж, непоседливая тебе жена досталась, это точно.

Негромкие разговоры, скрип поудобнее устанавливаемых стульев, а затем, совсем неожиданно, стук каблуков и глаза, сверкающие из полутьмы крыльца — Том Кармоди.

Том Кармоди стоял, не переступая порога, его ноги подламывались и дрожали, руки висели плетьюми и тоже дрожали, и он заглядывал в гостиную. Том Кармоди боялся войти. Том Кармоди не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах приоткрытого рта — ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом как мел лице, лице человека, давно и опасно больного.

Дед взглянул на банку, прокашлялся и сказал:

— Странно, я как-то не замечал этого раньше. У него голубые глаза.

— Оно всегда имело голубые глаза, — пожала плечами Бабушка Гвоздика.

— Нет, — проскрипел Дед, — ничего подобного. Последний раз они были карие. И еще... — Он снова взглянул на банку и моргнул. — У него же коричневые волосы. Раньше у него не было коричневых волос.

— Были, — вздохнула миссис Тридден. — Были.

— И ничего подобного!

— Были, были!

Том Кармоди, дрожащий во влажной духоте летнего вечера, Том Кармоди, заглядывающий в комнату, не отрывающий глаз от банки. Чарли, небрежно на нее поглядывающий, небрежно перекатывающий в ладонях самокрутку, переполненный мира и спокойствия, уверенный в своей жизни и в своих мыслях. Том Кармоди, один в полутьме крыльца, видящий в банке то, чего никогда не видел прежде. И все — видящие то, что они хотят видеть, мысли их — частый перестук дождя по крыше.

— Мой мальчик. Мой маленький мальчик, — думает миссис Тридден.

— Мозг! — думает Дед.

Пальцы цветного человека, мелькающие, как ножки кузнечика.

— Срединная Мама!

— Амеба! — поджал губы рыбак.

— Котенок! Котенок! Ну кисонька, кисонька, кисонька! — Мысли захлестывают Джука, выцарапывают ему глаза. — Кисонька!

— Все и вся! — скрипят усохшие и поблекшие мысли Бабушки. — Ночь, трясина, смерть, белесая нежить, влажные морские твари!

Тишина. А затем Дед шепчет:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно?

Чарли удовлетворенно взглянул вверх, размял самокрутку, чтобы была чуть плоская и хорошо лежала во рту. И перевел глаза на дверь, на Тома Кармоди, который никогда уже больше не улыбнется.

— Сдается мне, никогда мы этого не узнаем. Да, сдается, что не узнаем.

Он медленно покачал головой и повернулся к гостям, которые смотрели, и смотрели, и смотрели...

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное в то ли сон, то ли какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие...

ОЗЕРО

Волна спрятала меня от мира, птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Миг зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно небу, песку, детям. Я шел из воды, а меня ждал мир, он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой.

Я выбежал на берег.

Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем. «Стой и сохни», — сказала она.

Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки.

— Гляди-ка, ветер, — сказала мама. — Надень свитер.

— Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки.

— Гарольд, — сказала мама.

Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны.

Был сентябрь. Те последние дни, когда, неизвестно почему, становится грустно. Берег вытянулся и опустел, всего лишь шесть человек сидело на песке. Дети перестали играть в мяч, ветер и на них нагонял тоску своим особым свистом, и они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень.

Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо — все запахи долгого радостного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь, в сентябре, не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Дилауса Арнольдов близ воды.

Песок слетал с навесов на тротуар, карусель спряталась под брезентом, в воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте.

Я постоял здесь. Все были в школе. А я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться.

Вокруг было так пустынно, что и мне захотелось побыть одному. «Мам, я побегая по берегу?» — сказал я.

— Хорошо. Только недолго и не подходи близко к воде.

Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает, бежишь, вытянув руки, растопыряв пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий. Словно крылья.

Сидящая мама исчезла вдаль. Вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, и я остался совсем один.

Одиночество — не новость для двенадцатилетнего мальчика. Он так привык, что рядом всегда люди. И по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убегать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того чтобы побыть в своем собственном мире.

Теперь же я и впрямь был один.

Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь...

Вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое; нижняя часть тает словно сахар и растворяется. Вода холодит, и изящно колыхающаяся волна время от времени опадает цветком кружев.

Я звал ее, десятки раз я звал ее:

— Толли! Толли! Толли!

Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Веришь, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порою так оно и случается.

Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее двенадцатилетних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу.

Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди

меня в классе, она не будет гонять со мной мяч летними вечерами по мощенным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад.

И теперь, пустынной осенью, когда небо такое огромное, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда, один.

Я звал и звал ее. Толли! О Толли!

Ветер мягко дул мне в уши — так он шепчется в раковинах. Вода поднялась, обняла мою грудь, потом колени, вверх-вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами.

Толли! Вернись, Толли!

Мне было всего двенадцать лет. Но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких спокойных, монотонных дней в школе. Вот и кончились длинные осенние дни прошлых лет, когда я носил ее портфель из школы.

Толли!

Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко.

Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, хоть что-нибудь, что напомнило бы мне Толли. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его сверху так, как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся.

— Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его.

Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок круг за кругом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место.

Молча я шел по берегу.

Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер.

На следующий день я уехал на поезде.

У поезда короткая память; он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом.

Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду — она мне стала мала — перешел из средней школы в высшую, затем в колледж. А потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время

мы встречались с ней, затем поженились. К двадцати двум годам я почти забыл, как выглядит Восток.

Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте.

Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад.

Лейк-Блафф, с населением 1000 человек, всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф и наши вещи вынесли на перрон.

Прошло столько лет, что же они делают с лицами и телами людей. Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица словно эхо. Эхо походов по тропинкам в оврагах. Легкая радость на лицах, ведь школы на лето закрыты и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в кучу подобно осенним листьям.

Две недели мы жили здесь, вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае мне так казалось.

Это произошло в один из последних дней, которые мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тогда, много лет назад, но уже появились на пляже первые признаки опустелости. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню.

Мне даже померещилась мама, сидящая на песке там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Но я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет. Я лишь шел рядом с ней и ждал.

Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветренном солнце.

К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке.

Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего двенадцатилетним, очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках, и его лицо — такое же серое и заостренное.

— Постой здесь, Маргарет, — сказал я. Зачем я сказал это?

— Но почему?

— Просто постой, вот и все...

Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня.

— Что это? — спросил я.

Спасатель долго не мог выговорить ни слова, он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок, волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила.

— Что это? — настаивал я.

— Странно, — тихо сказал спасатель.

Я ждал.

— Странно, — тихо повторил он. — Самое странное, что мне довелось видеть. Она умерла очень давно.

Я повторил его слова.

Он кивнул:

— По-моему, десять лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С тысяча девятьсот тридцать третьего здесь утонуло двенадцать детей, но все они были найдены спустя несколько часов. Все, кроме одной, насколько я помню. Это тело, должно быть, десять лет пролежало в воде. Это не очень-то приятно.

Я смотрел на серый мешок в его руках.

— Откройте его, — попросил я. Зачем я сказал это? Еще громче застонал ветер.

Он стал возиться с мешком.

— Скорей откройте его! — закричал я.

— Может, лучше не делать этого, — сказал он. Тут он, по-видимому, увидел мое лицо. «Она была такой маленькой...»

Он чуть-чуть приоткрыл мешок. Этого было достаточно.

На берегу было пусто. Лишь небо, и ветер, и вода, и одинокая осень направлялась сюда. Я глядел вниз, на нее.

Снова и снова я что-то произносил. Имя. Спасатель смотрел на меня.

— Где вы нашли ее? — спросил я.

— Ниже по берегу, там, на мели. Долго же она лежала, правда?

Я кивнул:

— Да. Боже мой, да.

Я думал: люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее, о Господи, я всегда буду любить ее.

Спасатель снова завязал мешок.

Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», — отметил я про себя.

Здесь около самой воды стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Толли и я. Она половину и я половину.

Я глядел на него. Потом стал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро, обратно они не возвращались.

И тогда... я понял.

— Я помогу тебе, — сказал я.

Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает.

Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня и улыбалась...

ГОНЕЦ

Мартин знал, что пришла осень. Пес, вернувшийся со двора, принес с собой запах холодного ветра, первых заморозков и терпкий аромат тронутых гнильцой опавших яблок. В его жесткой курчавой шерсти запутались лепестки золотарника, последняя паутина лета, опилки только что спиленного дерева, перышко малиновки и первый побуревший лист с огненно-красного клена. Пес радостно вертелся около кровати, стряхивая на одеяло свою драгоценную добычу — хрупкие сухие листья папоротника, веточку ежевики, тоненькие травинки болотного мха. Конечно, пришла Осень. К нам в гости пожаловал диковинный зверь — Октябрь!

— Хватит, дружище, хватит!

Пес примостился ближе к теплему телу мальчика, отдавая ему собранные неповторимые запахи осени, ее голых полей, тяжелых туманов и аромат увядающих лесов. Весной шерсть пса пахнет расцветшей сиренью, ирисом и свежескошенной лужайкой, летом — фисташковым мороженым, каруселями и первым загаром. Но осень!

— Скажи, дружище, как там на воле?

И пес рассказывал, а прикованный к постели мальчик слушал и вспоминал, какой бывала осень, когда он сам ее встречал. Теперь его связным, его гонцом на волю стал пес. Он был частью его самого, той ловкой и быстрой его частью, которую он посылал познать внешний мир, мир вещей и быстротечного времени. Пес вместо него бегал по улицам городка и его окрестностям, к реке, озеру или ручью, или же совсем поблизости — в дровяной сарай, кладовую или на чердак. И неизменно возвращался с подарками. Иногда это были запахи подсолнечника, гаревой дорожки школьного

двора или же молочая с лугов, а то свежееочищенных каштанов, перезревшей, забытой на огороде тыквы. Пес везде успевал побывать.

— Где же ты был сегодня утром, что видел, расскажи?

Но и без рассказов было ясно, что видел пес, гоняя по холмам за городом, где детвора самозабвенно кувыркалась в огромных, как погребальные костры, кучах опавшей листвы, приготовленной для сожжения. Запуская дрожащие от нетерпения пальцы в густую шерсть пса, Мартин, как слепой, пытался прочесть все, что принес ему гонец, побывавший на сжатой ниве, в узком овражке у ключа, и на аккуратном городском кладбище или же в чаще леса. И тогда в этот сезон пьянящих терпких запахов Мартину казалось, что он сам везде побывал.

Дверь спальни отворилась.

— Твой пес опять набедокурил, Мартин.

Мать поставила на постель поднос с завтраком. Ее голубые глаза глядели строго, с укоризной.

— Мама...

— Этот пес везде роет землю. Мисс Таркин вне себя. Он вырыл очередную нору в ее саду. Это уже четырнадцатая за неделю.

— Может, он что-то ищет.

— Глупости! Просто пес излишне любопытен и всюду сует свой нос. Если и дальше так будет, придется посадить его на цепь.

Мартин посмотрел на мать, как смотрят на незнакомого и чужого человека.

— Ты не сделаешь этого, мама! Как же я тогда? Как буду я знать, что происходит вокруг?

— Значит, это он тебе приносит новости? — тихо промолвила мать.

— Он рассказывает мне все и обо всем. Нет такой новости, которую бы он мне не принес.

Мать и сын смотрели на пса, и на сухие травинки и цветочные семена, осыпавшие одеяло.

— Ладно, если он перестанет рыть норы там, где не положено, пусть его бегают, сколько хочет, — уступила мать.

— Пес, ко мне!

Мартин прикрепил тонкую металлическую пластинку к ошейнику пса, она гласила: «Мой хозяин — Мартин Смит. Ему десять лет, он болен и не встает с постели. Добро пожаловать к нам в гости».

Пес понимающе твякнул. Мать открыла дверь и выпустила его на улицу.

Мартин, полусидя на постели, прислушивался.

Где-то далеко под тихим осенним дождем бегают его посланники. Его далекий лай то и дело долетал до слуха мальчика. Вот он у дома мистера Хэлоуэя и, вернувшись, принесет Мартину запах машинного масла и хрупких внутренностей часовых механизмов, которые чистит и чинит старый часовщик. Или это будет запах мистера Джекобса, зеленщика, пахнущего помидорами и загадочным пряным духом того, что таится в жестянках с интригующей наклейкой с изображением пляшущих чертенят. Этот запах иногда доносился со двора и щекотал ноздри. А если пес не побывает у мистера Джекобса, тогда он обязательно навестит миссис Гилеспи или мистера Смита, или любого другого из друзей и знакомых, или они повстречаются ему на пути, и тогда он кого-нибудь облает, а к кому-то подластится, кого-то напугает, а кого-то приведет сюда на чай с печеньем.

И Мартин слышит, как возвращается его гонец. Он не один. Звонок в дверь, голоса, скрип ступеней деревянной лестницы и молодой женский смех. На пороге — мисс Хэйг, его школьная учительница.

У Мартина сегодня гости.

Утро, полдень, вечер, восход, закат, солнце и луна совершают свой обход, а вместе с ним и пес, добросовестно докладывающий затем о температуре земли и воздуха, о цвете и красках мира, плотности тумана и частоте дождя, а главное... о том, что снова пришла мисс Хэйг!

По субботам, воскресеньям и понедельникам она пекла пирожные с цукатами из апельсиновых корочек и приносила из библиотеки новую книгу о динозаврах и первобытном человеке. По вторникам, средам и четвергам он каким-то непостижимым образом умудрялся обыгрывать ее в домино, а потом в шашки, и, чего доброго, говорила она, сделает ей мат, если они сразятся в шахматы. В пятницу, субботу и воскресенье они могли наговориться вдоволь, не умолкая. Она была такой красивой и веселой, а волосы ее были мягкими и пушистыми, цвета густого гречишного меда, как осень за окном. Какой легкой и быстрой была ее походка, как сильно и ровно билось ее сердце, когда вдруг однажды он услышал его стук. Но прекраснее всего было ее умение разгадывать тайну безымянных знаков и сигналов, что

позволяло ей безошибочно понимать пса. Ее ловкие пальцы извлекали из его шерсти все символы и приметы внешнего мира. Закрыв глаза и тихонько посмеиваясь, она перебирала жесткую шерсть на спине собаки и голосом цыганки-вещуньи рассказывала о том, что есть и что еще будет.

Но в один из понедельников в полдень мисс Хэйг не стало.

Мартин с усилием поднялся и сел на постели.

— Умерла?.. — не веря, тихо прошептал он.

«Умерла, — подтвердила мать. — Ее сбила машина». Для Мартина это означало холод и белое безмолвие преждевременно наступившей зимы. Смерть, холодное молчание и слепящая белизна. Мысли, как стая вспугнутых птиц, взметнулись и, тихо шурша крыльями, снова сели.

Мартин, прижав к себе пса, отвернулся к стене. Женщина с волосами осени, мелодичным смехом и глазами, неотрывно глядящими на твои губы, когда ты говоришь, умевшая рассказывать о мире все, что не мог рассказать пес, женщина, чье сердце внезапно перестало биться в полдень, умолкла навсегда.

— Мама? Что они делают там, в могилах? Просто лежат?

— Да, просто лежат.

— Лежат, и все? Что в этом хорошего? Это ведь скучно.

— Ради Бога, о чем ты говоришь?

— Почему они не выходят, не бегают и не веселятся, когда им надоест лежать? Ведь это так глупо...

— Мартин!..

— Почему Он не мог придумать для них что-нибудь лучшее. Это невозможно все время неподвижно лежать. Я пробовал это. И пса заставил однажды, сказав ему: «Замри». Но он долго не выдержал, ему стало скучно, он вертел хвостом, открывал глаза и глядел на меня с тоской и недоумением. Бьюсь об заклад, дружище, что временами, когда им наскучит, они поступают, как ты. А, пес?

Пес ответил радостным лаем.

— Не говори такое, Мартин, — осудила его мать.

Мартин умолк, устремив взор в пространство.

— Я уверен, что они так и поступают, — сказал он.

Отгорев, осыпались багряные листья с деревьев. Пес убежал все дальше от дома, переходил ручей в овраге вброд, забегал на кладбище. Он возвращался, лишь когда стемнеет. Его поздние возвращения вызывали переполох в собачьем мире городка. Его встречали залпы яростного лая из всех

подворотен, мимо которых он пробегал. Лай был столь громким, что в окнах жалобно дребезжали стекла.

В последние дни октября пес повел себя совсем странно, словно учуял, что вдруг переменялся ветер и подул с чужой стороны. Пес подолгу стоял на крыльце, мелко дрожа и поскуливая, и глядел на пустые поля за городом.

Каждый день он мог так стоять на крыльце, словно привязанный, дрожа всем телом и тихонько поскуливая, а потом вдруг срывался и бежал, словно его позвал кто-то. Теперь он возвращался поздно и всегда один. С каждым днем голова Мартина уходила все глубже в подушки.

— Люди всегда чем-то заняты, — успокаивала его мать. — Им недосуг прочесть, что ты написал на ошейнике. Может, кто и решил зайти, да за делами забыл.

Нет, здесь что-то другое, думал Мартин, вспоминая странное поведение пса, вспаленный блеск в его глазах, то, как по ночам его тело беспокойно вздрагивает под кроватью и он жалобно скулит, словно ему снятся дурные сны. Иногда среди ночи пес вдруг оказывался возле постели и мог так простоять полночи, глядя на Мартина, будто хотел, но не мог поведать ему величайшую и страшную тайну. Поэтому он громко стучал по полу хвостом или вертелся волчком, не в силах остановиться.

30 октября пес не вернулся домой. Мартин слышал, как родители звали его вечером после ужина, а потом пошли искать. Становилось темно, опустели улицы, подул холодный ветер, и в доме стало так пусто-пусто...

Было уже за полночь, но Мартин не спал. Он лежал, глядя в потемневшее окно, туда, где для него уже ничего не было, даже осени, ибо его гонец не принес ему вестей. Теперь не будет зимы, ибо никто не страшнет на него первые снежинки и не даст им растаять на ладони. Отец, мать? Нет, это уже будет не то. Они не умеют играть в те игры, которые они с псом знали, они не знают их секретов, правил, звуков и пантомимы. Не будет больше времен года, как не будет самого времени. Его связной, его гонец не вернулся, затерявшись в джунглях цивилизации, или отравлен, отловлен, попал под колеса, сброшен в канализационный люк.

Залившись слезами, Мартин уткнулся в подушку. Мир стал немой картиной под стеклом. Мир был мертвым.

Мартин беспокойно метался на постели. Прошло 31 октября, канун Дня всех святых, и еще два дня после праздника. В мусорном баке догнивала последняя тыквенная маска,

сожжены маски из папье-маше, а фигурки святых снова заняли свои места на полке до будущего года.

Для Мартина этот вечер был таким же, как все остальные, хотя под холодным звездным небом трубили шутовские трубы, резвились дети в маскарадных костюмах, рисуя мелом на плитах тротуара и на тронутых морозцем стеклах магические знаки и имена.

В доме стояла тишина, и было так хорошо, лежа в постели, смотреть в окно, на чистое небо и яркую луну. Он вспомнил, как в такие вечера они с псом уходили бродить по городу. Пес бежал то впереди, то сзади, временами исчезал в зеленом обрамлении парка и снова появлялся. Он радостно лакал из лужиц молочно-белую от лунного света дождевую воду, с лаем прыгал вокруг кладбищенских надгробий, словно читал имена усопших. Они с псом спешили на лужайки, где ночные тени не стояли на месте, а двигались вместе с ними или теснились вокруг. Беги, дружище, беги! Преследуй или убегай от дыма, туманов, ветра, чьих-то вспугнутых мыслей и воспоминаний. А потом — скорее домой, в безопасность, уют, теплоту и сон...

Десять часов вечера. Бьют куранты. Им вторит сонно ленивый бой часов в гостиной.

Пес, где ты, вернись и принеси мне все, что ты увидел, — ветку чертополоха, тронутую морозцем, или просто свежий ветер. Где ты? А теперь слушай, я зову тебя!

Мартин затаил дыхание.

Где-то там, далеко — звук...

Мартин, вздохнув, приподнялся на постели.

Снова звук... Еле слышный, такой слабый и тонкий, словно серебряное острие иглы легонько коснулось неба где-то далеко-далеко.

Слабое эхо собачьего лая!

Пес, бегущий вдоль полей и ферм, по мягким проселочным дорогам, где оставил свои следы вспугнутый заяц. Пес, лаем нарушивший ночную тишину, кружащий по округе, то убегающий далеко-далеко, словно кто-то отпустил длинный-предлинный поводок, то появляющийся снова, будто кто-то, стоящий под каштаном, натянул поводок и свистом позвал его обратно в тень, темную, как ночь, влажную, как поднятый лопатой грунт, четко очерченную, как в новолуние. Пес на поводке кружил и кружил, и рвался к дому.

«Пес, дружище, поскорей возвращайся, — думал Мартин. — Где же ты был все это время? А теперь, прошу, найди след домой!»

Пять, десять, пятнадцать минут. Лай все ближе. Послушай, негодник, как ты посмел пропадать так долго? Непослушный пес, нет, нет, хороший, добрый пес, возвращайся скорее и принеси мне с собой все, что можешь.

Вот он совсем близко, слышен его лай, такой громкий, что хлопают ставни и вертится флюгер на крыше.

Он уже за дверью.

Мартин поежился, как от холода.

Он должен встать и открыть дверь. Или лучше подождать, когда вернутся родители? Стой, пес, не убегай. А что, если он опять убежит? Нет, лучше спуститься вниз, распахнуть настежь двери и прижать к себе четвероногого друга, а потом, смеясь и плача, взбежать с ним по лестнице наверх...

Лай затих.

Мартин так плотно прижался лицом к оконному стеклу, что чуть не выдавил его. Тишина. Будто кто-то велел псу умолкнуть.

Прошла целая минута. Мартин до боли сжал кулаки. Внизу кто-то жалобно заскулил. Потом скрип медленно отворяемой двери. Кто-то сжалился над псом и впустил его в дом. Ну конечно, пес привел с собой мистера Джекобса, а если не его, то мистера Гилеспи или же соседку мисс Таркин. Входная дверь громко захлопнулась.

Повизгивая от радости, пес вбежал в комнату и прыгнул на постель.

— Пес, дружище, где же ты был, что делал? Ах, шалун ты эдакий...

Плача и смеясь, Мартин прижимал к груди мохнатого мокрого друга и кричал от радости. Но внезапно умолк и отстранился. Он пристально смотрел на пса, и в глазах его была тревога.

Что за запах принес ему на сей раз его верный посланец? Запах чужой земли и темной ночи, запах земных недр и того, что схоронено в них и уже тронута тленом? Лапы и нос пса были в чужой земле, пахнувшей чем-то резким, незнакомым и пугающим. Пес, должно быть, опять рыл землю и рыл глубоко-глубоко... Нет, этого не может быть! Только не это!

— Что ты принес мне? Откуда этот отвратительный запах тлена? Ты опять нашкодил, опять рыл норы там, где рыть не положено? Ты плохой, непослушный пес. Или ты хороший, ты, должно быть, искал друзей, ведь ты любишь общество и наверняка кого-то привел с собой?

Мартин слышал шаги на лестнице. Кто-то медленно поднимался в темноте, тяжело ступая и останавливаясь, чтобы передохнуть...

Пес дрожал. На одеяло, словно мелкий дождь, сыпались крупинки чужой земли.

Пес посмотрел на дверь. С шорохом, похожим на шепот, она отворилась.

К Мартину пришли гости.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Они долго стояли под палящим солнцем, поглядывая на горящие циферблаты своих старомодных часов, а тем временем их колеблющиеся тени удлинялись, из-под сетчатых летних шляп струился пот. Когда они обнажили головы, чтобы вытереть морщинистые лбы, оказалось, что их вымокшие насквозь шевелюры такие белые, словно годами не видели света. Один из них пробурчал, что ступни его стали похожи на хлебные лепешки, и добавил, вдохнув горячего воздуха:

— Ты уверен, что это тот самый дом?

Второй старик, по имени Фокс, кивнул в ответ так, будто опасался вспыхнуть от любого резкого движения и возникающего при этом трения.

— Я видел ее три дня кряду. Она появится. Если еще жива, конечно. Погоди, Шоу, ты сам ее увидишь. Боже, какой случай!

— Ну и дела, — сказал Шоу, — если б только люди могли заподозрить в подглядывании нас, двух старых дураков. Ей-Богу, мне делается не по себе.

Фокс оперся на свою трость.

— Все разговоры я беру на себя... постой-ка! Вот она! — Он перешел на шепот. — Смотри, выходит из дому.

Страшно гроыхнула входная дрь. На верхней, тринадцатой ступеньке крыльца появилась полная женщина и осмотрелась, бросая по сторонам резкие, колкие взгляды. Сунув пухлую руку в сумочку, вытащила несколько скомканных долларовых бумажек, тяжело топая, спустилась по лестнице и решительно двинулась вниз по улице. Сверху из окон смотрели ей вслед жильцы дома, привлеченные обвальным грохотом двери.

— Давай, — шепнул Фокс, — идем к мяснику.

Женщина распахнула дверь и ввалилась в лавку. Старики успели заметить, как мелькнули ее жирно намазанные губы. Брови смахивали на усы, искоса поглядывали вечно подозрительные глаза. Поравнявшись с дверью, они услышали ее визгливый голос:

— Мне нужен кусок мяса поприличнее, ну-ка, посмотрим, что вы там припрятали для себя?

Мясник не проронил ни слова. На нем был захватанный, испачканный кровью фартук. В руках — ничего. Старики вошли вслед за женщиной, делая вид, что любуются нежно-розовым филеом.

— От этой баранины меня тошнит! — кричала она. — Почему эти мозги?

Мясник сухо ответил.

— Ладно, взвесьте мне фунт печени! — велела женщина. — И пальцы свои держите от нее подальше.

Мясник, не спеша, принялся взвешивать.

— Пошевеливайтесь! — набросилась она.

Теперь рук мясника не было видно из-за прилавка.

— Смотри, — прошептал Фокс. Шоу слегка запрокинул голову, чтобы увидеть, что делается под прилавком.

Окровавленная рука мясника крепко держала блестящий топор. Его пальцы то сжимались на рукоятке, то снова разжимались. Мясник возвышался над белым мраморным прилавком; женщина выкрикивала ему что-то в побагровевшее лицо, тот смотрел на нее голубыми, угрожающе-спокойными глазами.

— Теперь убедился? — шепнул Фокс. — Она и в самом деле нуждается в нашей помощи.

Они посмотрели на красные ломтики мяса, на борозды и вмятины, выбитые десятками ударов стального топора на поверхности разделочного стола.

Скандал разразился и у бакалейщика, и в мелочной лавке. Старики двигались за женщиной на почтительном расстоянии.

— Миссис Убей Меня, — пробормотал мистер Фокс. — Это то же самое, что смотреть на двухлетнего ребенка, который выбегает на поле боя. В такую погоду она может, так сказать, налететь на мину. Ба-бах! И жара подходящая, и влажность хуже некуда, все чешутся, потеют, раздражаются. И тут, на тебе, заявляется эта дамочка и начинает вопить. И — привет. Ну как, Шоу, беремся за это дело?

— Ты что же, хочешь вот так просто взять и подойти к ней? — Шоу и сам опешил от собственного предложения. —

Я надеюсь, мы не собираемся этого делать? Я ведь думал, мы идем просто из любопытства. Ну там, люди, их повадки, привычки и прочее. Это все очень занято, конечно, но лезть в такое дело... У нас, слава Богу, есть чем заняться.

— Есть? — Фокс кивнул на дорогу, женщина переходила улицу, едва уворачиваясь от проезжавших машин, надсадно скрежетали тормоза, отчаянно гудели клаксоны и ругались шоферы. — Мы же христиане. Неужели мы позволим ей подсознательно отдать себя на съедение львам? Или же мы вернем ее обратно?

— Вернем ее?

— Ну да, вернем ее к любви, спокойствию, к долгой жизни. Ты только посмотри на нее. Ей не хочется больше жить. Она же нарочно выводит людей из себя. И уже не далек тот день, когда кто-нибудь угостит ее молотком или стрихнином. Когда люди идут ко дну, они становятся невыносимыми — орут, кричат, хватаются за что попало. Давай пообедаем и протянем ей руку помощи. Хорошо? А не то она будет продолжать в том же духе, пока не напорется на своего убийцу.

Лучи солнца вдавливали Шоу в кипящий белесый асфальт тротуара, и ему на мгновение померещилось, будто улица качнулась у него под ногами, опрокинулась и превратилась в отвесную стену, с которой навстречу огненному небу летела женщина.

— Ты прав, — сказал он. — Не хотелось бы мне брать на душу такой грех.

Под солнцем выгорала и осыпалась с фасадов краска, жара выпарила влагу из воздуха и сточные воды из канав. Изнуренные старики стояли в подъезде дома, по которому носились иссушающие потоки воздуха, как в пекарне. Когда они разговаривали, до них из душных комнат доносились приглушенные голоса жильцов, до одури измотанных жарой.

Открылась входная дверь. Вошел мальчик с буханкой хорошо выпеченного хлеба. Фокс остановил его:

— Сынок, мы тут разыскиваем одну женщину, ту, что *страшно* грохочет дверью, когда выходит из дому.

— А-а, *эту*! — обернулся мальчик, взбегая по лестнице. — Миссис Крик!

Фокс сжал руку Шоу:

— Боже праведный! Вот так совпадение!

— Мне что-то домой захотелось, — сказал Шоу.

— Да, действительно! — воскликнул Фокс, не веря своим глазам и постукивая тростью по списку жильцов в холле. —

Мистер и миссис Альберт Крик, квартира 331, наверху. Муженек у нее грузчик, этакий верзила, с работы приходит весь грязный, замызганный. Видел я их однажды в воскресенье. Она — тараторит без умолку, а он даже ухом не ведет. Даже не взглянет на нее. *Идем, Шоу.*

— Бессмысленно, — сказал Шоу. — Таким, как она, можно помочь только тогда, когда они сами этого хотят. Ты это знаешь, и я знаю. Она тебя просто растопчет, если ты окажешься у нее на дороге. Не делай глупостей.

— Но кто же тогда поговорит с ней? С такими, как она? Муж? Друзья? Бакалейщик, мясник? Они споют ей заупокойную! Разве они ей подскажут дорогу к психиатру? А сама она знает? Нет. А кто знает? Мы. И ты станешь скрывать от жертвы такую жизненно важную информацию?

Шоу снял свою намокшую шляпу и хмуро посмотрел внутрь.

— Как-то раз, давным-давно, на уроке биологии учитель спросил нас, могли ли бы мы скальпелем удалить нервную систему у лягушки, да так, чтобы не повредить. Вырезать всю эту тончайшую, подобную паутине систему со всеми ее мелкими узелками и узелочками, которых и не разглядеть толком. Это, конечно, невозможно. Нервная система выросла в плоть лягушки настолько, что ее не вытянуть. От лягушки ничего не останется. То же и с миссис Крик. Больной нервный узел не прооперируешь. В ее безумных слоновьих глазках одна желчь. С таким же успехом ты бы мог попытаться навсегда удалить у нее изо рта слюну. Как это ни прискорбно, но я думаю, мы зашли уже слишком далеко.

— Ты прав, — сказал Фокс серьезно. — Но моя цель всего лишь поставить предупредительный знак — «опасность». Заронить в ее подсознании зерно сомнения. Я хочу сказать ей: «Ты — жертва убийства. Ты ищешь место, где тебя прикончат». Я хочу посеять семя в надежде, что оно взойдет и расцветет. Есть еще слабая, хилая надежда на то, что она соберется с духом и пойдет-таки к психиатру!

— Слишком жарко сегодня для разговоров.

— Тем больше оснований действовать! При температуре девяносто два градуса по Фаренгейту совершается больше убийств, чем при какой-либо другой. Когда выше ста, жара мешает убийце двигаться. Ниже девяносто — достаточно прохладно, и у жертвы больше шансов уцелеть. Но на девяносто два градуса приходится самый пик раздражительности, человек выходит из себя буквально из-за любой мелочи. Мозг превращается в крысу, бегающую по раскаленному докрасна

лабиринту. Достаточно самого малого — взгляда, звука, прикосновения волоска, и — зверское убийство! *Зверское*. Какие страшные слова. Взгляни-ка на термометр. Восемьдесят девять градусов. Подползает к девяносто. Свербит и чешется — девяносто один. Пот градом — девяносто два. И это через каких-то один-два часа. Вот первый лестничный пролет. Будем переводить дух на каждой площадке. Итак, *вперед!*

Старики двигались в сумраке третьего этажа.

— Не нужно сверяться с номерами квартир, — сказал Фокс. — Давай угадаем, какая квартира ее.

За последней дверью тишину разорвало радио. От стены отрывались кусочки старой краски и бесшумно сыпались на потертый коврик, дверь сотрясалась вместе с косяком.

Приятеля переглянулись и мрачно кивнули друг другу.

И тут словно кто-то долбанул топором в стену — пронзительный женский голос кричал что-то в телефонную трубку кому-то на другом конце города.

— Зачем ей телефон, пусть откроет окно и орет себе.

Фокс постучал.

Радио доорало наконец свою песню, но крик женщины не умолкал. Фокс постучал снова, подергал дверную ручку. К его ужасу, она подалась под его пальцами, медленно поплыла внутрь и они оказались в положении застигнутых врасплох актеров, когда занавес поднимается раньше времени.

— О Боже! — вскричал Шоу.

На них обрушилась лавина звуков. Было такое ощущение, словно стоишь у плотины и открываешь шлюз. Старики машинально закрыли глаза руками, словно это был не шум, а ослепительный, режущий свет.

Женщина (это и в самом деле оказалась миссис Крик) стояла у настенного телефона и с невероятной скоростью разбрызгивала во все стороны слюну. Крупные белые зубы ее сияли. Монолог грохотал, раздувались ноздри, набухала, билась жилка на взмокшем лбу, свободная рука то сгибалась, то разгибалась. Плотно зажмурив глаза, женщина вопила:

— Передайте моему зятю, чтоб не показывался мне больше на глаза, лентяй чертов!

И вдруг, по подсказке какого-то животного инстинкта, миссис Крик широко открыла глаза. Она продолжала вопить в трубку и одновременно буравила их ледяным взглядом. Поорала еще с минуту, бросила трубку и, не переводя дыхания, процедила:

— Н-ну?

Старички сблизили плечи, словно ища защиты друг у друга. Их губы зашевелились.

— Громче! — гаркнула женщина.

— Не могли бы вы, — попросил Фокс, — сделать потише радио?

По движению его губ она уловила слово «радио». С обожженного солнцем лица на них все так же злобно смотрели ее глаза. Женщина хлопнула по приемнику. Так, не глядя, шлепают ребенка, орущего целыми днями напролет. Радио умолкло.

— Покупать я ничего не собираюсь!

Она разодрала пачку дешевеньких сигарет, как раздирают мясо, когда едят его с кости, достала сигарету, зажала ее напояженными губами, прикурила и жадно затянулась. Выпустила дым из тонких ноздрей, и вот уже перед ними огнедышащий дракон в наполненной клубами дыма комнате.

— У меня дел по горло. Выкладывайте, что у вас там!

Они огляделись: журналы разбросаны по линолеуму, словно крупные пестрые рыбины, поломанное кресло-качалка, рядом невымытая кофейная чашка, покосившиеся, захватанные абажуры, окна замызганы, стопка тарелок в раковине, в них капает вода из крана, в углах под потолком колыхается, словно мертвая кожица, паутина. А надо всем этим висит густой запах слишком долгой, слишком длинной, проведенной взаперти жизни.

Они посмотрели на стенной термометр: температура — девяносто градусов по Фаренгейту. Старички обменялись встревоженными взглядами.

— Меня зовут Фокс, а это мистер Шоу. Мы — отставные страховые агенты. Мы и теперь занимаемся еще страхованием для пополнения нашего пенсионного фонда. Но большую часть времени мы особенно ничем...

— Вы хотите мне страховой полис всучить! — Из сигаретного дыма высунулась голова миссис Крик.

— Нет, деньги тут ни при чем.

— Ну, дальше, — сказала она.

— Я даже не знаю, как начать. Можно присесть? — Фокс посмотрел по сторонам и пришел к выводу, что в комнате нет ничего, на что можно было бы сесть без опаски. — Ладно. — Он увидел, что она собирается снова наброситься на него с криком, и торопливо заговорил: — Мы вышли на пенсию после сорока лет работы: мы сопровождали человека от колыбели до кладбищенских ворот, если можно так выразиться. За это время мы сделали некоторые обобщения.

В прошлом году мы сидели как-то в парке, разговаривали и, сопоставив факты, пришли к такому выводу: многие из тех, кому на роду написано умереть молодыми, могли бы уцелеть. Если как следует изучить вопрос, страховые компании могли бы в виде дополнительных услуг предложить клиентам новую разновидность...

— Я ничем не болею,— перебила Фокса миссис Крик.

— В том-то и дело, что *болеете!* — воскликнул мистер Фокс и тут же с перепугу зажал себе рот рукой.

— И вы смеете говорить *мне*, больна я или нет!

Фокс ринулся вперед:

— Позвольте, я разъясню. Люди умирают каждый день. С точки зрения психологии, где-то в человеке скапливается усталость. И вот она-то пытается погубить его. Взять к примеру... — Он посмотрел по сторонам и заговорил о первом, что попало ему на глаза. — Ну, хотя бы эта лампочка. Она висит на перетертом шнуре, прямо над ванной. Однажды вы поскользнетесь, схватитесь за нее... и конец!

Миссис Альберт Джей Крик покосилась на лампочку в ванной.

— Ну и что с того?

— Люди,— продолжал мистер Фокс, увлеченный своей темой, в то время как мистер Шоу, не зная, куда ему деться, краснел, бледнел и бочком пробирался к двери, — они, как автомобили, им нужно проверять тормоза, эмоциональные тормоза, понимаете? Фары, аккумуляторы, свои взгляды на жизнь, свои ответные реакции...

— Вы потратили две минуты, а толком еще ни черта не сказали, — фыркнула миссис Крик.

Мистер Фокс взглянул сначала на нее, потом на безжалостно палящее солнце за пыльными окнами. По его лицу струился пот. Он улучил момент, чтобы посмотреть на стеной термометр.

— Девяносто один, — проговорил он.

— Что у вас на уме? — поинтересовалась миссис Крик.

— Прошу прощения. — Он как замороженный смотрел на раскаленный ртутный столбик, который полз вверх по тоненькой трубочке термометра на противоположной стене. — Порой... порой мы все сбиваемся с пути. Взять хотя бы выбор партнера по браку. Плохая работа. Денег в обрез. Болезни. Мигрени. Желёзки пошаливают. Уйма всяких мелких неприятностей. Но пока мы об этом догадаемся, мы обрушиваем все это на головы окружающих.

Она следила за его губами, словно он говорил на каком-нибудь иностранном языке; смотрела на него недобро, искаса, набычившись, склонив голову вперед, в ее пухлой руке тлела сигарета.

— Мы носимся взад-вперед, наживаем себе врагов. — Фокс сглотнул слюну и посмотрел мимо женщины. — Мы доводим людей до того, что им уже хочется, чтобы мы убрались куда-нибудь с глаз долой... заболели... умерли даже. Людям хочется ударить нас, врезать как следует, пристрелить. *Вы понимаете?*

Боже, до чего же тут жарко, думал он. Хоть бы одно окно было открыто. Хоть бы одно. Одно.

Глаза у миссис Крик раскрывались все шире и шире, словно для того, чтобы собрать в себя все сказанное.

— Есть люди, подверженные несчастным случаям, — это те, кто хочет наказать себя физически за какое-нибудь преступление, как правило, мелкий, безнравственный поступок, о котором, как им казалось, они давным-давно позабыли, выбросили из головы. Но подсознание толкает их в опасные переделки, заставляет быть беспечными, когда они переходят улицу, заставляет... — Он запнулся, и капля пота скатилась с его подбородка. — Заставляет их не обращать внимания на потертые шнуры лампочек над ванными... Эти люди — потенциальные жертвы. Они носят эту отметину на своих лицах, она как татуировка, только скорее с обратной стороны, чем снаружи. Убийца, встретив на улице человека, который навлекает на себя беду, заметит эти скрытые отметины, повернется и пойдет вслед за ним, сам не отдавая себе отчета, до ближайшей аллеи. Если повезет, пути потенциальной жертвы и потенциального убийцы не пересекутся и за пятьдесят лет. Но... однажды... роковое стечение обстоятельств! Эти несчастные, задевая самые неподходящие струнки душ и нервы прохожих, так и напрашиваются на убийство.

Миссис Крик медленно раздавила окурки в грязном блюде.

Фокс переложил трость из одной дрожащей руки в другую.

— И вот год назад мы решили поискать таких людей, нуждающихся в помощи. Ведь они даже не догадываются, что им нужна помощь. Им и во сне не придет в голову обратиться к врачу-психиатру. Сначала мы решили проверить свою догадку. Шоу был всегда против этого, только разве что ради времяпрепровождения, этаким разговор по душам. Вы, наверное, думаете, я спятил. Ну так вот, проверки продолжались целый год. Мы наблюдали за двумя мужчинами,

изучали их окружение, их работу, семейные дела, все — на почтительном расстоянии. Вы скажете, какое наше дело? Но оба они плохо кончили. Одного убили в баре. Другого выбросили из окна. А женщину, за которой мы наблюдали, переехал трамвай. Совпадение? А старик, который случайно отравился? Как-то ночью не включил свет в ванной. О чем он думал, что ему помешало включить свет? Что заставило его войти и выпить лекарство в темноте? А на следующий день он умер в больнице и, умирая, все твердил, что хочет жить и только жить. У нас достаточно доказательств, вполне достаточно. Целых два десятка. За короткий промежуток времени добрую половину из них унесла могила. Довольно проверять. Пора пустить в ход наши знания, чтобы не случилось беды. Настало время *работать* с людьми, пока с черного хода к ним не юркнул гробовщик.

Миссис Крик стояла так, словно он ударил ее чем-то тяжелым по голове.

Потом, едва шевеля своими расплывшимися губами, произнесла:

— И тогда вы пришли *сюда*?

— Ну...

— Вы за *мною* наблюдали?

— Мы только...

— Вы за *мною* следили?

— Чтобы...

— Вон отсюда! — крикнула женщина.

— Мы можем...

— Вон отсюда! — повторила она.

— Если вы только нас выслушаете...

— О-о, я так и *знал*, — прошептал Шоу, закрывая глаза.

— Вон отсюда, грязные старикашки! — орала миссис Крик.

— Деньги здесь ни при чем...

— Я вас вышвырну, вышвырну! — визжала она, сжимая кулаки и скрежеща зубами. Ее лицо окрасилось в непостижимый цвет. — Вы кто такие? Вы старые, дряхлые бабки, шпики, недоумки! — вопила она, срывая шляпу с мистера Фокса и выдирая из нее подкладку. — Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь! — Бросила шляпу на пол, раздавила каблук, пнула ногой. — Вон! Вон!

— О, но ведь мы вам *нужны*! — Фокс в отчаянии смотрел на свою шляпу, а тем временем женщина осыпала его самой отборной бранью. Не было таких слов, которые она постеснялась бы употребить. Она изрыгала громы, молнии, дым и винные пары.

— Вы кем себя возомнили? Вы что, Бог? Бог и Святой Дух, снисходящие до людей, вынюхивающие да высматривающие; ах вы, старые калоши, перечницы, хрычовки! Вы, вы... — Она сыпала и сыпала им на голову такие ругательства, что они, ошеломленные, попятились к двери. Она обзывала их самыми что ни на есть распоследними словами, затем умолкла, набрала полные легкие воздуха и обрушила на стариков новый поток помоев, еще более грязных и гнусных, чем предыдущие.

— Послушайте! — сказал Фокс с металлом в голосе. Шоу стоял за дверью и умолял своего друга выйти, все кончено, они это так себе и представляли, они оказались в дураках, они заслужили все эти ругательства. Боже, Боже, какой позор!

— Старая дева! — орала миссис Крик.

— Я бы попросил вас выбирать выражения!

— Старая дева, старая дева!

Это почему-то оказалось страшнее всех действительно страшных ругательств.

Фокс пошатнулся, у него отвисла челюсть. Потом захлопулась. Потом снова отвисла.

— Старуха! — вопила миссис Крик, не унимаясь. — Старуха, старуха, старуха!

Он стоял посреди выжженных желтых джунглей. Комната потонула в огне, сдавила его, мебель сдвинулась с места и пустилась в пляс, солнце било сквозь задраенные окна, обжигающая пыль взлетала с ковра колючими искрами, стоило только прожужжать какой-нибудь мухе и описать в воздухе спираль. Рот миссис Крик, ее зловеще красные губы наполняли воздух непристойностями, копившимися всю долгую жизнь, а термометр на стене показывал девяносто два градуса. Фокс еще раз взглянул на термометр — девяносто два. А женщина визжала, как колеса поезда, снимающие с рельс стружку на повороте. Ее визг напоминал скрежет ногтей по классной доске, скрип железа по мрамору.

— Старая дева! Старая дева! Старая дева!

Фокс отвел руку с зажатой в ней тростью за спину и ударил.

— Не-ет! — закричал откуда-то сзади Шоу.

Женщина поскользнулась и упала на бок, пытаясь упереться руками в пол, издавая нечленораздельные звуки. Над ней стоял Фокс с явным недоумением на лице. Он смотрел на свое плечо, запястье, руку и пальцы, сквозь окутавшую его раскаленную завесу из дымчатого хрусталя. Он смотрел на трость, словно это был какой-то невероятный восклица-

тельный знак, который появился неизвестно откуда зримо и явственно, прямо посреди комнаты. Его рот так и остался открытым, тлеющими искорками оседала и гасла пыль. Он почувствовал, как от его лица отхлынула кровь, словно у него в желудке распахнулась настежь маленькая дверца.

— Я...

На губах миссис Крик выступила пена.

Она ползала на четвереньках, а члены ее тела, казалось, оторвались от туловища и превратились в независимых существ. Ее ноги, руки, голова вели себя как отрубленные части какого-то животного, жаждущего вновь стать самим собой, но тщетно ищущего пути к желанному восстановлению. Грязные слова все еще извергались из ее рта, хотя теперь они и на слова-то не были похожи. Фокс смотрел на женщину и никак не мог прийти в себя. До сегодняшнего дня она разбрызгивала свой яд налево и направо. Теперь же он вызвал на себя поток, который скапливался годами и должен был утопить его. Фокс почувствовал, что кто-то тащит его за воротник. Вот проплывает мимо дверной проем. Он услышал, как трость выпала у него из рук, загремела по полу, и отчего-то ему вдруг почудилось, что его ужалила страшная оса-невидимка. Но вот он выбрался из комнаты, шагая как автомат, начал спускаться по лестничным маршам разогретого дома, мимо опаленных стен. Сверху на него гильотиной обрушилось:

— Вон! Вон! *Вон!*

Звуки затихли, словно вопль человека, сброшенного в черноту колодца.

На нижней ступеньке последнего лестничного пролета, уже у выхода из подъезда Фокс высвободился из-под опеки своего друга и надолго привалился к стене, его глаза увлажнились, единственное, на что он еще был способен, оказался стон. В это время его пальцы шарили в пустоте в поисках оброненной трости. Не найдя ее, он провел ладонью по голове, коснулся мокрых век и с удивлением опустил трясущиеся руки. Старики уселись на нижнюю ступеньку и просидели минут десять в молчании, приходя в себя с каждым вдохом, который давался не так-то легко. Мистер Фокс наконец поднял глаза на мистера Шоу, который уставился на него в испуге и изумлении.

— Ты *видел*, что я наделал? Да-а, еще бы чуть-чуть и... — Фокс покачал головой. — Какой же я дурак. Бедная, бедная женщина. Она была права.

— Ничего не поделаешь.

— Теперь я убедился в этом. Надо ж было такому случиться.

— Ну-ка, дай я тебе вытру лицо. Так-то лучше.

— Ты думаешь, она пожалуется на нас мистеру Крику?

— Нет, нет.

— А не попробовать ли нам...

— Поговорить с *ним*?

Поразмыслив над этим, они лишь покачали головами. Распахнулась входная дверь, с улицы пахнуло жаром, как из печки. И тут их чуть не сбил с ног какой-то здоровенный детина.

— Смотреть надо, куда прете! — рявкнул он.

Они обернулись и поглядели ему вслед. Он шагал тяжелой поступью в раскаленной тьме, поднимаясь через одну ступеньку. Это было чудовище с ребрами мастодонта, буйной львиной гривой, огромными мясистыми ручищами; до тошноты волосатый, до боли обожженный солнцем. Они увидели его лицо лишь на мгновение, когда он расталкивал их своими плечами; то было лоснящееся от пота, облупившееся под солнцем свиное рыло, пот капельками выступил под красными глазами, капал с подбородка, покрывая разводами майку от подмышек до пояса.

Они осторожно прикрыли входную дверь.

— Это он, — сказал мистер Фокс, — ее муж.

Они стояли в маленьком магазинчике напротив дома, где жила миссис Крик. Было половина шестого, солнце закатывалось, тени под редкими деревьями на аллеях окрасились в цвет спелых гроздьев винограда.

— Что это висело у него из заднего кармана?

— Крюк. Грузчики такими пользуются. Стальной. Острый, тяжелый. Вроде тех, что когда-то носили однорукие инвалиды вместо протеза.

— Сколько градусов? — спросил мистер Фокс спустя минуту.

— Здесь, в магазине, термометр все еще показывает девяносто два. Тютелька в тютельку.

Фокс сидел на ящике, едва удерживая в руках бутылку апельсинового сока.

— Надо открыть, — проговорил он. — Да. Никогда в жизни мне так не хотелось апельсинового сока, как сейчас.

Они продолжали сидеть в этой топке и, глядя вверх на одно из окон противоположного дома, терпеливо ждали, ждали...

КРОШКА-УБИЙЦА

Трудно сказать, когда она поняла, что ее убивают. В последний месяц внутри ее подобно приливу накатывало нечто неуловимое, чуть заметное: будто смотришь на абсолютно спокойную гладь тропических вод, хочешь искупаться и, наконец окунувшись, обнаруживаешь, что как раз под тобой обитают чудовища: невидимые твари, жирные, многолапые, с острыми плавниками, злобные и неотвратимые.

В комнате вокруг нее была ключом истерия. Парили острые инструменты, звучали голоса, мелькали люди в белых халатах.

Как меня зовут, подумала она.

Алиса Лейбер. Она вспомнила. Жена Дэйвида Лейбера. Но спокойнее от этого не стало. Она была наедине с этими тихими, шепчущимися белыми людьми, а ее переполняли нестерпимая боль, тошнота и страх смерти.

Меня убивают у них на глазах. Эти врачи, эти медсестры не представляют, что таится внутри меня. Дэйвид не знает. Никто не знает, кроме меня и... убийцы, маленького душегуба, крохотного палача.

Я умираю, а сказать им сейчас об этом не могу. Они засмеются и назовут меня сумасшедшей. Они увидят убийцу, возьмут его на руки, им и в голову не придет, что он повинен в моей смерти. Вот она я, умираю перед лицом Господа и человека, и нет никого, кто поверил бы мне, все будут смотреть на меня с недоверием, утешать ложью, похоронят, ни о чем не подозревая, оплачат и спасут моего губителя.

Где Дэйвид, задумалась она. В комнате ожидания, курит одну сигарету за другой, прислушиваясь к долгому тиканью столь медленных часов?

Из всех ее пор извергся пот, и тут же раздался агонизирующий крик. Ну! Ну! Попробуй убей меня, кричала она. Старайся, старайся, а я не умру! Не умру!

Пустота. Вакуум. Внезапно боль отпустила. Нахлынули усталость и сумрак. Все кончилось. О Господи! Она стала погружаться в черное небытие, которое уступило место небытию и небытию, а за ними следующему и следующему...

Шаги. Легкие приближающиеся шаги.

Голос вдали произнес: «Она спит. Не тревожь ее».

Запах твида, трубки, неизменного лосьона после бритья. Дэйвид стоял рядом. И чуть поодаль безукоризненный запах доктора Джефферса.

Она не стала открывать глаза. «Я не сплю», — тихо сказала она. Какой сюрприз, облегчение, что можешь говорить, жить.

— Алиса, — сказал кто-то, взяв ее усталые руки. То был Дэйвид.

Хочешь познакомиться с убийцей, Дэйвид, подумала она. Я слышу, как твой голос просит разрешения посмотреть на него, значит, мне ничего не остается, как показать тебе его.

Дэйвид стоял над ней. Она открыла глаза. Комната стала в фокусе. Шевельнув ослабевшей рукой, она откинула одеяло.

Убийца взглянул на Дэйвида с крошечным, краснолицым, голубоглазым спокойствием. Его глубокие глаза сверкали.

— Ах! — воскликнул Дэйвид Лейбер. — Какой *красивый* ребенок!

Когда Дэйвид Лейбер приехал забирать домой жену и новорожденного, его ждал доктор Джефферс. Он жестом предложил Лейберу сесть, угостил сигарой, сам закурил, присел на край стола, долго серьезно попыхивал. Потом откашлялся, взглянул Дэйвиду прямо в глаза и сказал:

— Твоя жена не любит своего ребенка, Дэйв.

— Что?!

— Ей пришлось нелегко. Твоя любовь ей очень понадобится в ближайшее время. Я тогда не все тебе сказал, в операционной у нее была истерика. То, что она говорила, — невероятно. Не стану повторять. Скажу главное: она чувствует себя чужой ребенку. Так вот, может, все очень просто, и один-два вопроса все разъяснят. — Он пососал сигару, потом сказал: — Этот ребенок — «желанный» ребенок, Дэйв?

— Почему ты спрашиваешь?

— Это важно.

— Да. Да, это «желанный» ребенок. Мы оба хотели его. Алиса была так счастлива год назад, когда...

— Гм... Тогда сложнее. Потому что если ребенок незапланированный, то подобные вещи объясняются тем, что женщине вообще ненавистна мысль о материнстве. К Алисе же это не подходит. — Доктор Джефферс вынул сигару изо рта, поскреб подбородок. — Тогда что-нибудь еще. Возможно, что-то случилось в детстве, а проявляется теперь. А может, это временно! Сомнение и страх бывают у всякой матери, испытывавшей сильные большие муки и близость смерти, подобно Алисе. Если это так, то время залечит. Все-таки я считал, что должен рассказать тебе об этом, Дэйв. Тебе это поможет быть мягким и терпеливым с ней, если она скажет что-нибудь о... ну... о том, что лучше бы ребенок не родился. И если дела будут идти не очень гладко, заходите ко мне, втроем. Я всегда рад встретиться со старыми друзьями, ладно? Слушай, выкури еще сигару за... э... за ребенка.

Был яркий весенний день. Автомобиль жужжал по широкому, окаймленным деревьями бульварам. Синее небо, цветы, теплый ветер. Дэйв говорил, закурил сигару, опять говорил. Алиса отвечала сразу, спокойно, все более расслабляясь. Но она держала ребенка не настолько крепко, не настолько тепло и не настолько по-матерински, чтобы рассеять подозрение, засевшее у Дэйва в мозгах. Казалось, она держит фарфоровую куколку.

— Ну, — сказал он наконец, улыбаясь. — Как мы его назовем?

Алиса Лейбер провожала взглядом зеленые деревья, пронесившиеся мимо.

— Давай не будем сейчас это решать. Лучше подождем, пока не придумаем какое-нибудь необычное имя. Не дыми ему в лицо.

Она произносила фразу за фразой, не меняя тона. Последнее замечание не содержало в себе ни материнского укора, ни интереса, ни раздражения. Она лишь проговорила его, и оно было сказано.

Муж, смутившись, выбросил сигару из окна.

— Прости, — сказал он.

Ребенок покоился в объятиях материнских рук, тени от солнца и деревьев бежали по его лицу. Он раскрыл голубые глаза, подобные свежим голубым весенним цветам. Из его крошечного, розового, упругого ротика исторглись влажные звуки.

Алиса мельком взглянула на ребенка. Ее муж почувствовал, как она вздрогнула у него за спиной.

— Холодно? — спросил он.

— Знобит. Лучше закрой окно, Дэйвид.

Непохоже на озноб. Он медленно поднял стекло.

Ужин.

Дэйв принес малыша из детской, устроил его на новом высоком стульчике, беспорядочно и уютно обложив подушками.

Алиса следила, как двигается ее нож и вилка.

— Он еще не дорос до высокого стула, — сказала она.

— Как-то смешно, что он есть, — сказал Дэйв. Ему было хорошо. — Все смешно. И на работе. Заказов по горло. Если не прослежу, заработаю еще пятнадцать тысяч в этом году. Эй, посмотри-ка на отпрыска! Обслуживал себе весь подбородок! — Он потянулся, чтобы вытереть салфеткой ребенку рот. Краем глаза он заметил, что Алиса даже не взглянула. — Понятно, что это не очень-то интересно, — сказал он, принявшись снова за еду. — Но вообще-то можно предположить, что мать проявит хоть какой-то интерес к собственному ребенку!

Алиса резко подняла голову:

— Не разговаривай таким тоном! Не при нем! Потом, если тебе это необходимо.

— Потом? — закричал он. — При нем, не при нем, какая разница? — Тут он сдержался, почувствовав себя виноватым. — Ну ладно. Не буду. Я понимаю, каково тебе.

После ужина она позволила ему отнести ребенка наверх. Она не попросила его это сделать; она просто *дозволила*.

Спустившись вниз, он увидел, что она стоит у радио и слушает музыку, не слыша ее. Закрыв глаза, она, казалось, о чем-то спрашивала себя, чему-то удивлялась. Когда он вошел, она вздрогнула.

Неожиданно она оказалась рядом, быстро обняла его, нежно, как прежде. Ее губы нашли губы Дэйва, не отпускали. Он был ошеломлен. Теперь, когда ребенок исчез из комнаты и был наверху, она снова стала дышать, снова жить. Она чувствовала себя свободной. Стала шептать торопливо, бесконечно.

— Спасибо, спасибо, дорогой. За то, что ты всегда такой, какой есть. Надежный, такой надежный!

Он принужденно засмеялся:

— Мой отец говорил мне: «Сын, обеспечь свою семью!»

Она устало опустила голову, темными блестящими волосами касаясь его груди.

— Ты совершил гораздо больше. Порой мне хочется жить так, как когда мы только поженились. Никакой ответственности. Никого, кроме нас. Никаких... никаких детей.

Она сжала его руки, лицо ее было сверхъестественно бледным.

— Ах, Дэйв, когда-то были только ты и я. Мы охраняли друг друга, теперь мы охраняем ребенка, но мы ничем от него не защищены. Ты понимаешь? В больнице у меня хватило времени, чтобы поразмыслить. Мир жестокий...

— Разве?

— Да. Жестокий. Но от него нас охраняют законы. А когда нет законов, хранит любовь. Моя любовь хранит тебя от моих же оскорблений. Для меня ты более уязвим, чем для других, но любовь — твоя защита. Я не боюсь тебя, потому что любовь смягчает твой гнев, неестественные инстинкты, ненависть и незрелость. Ну... а ребенок? Он слишком мал, чтобы понимать, что такое любовь, или ее законы, или что-либо иное, пока мы не научим его. И в свой черед не станем уязвимыми для него.

— Уязвимыми для ребенка? — Он отодвинул ее и тихо засмеялся.

— Знает ли ребенок, что хорошо, а что плохо? — спросила она.

— Нет. Но он узнает.

— Но ребенок так мал, так аморален, так бессознателен. — Она замолчала. Высвободив руки, она резко повернулась: — Какой-то звук? Что это?

Лейбер оглядел комнату:

— Я не слышал...

Она пристально глядела на дверь библиотеки.

— Вон там, — медленно сказала она.

Лейбер подошел к двери, открыл ее и включил в библиотеке свет.

— Ничего. — Он вернулся к ней. — Ты устала. Пошли спать... прямо сейчас.

Погасив свет, молча они медленно поднялись по бесшумной лестнице холла. Наверху Алиса извинилась:

— Я столько ерунды наговорила, дорогой. Прости меня. Я очень устала.

Он понял и так и сказал.

У двери детской она нерешительно остановилась. Резко повернула медную ручку и вошла внутрь. Он наблюдал, как

она очень осторожно подошла к колыбели, заглянула туда и застыла, будто получила удар в лицо.

— Дэйвид!

Лейбер шагнул вперед и подошел к колыбели.

У ребенка было ярко-красное и очень мокрое лицо; его крошечный розовый ротик открывался и закрывался, открывался и закрывался; глаза пламенели синевой. Руками он хватал воздух.

— Ой! — сказал Дэйв. — Он только что плакал.

— Разве? — Алиса Лейбер вцепилась в перила кровати, стараясь удержаться. — Я не слышала.

— Дверь была закрыта.

— И поэтому он так тяжело дышит, поэтому у него такое красное лицо?

— Ну да. Бедный малыш. Плакал в темноте совсем один. Пусть сегодня он поспит в нашей комнате — вдруг заплачет.

— Ты его избалуешь, — сказала жена.

Лейбер чувствовал на себе ее взгляд, когда катил кроватку в спальню. Он молча разделся, сел на край кровати. Вдруг поднял голову, тихо выругался и щелкнул пальцами.

— Проклятие! Совсем забыл тебе сказать. В пятницу мне необходимо лететь в Чикаго.

— Ах, Дэйвид. — Ее голос затерялся в комнате.

— Я отложил эту поездку на два месяца, и теперь настал критический момент. Я просто *обязан* ехать.

— Я боюсь оставаться одна.

— В пятницу к нам приедет новая кухарка. Она все время будет здесь. Через несколько дней я вернусь.

— Я боюсь. Не знаю чего. Ты мне не поверишь, если скажу. Я, кажется, схожу с ума.

Он уже лежал в кровати. Она выключила свет; было слышно, как она обошла кровать, откинула одеяло, скользнула внутрь. Он ощутил вблизи теплый женский запах. Он сказал:

— Если хочешь, может, мне удастся задержаться на несколько дней...

— Нет, — неуверенно ответила она. — Поезжай. Я знаю, это важно. Просто я все время думаю о том, что я тебе говорила. Законы, любовь и защита. Любовь защищает тебя от меня. Но ребенок... — Она вздохнула. — Чем ты защищен от ребенка, Дэйвид?

Прежде чем он успел ей ответить, объяснить, что глупо так рассуждать о младенцах, она неожиданно зажгла лампу около кровати.

— Смотри, — указала она.

Ребенок в кроватке не спал, а глубоким, пронзительным синим взглядом смотрел прямо на него.

Снова погас свет. Она дрожала рядом с ним.

— Нехорошо страшиться того, что породил. — Ее шепот понизился, стал резким, полным ненависти, быстрым. — Он хотел меня убить! Лежит здесь, подслушивает, ждет, когда ты уедешь, чтобы опять попытаться уничтожить меня! Я в этом уверена! — Она стала всхлипывать.

Долго она плакала в темноте. Успокоилась очень поздно. Дыхание ее стало тихим, теплым, размеренным, тело вздрогнуло от усталости, и она заснула.

Он задремал.

И прежде чем веки его тяжело сомкнулись, погружая его во все более и более глубокий сон, он услышал в комнате странный негромкий звук сознания и бодрствования.

Звук крошечных, влажных, упругих губ.

Малютка.

А потом... сон.

Утром сияло солнце. Алиса улыбалась.

Дэйвид Лейбер размахивал часами над кроваткой. «Смотри, малыш! Как блестит. Как красиво. Гляди. Гляди. Как блестит. Как красиво».

Алиса улыбалась. Она сказала, чтобы он уезжал, летел в Чикаго, она будет очень смелой, беспокоиться нечего. Она присмотрит за ребенком. Она станет заботиться о нем, все в порядке.

Самолет летел на восток. Небо, солнце, облака и Чикаго на горизонте. Дэйва затянуло гонкой заказов, планов, банкетов, телефонных переговоров, споров на заседаниях. Но каждый день он писал письма и слал телеграммы Алисе и малышу.

Вечером, на шестой день вдаль от дома, раздался междугородный звонок. Лос-Анджелес.

— Алиса?

— Нет, Дэйв. Это Джефферс.

— Доктор!

— Держи себя в руках, сынок. Алиса заболела. Будет лучше, если ближайшим рейсом ты возвратишься домой. Воспаление легких. Я сделаю все возможное, старина. Если бы не сразу после родов. Ей нужны силы.

Лейбер положил трубку. Он встал, не чувствуя ни ног под собой, ни рук, ни тела. Гостиничный номер поплыл и стал распадаться на куски.

— Алиса, — сказал он и слепо ткнулся в дверь.

...Пропеллеры вращались, вертелись, кружились, встали; время и пространство остались позади. Дверная ручка сама повернулась в его руке, пол под ногами обрел реальность, вокруг струились стены спальни, освещенный закатным солнцем, стоял спиной к окну доктор Джефферс. Алиса лежала в постели, словно вылепленная из густого снега, и ждала. Джефферс все говорил и говорил, спокойно, не умолкая, при свете лампы мягко тек и бесцветно журчал голос, то понижаясь, то повышаясь.

— Твоя жена чересчур прекрасная мать, Дэйв. Ее больше тревожил ребенок, чем она сама...

Внезапно бледное лицо Алисы исказила гримаса, которая тут же исчезла, не успев закрепиться. Потом медленно, чуть улыбаясь, она начала говорить и говорила то, что обычно говорят матери: о том о сем, о каждой детали — поминутный отчет матери, сосредоточенной на миниатюрной жизни в кукольном домике. Но она не останавливалась — пружина была туго заведена, — и к ее тону прибавились гнев, страх и легкое отвращение, что не изменило выражения лица доктора Джефферса, но заставило сердце Дэйва обратить внимание на ритм этого монолога, который все учащался и конца ему не было.

— Ребенок не спал. Я думала, что он заболел. Он просто лежал в кровати и смотрел, а по ночам плакал. Он плакал и плакал, очень громко, все ночи подряд. Я не могла успокоить его и не спала.

Доктор Джефферс медленно-медленно покачал головой:

— От переутомления подхватила воспаление легких. Но теперь она напичкана лекарствами и уже выкарабкивается из этой паршивой болезни.

Дэйвид почувствовал себя больным.

— Малыш, как малыш?

— В добром здравии. Важная персона!

— Спасибо, доктор.

Доктор вышел, спустился вниз по лестнице, открыл тихонько входную дверь и удалился.

— Дэйвид!

Он повернулся на ее перепуганный шепот.

— Снова этот ребенок. — Она стиснула ему руку. — Я лежала и внушала себе, что я дура, но ребенок знал, что я ослабла после болезни, и кричал без конца каждую ночь, а когда не плакал, то наступала такая тишина, что мне стано-

вилось страшно. Я знала, что, как только включу свет, он будет сверлить меня взглядом!

Дэйвид почувствовал, что его тело сжалось, словно кулак. Он вспомнил, как он видел, чувствовал, что ребенок не спит в темноте, не спит поздно ночью, когда детишки должны спать. Не спал, а лежал молча, как будто думал, и не плакал, а наблюдал из своей кровати. Он отбросил эту мысль. Безумие.

Алиса продолжала:

— Я хотела убить ребенка. Да, хотела. Через день после твоего отъезда я пришла к нему в комнату и взяла его за горло и долго так стояла, размышляя, боясь. Потом я натянула ему на голову простыню, перевернула его лицом вниз и прижала, потом выбежала из комнаты, оставив его в таком положении.

Он попытался остановить ее.

— Нет, дай я доскажу до конца, — хрипло сказала она, уставившись в стену. — Когда я вышла из комнаты, я подумала: «Как просто. Дети задыхаются каждый день. Никто и не узнает». Но когда я вернулась взглянуть на него мертвого, Дэйвид, он был жив! Да, жив, перевернулся на спину, живой, смеющийся и дышащий. После этого я не могла к нему прикоснуться. Я бросила его там и не возвращалась ни покормить, ни взглянуть, ни зачем-либо еще. Может быть, за ним смотрела кухарка. Не знаю. Одно я знаю: от его плача я не спала, и все ночи думала и ходила по комнатам, и вот заболела. — Она была уже на пределе. — Ребенок лежит там и придумывает, каким способом меня убить. Простейшим способом. Потому что ему известно, что я слишком много знаю о нем. Я не люблю его, мы не защищены друг от друга и никогда не будем.

Она замолчала. Выговорившись, она наконец уснула. Дэйвид Лейбер долго стоял над ней не в состоянии пошевелиться. Кровь застыла в его жилах, ни одна клеточка не шевельнулась в нем, нигде, нигде.

Наутро ему оставалось лишь одно. Что он и сделал. Он пошел к доктору Джефферсу и, рассказав ему все, выслушал терпеливые советы Джефферса.

— Давай во всем разберемся не спеша, сынок. Бывает, что матери ненавидят своих детей. У нас существует для этого специальный термин — амбиваленсия. Способность любить и ненавидеть одновременно. Любовники часто ненавидят друг друга. Дети чувствуют отвращение к своим матерям...

Лейбер перебил:

— Я никогда не ненавидел свою мать.

— Естественно, ты никогда в этом сам себе не признаешься. Людей не радует осознание того, что они ненавидят своих близких.

— Значит, Алиса ненавидит ребенка.

— Скажем так: у нее навязчивая идея. Это больше чем обычная амбиваленсия. Кесарево сечение вызволило дитя на свет и чуть не лишило Алису жизни. Она винит ребенка в том, что чуть не умерла и заболела воспалением легких. Она проецирует свои несчастья, обвиняя находящийся под рукой объект и выдавая его за источник бед. Мы *все* так поступаем. Мы натываемся на стул и проклинаем мебель, а не собственную неуклюжесть. Мы промахиваемся, играя в гольф, и ругаем траву, либо битую, либо мяч. Если наше дело кончается крахом, то виноваты боги, погода, фортуна. Я могу лишь повторить то, что уже говорил. Люби ее. Лучшее лекарство на свете. Найди способ, как показать ей свою привязанность, защити ее. Придумай, как показать ей, что ребенок безопасен и невинен. Сделай так, чтобы она почувствовала, что он стоил того риска. Немного погодя она успокоится, перестанет думать о смерти и полюбит ребенка. Если примерно через месяц она не придет в себя, обратись ко мне. Теперь ступай и не смотри такими глазами.

Наступило лето, стало легче, казалось, что все пришло в норму. Дэйв работал, целиком погрузившись в дела конторы, но при этом уделял много времени и жене. Она, в свою очередь, долго гуляла, набиралась сил, иногда играла в бадминтон. Она больше не срывалась. Казалось, она избавилась от своих страхов.

Лишь однажды в полночь, когда летний ветер внезапно пролетел вокруг дома, теплый и мягкий, встряхнув деревья, словно множество блестящих тамбуринов, Алиса проснулась, дрожа, и скользнула в объятия мужа, чтобы он успокоил ее и спросил, что случилось.

Она ответила: «Здесь кто-то есть, следит за нами».

Он зажег свет. «Опять эти сны, — сказал он. — Правда, тебе уже лучше. Ты давно не тревожилась».

Она вздохнула, когда он щелкнул выключателем, и вдруг заснула. Обнимая ее, он около получаса размышлял о том, какая она милая и непредсказуемая.

Вдруг он услышал, как дверь спальни приоткрылась на несколько дюймов.

За дверью никого не было. И она не могла открыться сама. Ветер стих.

Он ждал. Прошел час, как ему показалось, а он все тихо лежал в темноте.

Затем далеко, завывая подобно крошечному метеориту, затухающему в безбрежной чернильной бездне космоса, заплакал ребенок в детской.

Маленький одинокий звук среди мириад звезд, и тьма, и дыхание женщины в его руках, и ветер, снова зашелестевший среди деревьев.

Лейбер медленно сосчитал до ста. Плач продолжался.

Осторожно высвободившись из рук Алисы, он соскользнул с кровати, надел тапочки, халат и тихо двинулся по комнате.

Надо спуститься вниз, согреть молока, подумал он, подняться наверх и...

Тьма полетела из-под него. Его нога подвернулась и провалилась. Подвернулась на чем-то мягком. Провалилась в ничто.

Он выбросил руки и судорожно вцепился в перила. Тело прекратило полет. Он удержался. Он выругался. «Что-то мягкое», обо что он споткнулся, прошуршало и шлепнулось несколькими ступеньками ниже. Голова гудела. Сердце, разбухая и сжимаясь от боли, молотком стучало в груди.

Почему неаккуратные люди разбрасывают все по дому? Он осторожно нащупал пальцами предмет, из-за которого он чуть не нырнул с лестницы вниз головой.

Рука его застыла в изумлении. Дыхание замерло. Сердце пропустило один-два толчка.

Вещь, которую он держал в руке, была игрушкой. Большая неуклюжая тряпичная кукла, которую он купил для смеха...

Малышу.

На следующий день Алиса повезла его на работу.

На полпути к центру она замедлила ход и остановилась у обочины. Потом повернулась к мужу:

— Я хочу уехать на время, отдохнуть. Если ты не можешь отправиться со мной, то можно, я поеду одна, дорогой? Мы наверняка найдем кого-нибудь присмотреть за ребенком. Мне необходимо уехать. Я думала, что больше не испытываю это... это чувство. Но оказалось, что это не так. Я не в состоянии находиться с ним вместе. Он так глядит на меня, будто тоже ненавидит меня. Мне трудно это объяснить; одно лишь знаю — я хочу уехать, пока что-нибудь не произошло.

Он вылез из машины, подошел к дверце с ее стороны и, сделав ей знак подвинуться, сам сел за руль.

— Все, что ты сделаешь, — это обратишься к психиатру. И если он предложит тебе отдохнуть, ну что ж, пожалуйста. Только дальше так продолжаться не может, мое терпение лопнуло. — Он включил зажигание. — Теперь я поведу.

Она опустила голову, стараясь сдержать слезы. Когда они подъехали к зданию его конторы, она подняла голову:

— Хорошо. Запиши меня на прием. Я проконсультируюсь с кем ты захочешь, Дэйвид.

Он поцеловал ее.

— Вот теперь вы рассуждаете разумно, леди. Сможешь доехать до дома сама?

— Конечно, глупыш.

— Тогда до ужина. Веди осторожно.

— А разве я так и не делаю? Пока.

Он стоял у обочины, глядя, как она отъезжает, ветер трепал ее длинные темные, блестящие волосы. Минуту спустя, поднявшись наверх, он позвонил Джефферсу и договорился о приеме у надежного невропатолога.

Весь день его не покидало чувство тревоги. Перед глазами возникала пелена, в которой потерявшаяся Алиса все звала его по имени. Настолько ее страх передался ему. Он почти поверил, что в чем-то ребенок не такой, как все.

Он продиктовал несколько длинных скучных писем. Проверил несколько деловых бумаг. Надо было задавать сотрудникам вопросы, следить за тем, чтобы они работали. К концу дня он был измочален, в голове стучало, и он был рад, что можно ехать домой.

Спускаясь на лифте вниз, он размышлял: «А может, рассказать Алисе об игрушке... тряпичной кукле... о которую он споткнулся ночью на лестнице? Господи, а вдруг от *этого* ей станет хуже? Нет, никогда не расскажу. В конце концов случайность есть случайность».

Было еще светло, когда он возвращался домой на такси. Подъехав к дому, он расплатился с шофером и медленно пошел по зацементированной дорожке, наслаждаясь светом, все еще озарявшим небо и деревья. Белый фасад дома выглядел неестественно тихим и необитаемым, и тут, отрешенно, он вспомнил, что сегодня четверг и что прислуга, которую они позволяли себе нанимать время от времени, сегодня отсутствовала.

Он глубоко вдохнул воздух. Птица пела за домом. На бульваре шумели машины. Он повернул ключ в двери. Смазанная ручка тихо повернулась под его пальцами.

Дверь открылась. Он вошел, положил на стул шляпу и портфель, стал стягивать пальто и взглянул вверх. Сквозь окошко в холле у потолка струился по лестнице луч заходящего солнца. Он освещал яркое пятно — тряпичную куклу, валявшуюся около нижней ступеньки.

Но он не обратил внимания на игрушку.

Он лишь стоял и смотрел, не двигаясь, и все смотрел и смотрел на Алису.

Нелепо согнувшись, мертвенно-бледная, Алиса лежала внизу у лестницы подобно измятой кукле, которая больше никогда не захочет играть.

Алиса была мертва.

В доме стояла тишина, слышен был лишь стук его сердца.

Она была мертва.

Он приподнял ее голову, коснулся пальцев. Обнял ее. Но жить она больше не будет. Даже не попытается. Он позвал ее по имени, громко, несколько раз; прижимая ее к себе, он старался вновь и вновь одарить ее теплом, которого она лишилась, но это не помогало.

Он встал. Кажется, позвонил по телефону. Внезапно он оказался наверху. Открыл дверь в детскую, вошел и тупо посмотрел на колыбельку. Болел живот. Плохо было видно.

Ребенок лежал, закрыв глаза, с красным, мокрым от пота лицом, словно он долго и громко кричал.

— Она умерла, — сказал Лейбер ребенку. — Она умерла.

И он стал смеяться тихо, медленно, бесконечно, до тех пор пока из ночи не вышел доктор Джефферс и не стал бить его по щекам.

— Прекрати! Возьми себя в руки!

— Она упала с лестницы, доктор. Она поскользнулась о тряпичную куклу и упала. Я сам чуть не упал из-за нее ночью. А теперь...

Доктор встряхнул его.

— Док, док, док, — бормотал Дэйв. — Вот смешно. Смешно-то. Я... Я, наконец, придумал имя ребенку.

Доктор ничего не ответил.

Лейбер опустил голову на дрожащие руки и произнес:

— В воскресенье я окрещу его. Знаешь, как я его назову? Я назову его Люцифер.

Одиннадцать вечера. Явились незнакомые люди, прошли по дому и забрали его неотъемлемое тепло — Алису.

Дэйвид Лейбер с доктором сидели в библиотеке.

— Алиса была не сумасшедшая, — медленно сказал Дэйвид. — У нее хватало причин бояться ребенка.

Джефферс вздохнул:

— Не иди по ее стопам! Она винила ребенка в своей болезни, теперь ты обвиняешь его в том, что она умерла. Не забывай, что она споткнулась об игрушку. Ребенок не виноват.

— Ты говоришь о Люцифере?

— Прекрати его так называть!

Лейбер покачал головой:

— Алиса слышала по ночам какой-то шум в коридоре. Хочешь знать, кто это шумел, доктор? Ребенок. Четырех месяцев от роду, ползал в темноте и подслушивал. Слышал каждое наше слово! — Он вцепился в подлокотники кресла. — А когда я включал свет — он ведь такой маленький. Он мог спрятаться за мебелью, за дверью, прижаться к стене... так что его не было видно.

— Перестань! — сказал Джефферс.

— Дай мне высказаться, а то я сойду с ума. Когда я был в Чикаго, кто не давал Алисе спать и измучил ее до того, что она заболела воспалением легких? Ребенок! Но Алиса не умерла, и он попытался убить меня. Это же так просто: ночью бросить на лестнице игрушку, а потом долго кричать, пока твой папа не пойдет вниз согреть молока и не подскользнется. Жестокий прием, но эффективный. Со мной не вышло. Алиса погибла.

Дэйвид Лейбер замолчал, чтобы закурить сигарету.

— Я должен был понять. Сколько раз я включал свет среди ночи, а ребенок лежал широко раскрыв глаза. Почти все дети спят по ночам. Но не этот. Он бодрствовал и думал.

— Маленькие дети не думают.

— Ну хорошо, он бодрствовал и вытворял своими мозгами что мог. Что мы знаем об уме ребенка? У него было полно причин ненавидеть Алису: она подозревала его в том, что он есть на самом деле — ребенок, явно непохожий на других. Какой-то не такой. Что тебе известно о детях, доктор? Какие-то общие черты, да. Конечно, тебе известно, как во время родов дети убивают своих матерей. Почему? Может, таким образом они выражают свое возмущение тем, что их насильно выталкивают в этот отвратительный мир?

Лейбер наклонился к доктору, он был измучен.

— Все взаимосвязано. Предположим, что несколько детей из миллиона, появляющихся на свет, сразу же умеют передвигаться, видеть, слышать, думать, как могут большинство

животных и насекомых. Насекомые рождаются уже вполне самостоятельными. Большинство млекопитающих и птиц приспособляются через несколько недель. А детям нужны годы, чтобы научиться говорить и ковылять на слабых ногах. Но представь, что один ребенок из биллиона необыкновенный. Рождается совершенно сознательный, инстинктивно способный мыслить. Не отличное ли положение, не отличное ли прикрытие всему, что захочет совершить такой ребенок? Он может притвориться обыкновенным, слабым, плачущим, невинным. Лишь *малая* трата энергии понадобится ему, чтобы ползать по темному дому, подслушивая. А как легко положить какую-нибудь штуку на верхней ступеньке. Как легко кричать всю ночь напролет и тем самым довести мать до воспаления легких. Как легко прямо во время родов, находясь внутри матери, *несколькими ловкими движениями вызвать перитонит!*

— Ради Бога! — Джефферс встал. — Омерзительно, что ты так говоришь!

— Омерзительно то, о чем я говорю. Сколько матерей погибло во время родов? Сколько происходит необъяснимых, невероятных случайностей, которые могут так или иначе вызвать смерть во время родов? Непознанные красные маленькие существа, с мозгами, которые работают в проклятой темноте, когда никто даже не догадывается об этом. Маленькие примитивные мозги, начиненные расовой памятью, ненавистью и природной жестокостью, с единственной мыслью о самосохранении. А самосохранение в данном случае заключается в том, чтобы уничтожить мать, осознавшую, что за кошмар породила она. Я спрашиваю тебя, доктор, существует ли на свете нечто более эгоистичное, чем ребенок? Нет.

Джефферс нахмурился и беспомощно покачал головой.

Лейбер положил сигарету.

— Я не утверждаю, что ребенок должен обладать большой силой. Достаточно научиться немного ползать несколькими месяцами раньше графика. Достаточно, чтобы все время слушать. Достаточно, чтобы плакать всю ночь напролет. Этого достаточно, более чем достаточно.

Джефферс попытался засмеяться:

— Тогда называй это убийством. Но убийство должно быть мотивировано. Какие мотивы у ребенка?

У Лейбера был готов ответ:

— Кто на свете больше всех довольствуется сном, свободой, отдыхом, сытостью, удобством, спокойствием, как не ребенок в утробе матери? Никто. Он плавает в магии сна,

безвременья, пищи и тишины. Потом внезапно его просят покинуть помещение, силой заставляют убираться, вылететь в шумный, недобрый, эгоистичный мир, где его заставят самого передвигаться, охотиться, добывать пищу, гоняться за ускользающей любовью, которая когда-то была его неотъемлемым правом, сталкиваться с беспорядком взамен утробной тишины и постоянного сна. И ребенок *возмущается!* Возмущается холодным воздухом, огромным пространством, внезапным отторжением от привычных вещей. И в крохотной клеточке мозга ребенка остаются лишь эгоизм и ненависть, потому что чары были грубо разбиты. Кого же следует винить в том, что чары были так грубо нарушены и что волшебство наступило конец? Мать. Вот и получается, что ребенку есть кого ненавидеть всем своим неразумным умишком. И отец не лучше, и его убить. Он по-своему виноват!

Джефферс прервал его:

— Если то, что ты сказал, верно, то каждая женщина на свете должна опасаться своего ребенка, удивляться ему.

— А почему бы и нет? Разве у ребенка не отличное алиби? Его защищает тысячелетиями принятое медицинское убеждение. По природным причинам он беспомощен и не может отвечать за свои действия. Ребенок рождается с ненавистью. А жизнь все хуже, а не лучше. Поначалу ребенку достаточно внимания и материнской заботы. Но время течет, и все меняется. Новорожденный ребенок в силах своим чихом или плачем заставить родителей совершать глупые поступки и подпрыгивать от его малейшего писка. Годы идут, и ребенок чувствует, что даже эта крошечная власть быстро ускользает навсегда, без возврата. Почему бы ему не ухватиться за ту власть, которую он имеет? Почему бы ему не добиваться выгодного положения всеми способами, пока у него есть преимущества? Потом будет слишком поздно выражать свою ненависть. *Теперь* есть время для борьбы.

Голос Лейбера звучал тихо, спокойно.

— Мой маленький мальчик лежит по ночам в колыбельке с мокрым красным лицом и задыхается. Потому что плакал? Нет. Потому что медленно вылез из кровати, долго полз по темным коридорам. Мой маленький мальчик. Я хочу убить его.

Доктор протянул ему стакан воды и таблетки.

— Никого ты не убьешь. Будешь спать двадцать четыре часа. Выспишься и придешь в себя. Возьми-ка.

Лейбер принял таблетки и дал отвести себя наверх в спальню, плача, он чувствовал, что его укладывают в постель. Доктор подождал, пока он глубоко не заснул, и ушел.

Лейбер в одиночестве плыл и плыл по течению.

Он услышал шорох.

— Что... что *это*? — слабо спросил он.

Что-то шевелилось в коридоре.

Дэйвид Лейбер спал.

Следующим утром, очень рано, доктор Джефферс подъехал к дому. Утро было чудесное, и он собирался прокатить Лейбера за город на прогулку. Лейбер, должно быть, все еще спит наверху. Джефферс дал ему достаточно снотворного, чтобы отключить его по крайней мере на пятнадцать часов.

Он позвонил в дверь. Молчание. Прислуга, наверное, еще не встала. Джефферс толкнул входную дверь, она оказалась незапертой, он вошел внутрь. Положил врачебный чемоданчик на ближайший стул.

Что-то белое мелькнуло на верху лестницы. Неуловимое движение. Джефферс едва обратил внимание.

Во всем доме стоял запах газа.

Джефферс побежал наверх, вломился в спальню Лейбера.

Лейбер без сознания лежал на кровати, а комнату застилал газ, который с шипеньем струился из открытой форсунки внизу в стене около двери. Джефферс закрутил кран, распахнул все окна и подбежал к телу Лейбера.

Тело было холодным. Он был мертв уже несколько часов.

Сильно кашляя, доктор выскочил из комнаты, глаза слезились. Лейбер не включал газ сам. Он был *не в состоянии* это сделать. Снотворное отключило его, он не мог проснуться раньше полудня. Это не самоубийство. Или все-таки мог?

Джефферс минут пять постоял в коридоре. Потом подошел к двери детской. Она была закрыта. Он открыл ее. Вошел внутрь и подошел к кровати.

Кровать была пуста.

Покачиваясь, он постоял полминуты у колыбели, потом сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Дверь детской захлопнулась. В кроватку, где так опасно, вернуться ты не смог. В твои планы не входило, что дверь захлопнется. Столь ничтожная деталь, как захлопнувшаяся дверь, может разрушить наилучший план. Я найду тебя, спрятавшегося где-то в доме и притворившегося тем, чем ты на самом деле не являешься. — Доктор был потрясен. Он приложил руку ко лбу и слабо улыбнулся: «Ну вот, теперь я говорю то же, что говорили Алиса и Дэйвид. Но я не могу рисковать. Я совсем не уверен, что рисковать не могу».

Он спустился вниз, открыл чемоданчик, лежащий на стуле, вытащил оттуда какой-то предмет и взял его обеими руками.

Что-то прошуршало в коридоре. Что-то крошечное и такое бесшумное. Джефферс быстро обернулся.

Мне пришлось сделать операцию, чтобы ввести тебя в этот мир, подумал он. Теперь, как я понимаю, я должен сделать операцию, чтобы увести тебя из него...

Он сделал несколько медленных уверенных шагов вперед в коридор. Поднял руки к солнечному свету.

— Смотри, малыш! Как блесит... как красиво!

Скальпель.

ТОЛПА

Мистер Сполнер закрыл лицо руками. Он почувствовал, что летит куда-то, затем услышал крик боли и ужаса, чистый и сильный, как аккорд, и наконец удар. Автомобиль, пробив стену, падал, кувыркаясь легко и быстро, как игрушка, и выбросил его вон. Наступила тишина.

Толпа сбегалась. Он слышал далекий топот ног. Ему казалось, что он способен определить вес и возраст каждого из бегущих по траве лужайки, плитам тротуара, асфальту мостовой, а затем по грудам кирпича через пробоину в стене к тому месту, где на фоне ночного неба, словно в прыжке над пропастью, застыл его автомобиль с бессмысленно вертящимися колесами. Он не понимал, откуда взялась толпа, и старался лишь не потерять сознание. Он видел нависшие над ним лица, словно большие круглые листья склонившегося дерева, кольцо движущихся, меняющихся, глядящих на него лиц, жаждущих знать, жив он или мертв. Они изучали его лицо, ставшее вдруг диском лунных часов, а тень от носа, падающая на щеки, была стрелкой, показывающей, дышит он или нет.

Как мгновенно образуется толпа, думал он, как внезапно возникает и превращается в одно огромное око.

Звук сирены. Голос полицейского. Его поднимают, несут, кровь медленно струится по губам. Носилки вдвигают в санитарную машину. Кто-то спрашивает: «Умер?», кто-то отвечает: «Жив», а еще кто-то уверенно заявляет: «Он не умрет». И по лицам глядящей на него толпы он знает, что будет жить. Все это так странно. Он видит лицо мужчины, худое, бледное, напряженное. Он судорожно глотает слюну, кусает губы, ему плохо. Лицо женщины с рыжими волосами, ярко накрашенным ртом и таким же ярким румянцем, веснушчатое лицо мальчишки, еще лица... Старик со впалым беззубым ртом, старая женщина с бородавкой на подбородке...

Откуда они? Из домов, отелей, проезжавших мимо машин, трамваев, с улиц и переулков этого настороженного, готового к несчастьям мира?

Толпа глазела на него, а он на толпу. Она не нравилась ему, совсем не нравилась. В ней было что-то нехорошее, пугающее, но что, он не смог бы определить. Она была опасней машины, созданной руками человека, жертвой которой он стал.

Дверца машины «скорой помощи» захлопнулась. Но через стекло он видел, как толпа продолжала поедать его глазами. Толпа, которая собралась так невероятно быстро, так мгновенно, что была подобна стервятнику, готовому броситься на жертву, глазеющая, указывающая пальцами, своим нездоровым любопытством тревожащая последние мгновения одиночества перед концом...

Санитарная машина тронулась. Голова его откинулась на подушку. Толпа провожала его взглядами. Он чувствовал это, даже закрыв глаза.

Перед его мысленным взором продолжали вертеться колеса автомобиля, то одно, то все четыре сразу... Прошло несколько дней.

Его неотступно преследовала мысль, что здесь что-то не так, с этими колесами и со всем, что с ним произошло, с невестой откуда взявшейся толпой и ее нездоровым любопытством. Толпа, бешено вертящиеся колеса автомобиля... Он проснулся.

Солнечный свет заливал больничную палату. Чья-то рука держала его за запястье, проверяя пульс.

— Как вы себя чувствуете? — спросил его врач.

Вертящиеся колеса исчезли. Мистер Сполнер окинул взглядом палату.

— Хорошо... мне кажется.

Он пытался найти нужные слова, чтобы спросить о том, что с ним случилось.

— Доктор!

— Да, я вас слушаю.

— Эта толпа, вчера вечером?..

— Это было два дня назад. Вы находитесь у нас со вторника. Все в порядке. Вы поправляетесь. Но нельзя еще вставать.

— Но эта толпа, доктор. И вертящиеся колеса... После несчастных случаев люди немного не в себе, не так ли?

— Бывает, но это быстро проходит.

Он лежал, напряженно вглядываясь в лицо врача.

— Это как-то влияет на чувство времени, доктор?
— Паника, страх могут нарушить ощущение времени.
— Минута может показаться часом или наоборот — час минутой?

— Да, бывает и такое.

— Тогда вы должны выслушать меня, доктор. — Он сознавал, что лежит на больничной койке и солнечный свет из окна падает прямо на него. — Вы не думаете, что я сошел с ума? Да, я действительно ехал на большой скорости. Я знаю и очень сожалею об этом. Я выскочил на обочину и врезался в стену. Удар был сильный, я пострадал, но я не потерял сознания. Я многое помню, особенно... толпу. — Он на мгновение умолк, а потом, как бы поняв, что его беспокоит, продолжил: — Толпа сбежалась слишком быстро, доктор. Через тридцать секунд после аварии она уже была здесь и окружила меня... Это невозможно, доктор.

— Вам показалось, что прошло тридцать секунд, а на самом деле могло пройти три или четыре минуты... Ваше чувство времени...

— Да, я знаю. Несчастный случай, мое состояние... Но я был в полном сознании, доктор! Я все помню, но одно меня смущает, черт возьми, и кажется очень странным — колеса моей перевернувшейся машины. Они все еще вертелись, когда сбежалась толпа.

Доктор лишь улыбнулся.

— Я в этом уверен, доктор. Передние колеса машины продолжали вращаться, и очень быстро! А это невозможно. Колеса останавливаются почти сразу же, действует сила сцепления... А эти не остановились.

— Вам это могло показаться.

— Нет. Улица была совсем пуста, ни души, и вдруг авария, вертящиеся колеса, и толпа вокруг, собравшаяся так быстро. Все произошло почти одновременно. А как они смотрели на меня!.. По их взглядам я понял, что остался жив и не уму...

— Просто у вас был шок, — успокоил его врач и покинул залитую солнцем палату.

Через две недели он уже вышел из больницы. Домой он ехал на такси. В больнице его часто навещали, и каждому, кто к нему приходил, он рассказывал одно и то же: авария, вертящиеся колеса, толпа. Его слушали, смеялись и не обращали внимания.

Он наклонился и постучал в стекло водителя.

— В чем там дело? — справился он.

Шофер, оглянувшись, ответил:

— Сожалею, мистер, но в этом проклятом городе ездить стало опасно, что ни день, то авария. Вот и сейчас что-то случилось, и нам придется ехать в объезд. Вы не возражаете?

— Хорошо. Однако нет! Пойдите. Поезжайте прямо, давайте узнаем, что случилось.

Такси, сигнала, тронулось.

— Странно, — пробормотал шофер. — Эй, ты, убери-ка с дороги свой драндулет! — крикнул он кому-то, а потом опять повторил уже тише: — Странно, уйма народу. Откуда берётся столько зевак?

Мистер Сполнер посмотрел на свои руки — они дрожали.

— Вы тоже заметили? — произнес он.

— Еще бы не заметить. Стоит чему-то случиться, как они тут как тут. Словно их родную маму сбила машина, — согласился таксист.

— Они сбегаются так быстро, — поторопился добавить пассажир.

— Точно так же, когда пожар или взрыв. Кажется, никого нет, но только — бум! и все уже gazeют. Не понимаю, как это у них получается.

— Вы видели когда-нибудь аварию или несчастный случай ночью?

Таксист кивнул:

— Еще бы. Никакой разницы, что ночью, что днем — толпа всегда тут как тут.

Они подъехали поближе к месту происшествия. Можно было сразу угадать, что пострадавший лежит на мостовой, хотя густая толпа скрывала его от взоров.

Увидев зевак, Сполнер открыл окно машины и хотел было крикнуть на них, но вдруг испугался, что они обернутся и он увидит их лица.

— Мне везет на происшествия, — заключил мистер Сполнер у себя в конторе. День клонился к вечеру. Его приятель Морган сидел напротив на краю стола и внимательно слушал его. — Не успел я сегодня утром выйти из больницы, как по дороге домой пришлось ехать в объезд из-за несчастного случая на мостовой.

— Все идет по кругу, — глубокомысленно заметил Морган.

— Хочешь, я расскажу, как это произошло со мной?

— Я уже слышал.

— Ты не согласен, что в этом есть что-то странное?

— Согласен, но давай лучше выпьем.

Они беседовали еще с полчаса, а может, и больше. И все это время у Сполнера в голове что-то тикало, как часы с вечным заводом, и в памяти возникали отдельные картины случившегося — колеса, толпа...

Примерно в половине пятого они услышали за окном звук удара, скрежет и звон металла.

— Что я говорил — все идет по кругу. Теперь это грузовик и кремового цвета «кадиллак».

Сполнер подошел к окну. Он чувствовал озноб, пока стоял у окна и следил за секундной стрелкой своих часов. Одна, две, три, четыре, пять секунд — толпа начинает собираться. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать — они бегут со всех сторон. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать секунд — их становится все больше, сигналият машины. Сполнер с любопытством и как-то отстраненно смотрел на эту картину, словно на обратную съемку взрыва, когда разбросанные взрывом частицы снова собираются в единое целое. Девятнадцать, двадцать, двадцать одна секунда — толпа была в полном сборе. Сполнер молча указал на нее рукой.

Она собралась так быстро.

Но он успел увидеть распростертое тело женщины на мостовой, пока его не скрыла толпа.

— Ты выглядишь чертовски скверно, приятель. На, выпей, — обеспокоенно сказал Морган.

— Я в порядке, оставь меня в покое. Ты видишь этих людей? Ты можешь разглядеть хотя бы одного из них? Надо увидеть их поближе.

— Ты куда? — испуганно закричал Морган.

Но Сполнер был уже за дверью. Морган бросился за ним.

Они выбежали на улицу. Сполнер, не раздумывая, стал протискиваться через толпу к месту происшествия. И вдруг увидел женщину с рыжими волосами и ярко накрашенным ртом.

— Смотри! — крикнул он следовавшему за ним Моргану. — Ты видишь ее?

— Кого?

— Черт возьми, она уже исчезла.

Жертву происшествия плотным кольцом окружили зеваки. Толпа тяжело дышала, что-то бормотала, не давала Сполнеру протиснуться поближе. Конечно, думал он, рыжая женщина увидела его и поспешила скрыться. А вот еще знакомое лицо. Я уже видел его. Веснушчатый мальчуган! Но их столько на белом свете и все на одно лицо. Однако, когда Сполнер

начал пробираться к нему, мальчишка исчез. Что за чертовщина!

— Она умерла? — спросил кто-то.

— Умирает, — ответил другой. — Санитарная машина не успеет. Не надо было трогать ее.

Лица, знакомые и незнакомые, склонялись все ниже, чтобы лучше разглядеть.

— Эй, мистер, хватит толкаться.

— Чего это ты орудуешь локтями, парень?

Сполнер выбрался из толпы, и Морган едва успел подхватить его, иначе он бы упал.

— Зачем ты полез туда, дурак? Ты еще нездоров. Зачем ты выбежал на улицу? — ругал его Морган.

— Не знаю, право, не знаю, — бормотал Сполнер. — Они не должны были трогать ее, Морган. Никогда не надо трогать человека, ставшего жертвой уличной катастрофы. Это может убить его.

— Я знаю. Но что поделаешь с толпой. С этими идиотами.

Сполнер тщательно разложил на столе вырезки.

— Что это? — взглянув на них, спросил Морган. — С тех пор как ты попал в аварию, ты считаешь, что каждое уличное происшествие касается и тебя тоже.

— Вырезки обо всех автомобильных катастрофах и снимки их. Смотри, но не на автомобили, а на толпу, — сказал Сполнер. — Вот снимок происшествия в Уилширском районе. Теперь сравни его со снимком того, что произошло в Уэствуде. Ничего схожего, они разные. А теперь возьми снимок недавнего происшествия в Уэствуде и сравни с тем, что произошло там же десять лет назад. Видишь эту женщину — она на том и на другом снимке? Что это? Совпадение? Одна и та же женщина на снимке 1936 года и на снимке 1946 года. Совпадение возможно один раз. Но не двенадцать совпадений в течение десяти лет? К тому же между одним и другим местом происшествия расстояние в три мили. Нет, это не совпадение. — Он разложил перед Морганом с десяток снимков. — Смотри, на всех она!

— Может, она больная?

— Хуже. Можешь сказать, как она успевает попасть на все происшествия? Почему на всех снимках она в одной и той же одежде? А ведь прошло целое десятилетие?

— А ведь верно, черт побери!

— И наконец, почему она стояла и гладела на меня, когда я разбился на машине две недели тому назад?

Они выпили. Морган снова перебрал все снимки.

— Ты что, воспользовался услугами бюро вырезок, пока лежал в больнице? — спросил он.

Сполнер кивнул. Морган пригубил виски из стакана.

Темнело. За окном зажигались фонари.

— Что же все это значит? — спросил Морган.

— Не знаю, — ответил Сполнер. — Разве что существует некая закономерность для всех происшествий: чуть что, собирается толпа. Как и мы с тобой, люди, возможно, давно ломают голову над тем, почему собирается толпа и так быстро. Как это все происходит. Я, кажется, нашел ответ.

Он бросил на стол пачку снимков.

— Догадка пугала меня.

— Возможно, это просто больные люди с извращенной психикой, любители острых ощущений, кровавых зрелищ, картин ужасов?

Сполнер пожал плечами:

— Но что может объяснить присутствие одних и тех же на каждом дорожном происшествии или пожаре? Обрати внимание, они придерживаются определенных мест, одной какой-то территории. В Брентвуде — одна группа лиц, в Хангтингтон-парке — другая. Но некоторые из них успевают побывать и тут и там.

— Значит, они меняются? Это не всегда одни и те же лица?

— Ты прав. Среди них бывают и прохожие. Несчастные случаи вызывают любопытство у многих. Но те, о которых я говорю, всегда поспевают первыми.

— Кто же они? Зачем они сбегаются? Ты все на что-то намекаешь, но прямо не говоришь. Черт побери, есть же у тебя догадки? Ты напугал себя, теперь и мне не по себе.

— Я пытался добраться до них, но мне всегда что-то или кто-то мешал. Я всегда опаздывал, они исчезали в толпе. Словно толпа оберегала и прятала их. Такое всегда случалось при моем появлении.

— Похоже на тайную организацию.

— Знаешь, что у них общего? Они всегда появляются вместе, будь это взрыв, военная тревога или массовая демонстрация. Они там, где витает смерть. Стервятники, гиены, или... святые? Не знаю, кто они, но я должен сообщить об этом в полицию, и сегодня же вечером. Это зашло слишком далеко. Кто-то из них тронул тело пострадавшей женщины, и это убило ее.

Сполнер, собрав вырезки и снимки, положил их в портфель. Морган встал и начал надевать пальто. Сполнер зашелкнул замок портфеля.

— Или, возможно... Я сейчас подумал...

— Что?

— Возможно, они хотели ее убить.

— Почему?

— Кто знает? Пойдешь со мной?

— Сожалею, но уже поздно. Увидимся завтра. Желаю успеха...

Они вышли.

— Передай полицейским мой привет. Надеюсь, они повесят тебе, — прощаясь, сказал Морган.

— Поверят, будь уверен. Спокойной ночи.

Сполнер медленно вел машину, направляясь к центру города.

— Мне надо добраться туда живым во что бы то ни стало.

Он был напуган, но ничуть не удивлен, когда выскочивший из переулка грузовик поехал ему навстречу. Он даже похвалил себя, что был разумен и ехал на малой скорости, и мысленно представил, как расскажет об этом в полиции. И в эту минуту грузовик врезался в его автомобиль. Впрочем, не в его, а в Морганов автомобиль, и это больше всего его огорчило. Его швырнуло в одну сторону, потом в другую, а он все думал: какая досада, что с ним опять такое случилось, да еще в машине Морганов, которую тот дал ему на несколько дней, пока он не получит из ремонта свою.

Разбилось ветровое стекло, и сильный удар отбросил его назад. Затем все кончилось, осталась лишь боль, заполнившая все его тело.

Топот бегущих ног. Он попытался открыть дверцу, и его тело тяжело, как у пьяного, вывалилось на мостовую. Он лежал, прижавшись ухом к асфальту, прислушиваясь к топоту ног, похожему на начало ливня, когда падают первые тяжелые капли, а потом обрушивается шквал дождя. Он попробовал поднять голову, чтобы увидеть бегущих.

Они были уже здесь.

Он ощущал их дыхание, смешанные запахи толпы, жадно втягивающей воздух, отнимающей его у того, кто лежал, борясь за каждый глоток кислорода. Ему хотелось крикнуть им, чтобы отодвинулись от него подальше, дали ему дышать. Кровь сочилась из раны на голове. Он попытался шевельнуться, но не смог и понял, что что-то случилось с его

позвоночником. Удара он не почувствовал, однако понял, что у него поврежден позвоночник. Он замер, боясь теперь пошевелиться.

Вскоре он понял, что потерял дар речи. Из его рта вывалились лишь бессвязные звуки, слов не было.

Кто-то сказал:

— Помогите мне поднять его. Мы перевернем его, так ему будет легче.

«Нет! Не трогайте меня!» — безмолвно вопил он.

Сполнеру казалось, что его вопль разорвет черепную коробку.

— Мы поднимем его, — спокойно повторил чей-то голос.

«Идиоты, безумцы, вы убьете меня!» — кричал он, но никто его не слышал. Слова не срывались с его уст, крик оставался неслышанным.

Чьи-то руки подняли его. Он опять безмолвно молил не трогать его. Кто-то уложил его, как бы готовя к предсмертной агонии. Это сделали двое. Один худой, бледный, настороженный и совсем еще молодой, другой — глубокий старик.

Он уже где-то видел их.

Знакомый голос снова спросил:

— Он умер?

И другой голос, который тоже показался ему знакомым, ответил:

— Нет. Но он не доживет до приезда машины «скорой помощи».

Все было так нелепо и просто, как заговор сумасшедших, думал он. Как каждое задуманное ими происшествие.

Он кричал, как безумный, в их лица. В лица этих судей и присяжных заседателей, которых он уже видел. Превозмогая боль, он попытался сосчитать, сколько же их было здесь.

Вот веснушчатый мальчишка, старик с морщинистой губой, рыжая женщина, старуха с бородавкой на подбородке...

Я знаю, зачем вы здесь. Вы не пропускаете ни одного несчастья. Вы берете на себя право решать, кому жить, а кому умереть. Вы потому и подняли меня, что знали — это убьет меня! Если бы вы меня не тронули, я остался бы жив.

И так каждый раз, когда собирается толпа. Убить таким образом намного легче и проще. И алиби у вас готово, оно тоже такое простое и понятное: вы не знали, что пострадавшего нельзя трогать, что это опасно для его жизни. Вы не хотели причинить ему зла.

Он смотрел на них с таким же любопытством, как смотрит утопленник через толщу вод на зевак на мосту. Кто вы?

Откуда вы взялись, откуда прибежали так быстро? Вы — это вездесущая толпа, которая всегда здесь, чтобы отнять кислород у умирающего, отнять у него право лежать спокойно, быть одному. Вы затапываете его до смерти, вот что вы делаете. Я все теперь знаю о вас!

Это был безмолвный монолог, ибо толпа молчала. Только лица вокруг — старик, женщина с ярко-рыжими волосами...

Кто-то поднял его портфель.

— Чей он? — спрашивали они друг у друга.

«Мой! — молча кричал им Сполнер. — В нем все доказательства против вас!» Он видел вопросительные взгляды из-под всклокоченных волос и низко надвинутых шляп.

Звук далекой сирены. Это спешила ему на помощь санитарная машина. Но глядя на лица в толпе, он знал: уже поздно. Знала это и толпа.

«Похоже... Я скоро буду с вами. Теперь я буду одним из вас...»

Он закрыл глаза и приготовился выслушать последнее слово полицейского следователя: смерть в результате несчастного случая.

ПОПРЫГУНЧИК

За окном маячило холодное серое утро. Стоя у подоконника, он так и сяк вертел Попрыгунчика в руках, пытаясь открыть заржавевшую крышку — та все не поддавалась. Где же этот чертик, почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками и не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалеванной улыбкой? Сидит, затаился, весь расплюснутый, под крышкой — и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина — до ужаса, до боли. Словно в руке бьется чье-то испуганное сердечко. А может, это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь?

Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружали дом — а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями?

Чем дальше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревьев качались от ветра — словно намеренно скрывая от него правду.

— Эдвин! — За его спиной мама нетерпеливо отхлебывала утренний кофе. — Хватит глазеть в окно. Иди есть.

— Не пойду...

— Что? — Послышался шорох накрахмаленной ткани — наверное, мать повернулась. — Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак?

— Да... — прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам и закоулкам, исхоженным за тринадцать лет.

Неужели этот лес простирается на тысячи миль и за ним ничего нет? Ничего!..

Взор, так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому — к лужайке, к крыльцу...

Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрикосы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с матерью в огромной, гулкой столовой — за этим же столом, у этого окна, за которым недвижимой стеной стояли деревья.

Некоторое время ели молча.

Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел ее, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка — сначала в шесть утра, потом — в четыре дня, потом — в девять вечера и наконец — в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там — белая, молчаливая и величественная, будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжерее.

Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Изможденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят: плюнешь — пополам переломится.

Мать снова завела разговор — сначала вкрадчиво и медленно, потом быстрее, а потом и вовсе перешла в крик:

— Ну скажи, почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты все время таращишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их? — Пальцы ее дрожали, как белые лепестки цветка — даже в гневе она была умопомрачительно хороша. — Этих Тварей, которые бегают по дорогам и давят людей, точно тараканов?

Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе.

— Может, хочешь пойти туда? — Голос ее снова сорвался в крик. — Как твой отец, когда тебя еще не было, да? Пойти — и чтобы одна из Тварей тебя угробила, этого ты хочешь?

— Нет...

— Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах! — Мать кивнула в сторону леса. — Впрочем, если так уж не терпится умереть — давай, иди!

Она замолкла, и только ее пальцы, словно сами по себе, продолжали теревить скатерть.

— Ах, Эдвин, Эдвин... Твой отец выстроил по кирпичику весь этот Мир, такой прекрасный... Неужели тебе его мало? Поверь мне: ничего, ничего нет за этими деревьями — одна только гибель. И не смей к ним приближаться! Заруби себе

на носу: для тебя есть только один Мир. Никакой другой тебе не нужен.

Он понуро кивнул.

— А теперь улыбнись и доедай, — сказала мама.

Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражалось окно и стена деревьев за ним.

— Ма... — Вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться. — А что... а как это — умереть? Вот ты говоришь — гибель. Что это, какое-то чувство?

— Да. Для тех, кто остается жить — да. И весьма неприятное. — Мать вдруг резко поднялась из-за стола. — Ты опоздаешь в школу. Давай-ка, бегом!

Эдвин поцеловал ее на прощанье и сгреб под мышку книги.

— Пока!

— Привет учительнице!

Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемненной галерее, в которую через высокие окна низвергались водопады света... Все выше и выше — сквозь толщу слоеного торта из Миров, густо устеленного глазурью персидских ковров и увенчанного праздничными свечами.

С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней Вселенной.

В Долине — кухня, столовая, гостиная. Два слоя в середине — империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхотуре, на Холмах — Эдвин огляделся вокруг — мир приключений, пикников и учебы.

Вот такая у них была Вселенная. Отец (или Бог, как часто называла его мама) возвел эту громадину давным-давно, покрыв ее изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога-отца, где звезды послушно зажигались, стоило только щелкнуть выключателем. А солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого все вращалось. И сам Эдвин был лишь крохотным метеором, который плутал в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах — закрученных, как хвосты комет.

Иногда они с матерью устраивали пикники на Холмах. Застилали прохладным и белоснежным (почти что снежным) бельем туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на багряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с

осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана.

Вековая пыль и эхо царили в этом царстве, полном темных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела, плачущего, обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки...

Он миновал еще один этаж.

Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей — запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча зывали к нему златоглазые персонажи Пикассо и Дали.

— Вот такие существа живут там, — говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи.

Пробегая мимо картин, Эдвин показал им язык.

И вдруг он невольно остановил бег.

Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой.

Оттуда заманчиво пробивались теплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу.

Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дергал запретные двери за ручки — вдруг какая-нибудь поддастся, — но они всегда были заперты. А что, если сейчас открыть эту дверь и подняться по лестнице? А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище?

— Эй!

Голос его кругами поднялся вверх.

«Эй...» — лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло.

Эдвин вошел.

— Пожалуйста, не бейте меня, — прошептал он, задрал голову кверху.

Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он стал подниматься, то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник. Затем побежал быстрее — вверх и вверх по спирали, и все бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела, как колокол. И вот он приблизился к зловещей вершине

своего пути, вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах...

Солнце нещадно слепило глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин оперся о железную ограду.

— Вот оно! — Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам. — Вот оно! — Он обежал по кругу всю площадку. — Оно там есть!

Так вот что пряталось за сумрачной стеной деревьев! Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов!

Он увидел целые просторы, поросшие зеленой травой и деревьями. И еще какие-то белые ленты, по которым ползут черные жуки... Другой мир — такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать.

Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползли жуки, а там, дальше возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы... На высоких белых шестах развевались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Все было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного...

Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты. Потом еще один.

Тогда он что есть силы бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запретную дверь, навалился на нее всем телом.

«Теперь я ослепну! — Он прижал ладони к глазам. — Не надо было на это смотреть! Не надо!»

Эдвин опустил на колени, затем лег прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного — сейчас он должен ослепнуть.

Через пять минут он уже стоял у обычного окна на Холмах и в который раз разглядывал знакомый Мир-сад.

Вот вязы и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая — нескончаемая стена из леса, за которой таится загадочное и ужасное Нечто. Нечто, навсегда погруженное в туман, дождь и темноту... Теперь он знает, что оно не такое. Вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры — кроме тех, что находятся на Холмах и в Долине.

Эдвин снова подергал запретную дверь. Заперто.

Может, ему все померещилось? Видел ли он на самом деле голубую с зеленым комнату? И заметил ли его Бог?

От этой мысли Эдвина бросило в дрожь. Бог... Тот самый Бог, что курил загадочную черную трубку и ходил, опираясь

на волшебную палочку. Этот Бог, может быть, и сейчас всею за ним наблюдает!

Эдвин дотронулся похолодевшими пальцами до лица.

— Я вижу. Я до сих пор вижу! Спасибо, спасибо! — горячо прошептал он.

В полдесятого, с опозданием ровно на час, он постучал в дверь школы.

— Доброе утро, Учительница!

Дверь распахнулась. За ней стояла Учительница, одетая в серую монашескую мантию — лицо ее было наполовину скрыто капюшоном. На носу, как всегда, поблескивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь.

— Ты опоздал.

За ней, освещенная ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь, вместо кирпичей, были сложены из энциклопедий, а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено.

Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел Бог. На полу лежал ковер, по которому Бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах — смесь аромата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет — напоминало здесь о Боге. Арфовы переливы учительского голоса воспевали Его и прошлые времена, когда по велению Бога Мир пошатнулся, вздрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу был выстроен заново. Драгоценные отпечатки Божьих перстов все еще лежали нерастаявшим снегом на отточенных им когда-то карандашах — теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать их запрещалось строго-престрого, как будто от этого отпечатки могли растаять.

Здесь, на Холмах, вкрадчивый голос Учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело. Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного гласа Божьего. И когда это случится, то он — большой и величественный — сам встанет у этого окна. Он будет Богом! И тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих Миров.

Да, он будет Богом. Ничто не в силах этому помешать. Ни небо, ни лес, ни то, что за лесом.

Учительница сделала несколько бесшумных шагов по комнате — так тихо, словно была бестелесной.

— Почему ты опоздал, Эдвин? — спросила она.

— Не знаю...

— Еще раз тебя спрашиваю — почему ты опоздал, Эдвин?

— Там... Там была открыта одна из запретных дверей...

До него доносился легкий посвист ее дыхания. Медленно повернувшись, Учительница опустилась в глубокое кресло. Стекла очков блеснули последний раз — затем ее поглотил сумрак. Но Эдвин все равно чувствовал, как она пристально смотрит на него из полутьмы. Голос ее показался ему каким-то чужим — такое бывает, когда криком пытаешься стряхнуть с себя страшный сон.

— Какая из дверей? Где? Они ведь должны быть заперты — все до одной!

— Там, где висят картины Дали и Пикассо, — ответил Эдвин, весь холодея внутри. Они всегда были друзьями с Учительницей. Неужели теперь их дружбе конец? Неужели он все испортил? — Я поднялся по лестнице. Я не мог удержаться, не мог! Простите меня. Не говорите маме, прошу вас!

Учительница затаенно смотрела на него из недр своего кресла, из недр своего капюшона. На очках ее изредка проблескивали желтые огоньки.

— И что же ты там увидел? — шепотом спросила она.

— Огромную голубую комнату!

— Неужели?

— Голубую и зеленую, и еще белые ленты, а по ним ползают какие-то жучки... Но я почти сразу пошел обратно, правда, правда! Я вам клянусь!

— Зеленую комнату, значит. И ленты, и по ним бегают жучки. Так... — сказала она голосом, навевающим грусть.

Эдвин потянулся, чтобы взять Учительницу за руку, но рука, точно змея, скользнула сначала к ней на колени, а потом — куда-то в темноту, к груди.

— Честно, я сразу же побежал вниз, закрыл за собой дверь... Я больше никогда, никогда... — захлебываясь, закричал Эдвин.

Учительница говорила теперь так тихо, что он едва разбирал слова.

— Ну вот, теперь, когда ты все увидел, ты захочешь видеть еще больше и будешь совать во все свой нос. — Капюшон мерно заколыхался вперед-назад. Затем из глубины его про-

звучал новый вопрос: — А тебе... тебе понравилось то, что ты увидел?

— Я испугался. Слишком уж она большая.

— Да-да, большая. Слишком большая. Просто огромная, Эдвин. Не то что в нашем мире. Большая, зловещая, бескрайняя... И зачем ты только туда пошел! Ты же знал, знал, что нельзя!

Пламя успело ярко полыхнуть и погаснуть, пока он собирался с ответом, и наконец Учительница поняла, что он просто растерян.

— А может, это все она? Мама? — тихо, одними губами прошептала она.

— Не знаю!

— Она что — нервная, злобная, невыдержанная? Может быть, она слишком строга с тобой? Может, тебе нужно время, чтобы побыть одному? А? Скажи, нужно?

— Да!.. — вырвалось у Эдвина прямо из груди, и его вдруг задушили рыдания.

— Скажи, поэтому ты сбежал — потому что она хочет отнять все твоё время, все твои мысли, да? — Голос Учительницы звучал растерянно и как-то печально. — Скажи мне...

Ладони его стали липкими от слез.

— Да, да! — Эдвин в отчаянии кусал костяшки пальцев. — Да!

Наверное, нельзя было в этом признаваться, но ведь не он произносил слова — Учительница сказала их за него сама, а ему ничего не оставалось делать, как глупо кивать и соглашаться, и грызть костяшки пальцев, пытаясь сдержать вырывающийся плач.

Ей ведь миллион лет.

— Мы учимся... — устало промолвила она. Потом поднялась с кресла и, покачивая серым колоколом платья, подошла к письменному столу и принялась шарить по нему затянутой в перчатку рукой в поисках бумаги и ручки. — Боже, до чего же медленно мы учимся, какими муками нам это дается! Мы думаем, что поступки наши праведны, а ведь все время, все время мы уничтожаем Замысел... — Она со свистом вздохнула и вдруг вскинула голову. Эдвину показалось, что серый капюшон пуст изнутри — что там вовсе нет ее лица.

Учительница написала что-то на листке бумаги.

— Передай это матери. Здесь написано, что каждый день ты должен иметь свое личное время — не меньше двух

часов, — которое ты можешь проводить где и как тебе вздумается. Где угодно. Но только не там. Ты понял?

— Да. — Эдвин вытер лицо. — Но...

— Продолжай, продолжай.

— Скажите, мама меня обманывает, когда говорит, что там полно Тварей?

— Посмотри мне в глаза, Эдвин! Я всегда была твоим другом. Я никогда не била тебя — в отличие от матери, которой, наверное, приходилось изредка это делать. Но так или иначе, и я, и она хотим помочь тебе вырасти. Вырасти и не погибнуть — как в свое время погиб наш Бог.

Учительница поднялась, и капюшон слегка сдвинулся с ее лица, так что при свете пламени стали отчетливо видны его черты. Коварный огонь тут же впился в каждую из множества глубоких и мелких морщинок.

У Эдвина перехватило дыхание. Сердце бешено застучало.

— Огонь!

Учительница замерла.

— Огонь! — Он бросил взгляд на огонь, а затем перевел его на лицо Учительницы. Капюшон дернулся под этим взглядом, и лицо снова потонуло в темноте. — Ваше лицо... — цепenea, проговорил Эдвин. — Вы похожи на маму!

Проворно подбежав к полкам, Учительница выхватила книгу и, обращаясь к корешкам книг, пропела высоким будничным голосом:

— Женщины часто похожи между собой! Забудем об этом! Вот, вот! — Она протянула ему книгу. — Читай первую главу! Читай дневник!

Он взял книгу, но не почувствовал в руках ее веса. Яркий огонь с гуденьем полыхал в камине, уносясь в дымоход.

Когда Эдвин начал читать, Учительница снова устроилась в кресле и притихла. Постепенно она совсем успокоилась, и только серый капюшон медленно кивал в такт чтению.

На золотых тисненых переплетах играли отблески пламени. Читая, Эдвин на самом деле думал о них — об этих книгах, из которых местами были вырезаны бритвой страницы, выцарапаны строчки или вырваны рисунки. Кожаные пасти некоторых книг были заклеены, как будто им не давали говорить. На другие были надеты бронзовые застёжки — словно намордники на бешеных псов. Вот о чем он думал, пока его губы сами собой произносили слова.

— Вначале был Бог. Который создал Вселенную и Миры внутри Вселенной, Континенты внутри Миров, и Страны внутри Континентов... Разумом и руками сотворил он себе

возлюбленную жену и дитя... Дитя, которое потом тоже станет Богом...

Учительница медленно кивала головой. Огонь в камине сначала горел, а потом превратился в тлеющие угли. Эдвин все читал и читал...

Съехав по перилам, Эдвин ворвался в гостиную.

— Ма! Ма!

Тяжело дыша (словно после быстрой ходьбы), мать лежала в пухлом бордовом кресле.

— Ма, ты же вся мокрая!

— Неужели? — спросила она таким тоном, будто это из-за него ей пришлось сносить лишения. — Ну да, да. — Она глухо и шумно вздохнула. Затем взяла его руки в свои и по очереди их поцеловала. — А теперь вот что: у меня для тебя есть сюрприз! — сказала она, заговорщицки вытаращив на него глаза. — Знаешь, что будет завтра? Ни за что не догадаешься! Твой день рождения!

— Но прошло же только десять месяцев!

— И все равно — завтра! Помнишь, я тебе говорила, что на свете случаются чудеса? А если я что-нибудь говорю, то это так и есть, мой мальчик.

Она засмеялась.

— И мы откроем еще одну секретную комнату? — изумился он.

— Ну да, четырнадцатую! А в следующем году — пятнадцатую, потом — шестнадцатую и так до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать один. Да-да, Эдвин! И тогда мы откроем тебе тройную дверь в самую важную комнату, и ты станешь Хозяином, Отцом, Богом, Правителем всей Вселенной!

— Ура! — воскликнул Эдвин. И еще раз: — Ура!

После этого он подбросил в воздух свои книжки, и те разлетелись, хлопая страницами, как стайка вспугнутых голубей. Эдвин захохотал. Мама засмеялась тоже... Но книги быстро упали и будто придавили смех. Тогда Эдвин снова бросился вниз по перилам, оглашая лестницу воплями.

Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его с широко распростертыми объятиями.

Эдвин лежал на освещенной лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках Пюрыгунчика. Он даже не видел его — пальцы двигались на ощупь. Крышка все не открывалась.

Надо же, завтра у него день рождения. Но почему? Что, он так уж хорошо себя вел? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше?

Потому что все... как бы это сказать... всполошилось? Ничего не понять, не разобрать — словно все время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид — будто невидимая снежная вуаль на лице. Наверное, для нее этот праздник тоже вроде спасения.

— Теперь, — сказал Эдвин, обращаясь к потолку, — все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверняка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у нее так блестели...

Интересно, а пригласят ли на праздник Учительницу? Скорее всего, нет. Ведь мама и Учительница даже не знакомы. «Но почему?» — спрашивал Эдвин. «А вот потому», — отвечала мама. «А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, Учительница?» «Как-нибудь потом... — почти шепотом отвечала та — словно сдувала с губ невидимую паутину. — Как-нибудь... потом...»

А куда же Учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается наверх, к самой луне, где только пыльные, никому не нужные канделябры? А может, она идет ночью за деревья, которые растут за другими деревьями — теми, которые растут еще за другими деревьями? Ну нет, это уж вряд ли!

Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку.

А в прошлом году — когда начались всякие непонятности... Тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да-да, так оно и было.

Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и залитую солнцем мансарду — и все остальное, что лежит между ними. О Боге, который погиб, раздавленный страшным жуком — там, за стеной. Наверное, все Миры тогда содрогнулись!

Эдвин поднес Попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку:

— Эй! Привет! Привет, привет...

Никакого ответа — только напряженное молчание сдавленной пружины.

Нет уж, хватит! Все равно я тебя вытащу. Погоди только, немножко погоди. Может, это и больно — но по-другому никак не получается. Сейчас...

Эдвин вылез из кровати и подошел к окну. Высунувшись чуть ли не по пояс, он посмотрел вниз, на мерцающую в

лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко над головой... Он сжимал ее так крепко, что занемели пальцы, а по ребрам, щекоча, сбежала струйка пота. Наконец, с криком разжав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она, кувыряясь, полетела вниз — и летела долго-долго, пока наконец не ударилась о мраморный тротуар.

Эдвин высунулся из окна еще больше, тяжело дыша и изо всех сил вглядываясь в кружевную тень деревьев на земле.

— Ну, где ты? — выкрикнул он. — Где? Эй, ты!

Эхо его голоса растаяло вдалеке. Коробка с Попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть — раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик? Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики...

Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он вглядывался и вслушивался в темноту, пока вконец не устал и не лег снова.

Утро. Повсюду, а особенно в Кухонном Море, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса — чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога? Или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их... Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина. А потом откуда-то издалека стали приближаться — все ближе, все громче, и еще громче — и наконец распахнулась дверь.

— С днем рождения!

Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь, откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину звуков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино, и смеяться — так громко, что дрожали канделябры. Наконец дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть четырнадцатую запретную дверь.

— Приготовились! Давай!

Дверь с шипеньем уехала прямо в стену.

— Ой! — невольно вырвалось у Эдвина.

Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование — четырнадцатая комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах!..

На шестой день рождения ему подарили учебную комнату на Холмах. На седьмой — игровую комнату в Долине. На восьмой — музыкальный класс. На девятый — чудо-кухню с адским синим огнем. В десятой комнате шипели патефоны и фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию — словно сонм призраков на прогулке. Одиннадцатая была алмазной комнатой-садом, где на полу лежал зеленый ковер, который не подметали, а подстригали!

— Не спеши огорчаться, лучше пошли! — Мать со смехом подтолкнула его в комнату-чулан. — Сейчас увидишь, что будет! Закрывай дверь!

Она нажала какую-то кнопку в стене — и кнопка сразу зажглась.

Эдвин пронзительно закричал:

— Не-е-ет!

Комнатка закачалась, загудела и клацнула дверьми, словно железными челюстями, поглотив Эдвина с мамой в свое чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комнатка — вверх.

— Тише, моя радость, не бойся, — сказала мама.

Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена — словно длиннющая шипящая змея с темными пятнами дверей. Одни двери... другие двери... третьи...

Комната все двигалась, а Эдвин все кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась.

Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился.

— О-о-о! Холмы! Это же Холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная?

Она вывела его из чулана.

— Мы просто подпрыгнули высоко вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать, как всегда, по лестницам!

Эдвин был не в силах даже пошевелиться, замороженный этим новым чудом: страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь — верхняя...

— Мамочка, мама! — только и смог воскликнуть он.

Потом они вышли в сад и долго валялись в густой траве, с наслаждением потягивая из чашек яблочный сидр. Под локти они подложили красные шелковые подушки, а босые ноги вытянули прямо в гущу клевера и одуванчиков. Временами мать вздрагивала, слышав доносящееся из-за леса

рычание Тварей. Тогда Эдвин наклонился и ласково целовал ее в щеку:

— Не бойся, я тебя защищу.

— Конечно, защитишь, — отвечала она, но сама с подозрением косилась на деревья — как будто лес мог в любую секунду исчезнуть, снесенный неведомой титанической силой.

День уже клонился к вечеру, когда высоко в голубом небе, в просвете между деревьями они увидели странную блестящую птицу, которая летела с оглушительным ревом. Тогда, пригнув головы, словно во время грозы, они стремглав побежали в гостиную.

Ну вот. Хрум-хрум — и от дня рождения осталась лишь пустая целлофановая обертка. Солнце зашло, в гостиную прокрался сумрак. Мама теперь пила шампанское, вдыхая его тонкими ноздрями, а потом припадая к бокалу бледным, как роза, ртом. Еще немного — и она погонит Эдвина спать. Так и случилось. Вялая и сонная, она проводила его до спальни и закрыла дверь.

Эдвин медленно раздевался — словно разыгрывал какую-то мимическую пьесу — и при этом непрерывно думал. Что будет в следующем году? А через два года, а через три? И что же это за чудища — Твари? Он знает: Бог был убит, раздавлен. Но что, что было убито? Что такое смерть — некое чувство? Значит, Богу оно понравилось, раз он не вернулся... А может, смерть — это какое-то путешествие?

Спускаясь по лестнице в холл, мама разбила бутылку шампанского. От этого звука Эдвина бросило в жар — почему-то он представил, что упала сама мать. Упала и разбилась на тысячи и миллионы осколков. Утром он найдет лишь прозрачные стекляшки да разбрызганное по паркету вино...

Утро пахло виноградными лозами и мхом. В занавешенной комнате царила приятная прохлада. Наверное, внизу уже готов завтрак. Стоит только щелкнуть пальцами — и он тут же появится на белоснежной скатерти.

Эдвин встал, умылся и оделся. Ожидание нового дня было приятным. Теперь по крайней мере месяц он будет чувствовать эту новизну и свежесть. Сегодня, как обычно, он позавтракает, потом пойдет в школу, потом пообедает, потом будет петь в музыкальном классе, потом два часа играть в электронные игры. Затем его ждет чай на Природе, на сверкающей траве, после чего он снова вернется в школу. Вместе с Учительницей они станут рыскать по истерзанной цензурой библиотеке, и Эдвин будет, как всегда, ломать голову над всякими подозрительными словечками, случайно уцелевшими

после цензоров. Ведь думать и размышлять о том, что же такое там, за лесом, уже вошло у него в привычку...

Ах да, он забыл передать маме записку от Учительницы...

Эдвин выглянул в холл. Там никого не было. Везде — в нижних Мирах и в верхних — стояла такая тишина, что казалось: в воздухе звенят пылинки. Ни случайного звука шагов, ни переливов воды в фонтане. Даже перила в утренней дымке представляли в виде какого-то доисторического чудовища. Решив на всякий случай с ним не связываться, Эдвин на всех парусах полетел разыскивать маму.

Надо же — ее здесь нет...

С криками бежал он по безмолвным Мирам:

— Мама! Мама!

Он обнаружил ее в гостиной — мать лежала, свернувшись, на полу в своем золотисто-зеленом праздничном платье. В руке она сжимала бокал для шампанского, рядом на ковре валялись бутылочные осколки.

Похоже, она спала. Эдвин сел за волшебный обеденный стол. На белой скатерти сверкала пустая посуда. Ничего съестного. Странно: сколько он себя помнил, за этим столом его всегда ждала чудесная еда. А сегодня...

— Мама, проснись! — Он подбежал к ней. — Мне нужно идти в школу? Где еда? Ну проснись же!

Он бросился вверх по ступенькам.

На Холмах царил холод и полумрак — почему-то в этот пасмурный день с потолков не светили белые стеклянные солнца. Эдвин что есть сил бежал по коридорам, миновал континенты и страны, пока не уткнулся в дверь школы. Сколько он ни стучал, никто и не думал ему открывать. Наконец дверь распахнулась сама.

В школе было пусто и темно. Не гудел огонь в камине, отбрасывая яркие блики на сводчатый потолок. Не было слышно ни шороха. Ни звука.

— Учительница! — позвал Эдвин, и голос его гулко отозвался в пустой и холодной комнате.

— Учительница! — еще раз громко крикнул он.

Он рывком раздвинул шторы — сквозь витражи на окнах едва пробивался солнечный свет.

Эдвин взмахнул рукой. Он надеялся, что по его команде огонь разом вспыхнет в камине, лопнув, как зернышко попкорна. А ну, гори!.. Эдвин зажмурился, думая, что вот сейчас должна появиться Учительница. Открыв глаза, он никакой

Учительницы не увидел, зато заметил нечто странное, лежащее на ее письменном столе.

Эдвин стоял и ошарашенно разглядывал аккуратно сложенный серый балахон, поверх которого поблескивали стеклами очки и змеилась одна серая перчатка. Там же лежал жирный косметический карандаш. Эдвин потрогал его — и на пальцах остались темные следы.

Не сводя глаз с кучки пустой одежды на столе, Эдвин стал пятиться к стене — к двери, которая раньше всегда была заперта. Когда он нажал на кнопку, дверь лениво отъехала в стену. Заглянув в знакомый чулан, Эдвин на всякий случай крикнул:

— Учительница!

Затем он ворвался туда, дверь с грохотом захлопнулась, и Эдвин нажал на красную кнопку. Комната начала опускаться — и вместе с ней опускался могильный холод этого странного утра. Холод и тишина. Тишина и холод. Учительница — ушла. Мама — уснула.

Комната все ехала и ехала вниз, зажав его своими железными челюстями.

Затем что-то щелкнуло. Дверь отъехала в сторону. Эдвин выбежал наружу.

Гостиная!

Дверь закрылась за ним и сразу слилась с деревянной панелью стены.

Мать все так же лежала на полу и спала.

Вдруг Эдвин заметил под ее свернувшимся телом смятую учительскую перчатку. Взяв ее в руки, он долго стоял и не верил своим глазам, а потом тихонько заплакал.

Но делать было нечего, и Эдвин снова взлетел в чулане наверх, в школу, и застал там прежнюю картину: холодный камин, пустоту и тишину. Он еще немного подождал. Учительница все не появлялась. Тогда он снова помчался вниз, в Долину, и велел столу заполниться вкусным горячим завтраком. Это тоже не помогло.

Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Сколько он ни сидел рядом с матерью, ни просил, ни уговаривал ее проснуться, она не отзывалась и руки ее были холодны как лед.

Тикали часы, за окном двигалось по небу солнце, а мать все лежала и не двигалась. Эдвину страшно хотелось есть, но в пустынном доме шевелились лишь серебристые пылинки, парящие сверху вниз сквозь толщу Миров.

Где же все-таки Учительница? Если ее нет ни на одном из Холмов наверху, значит, она может быть только в одном

месте... Наверное, она случайно забрела на Природу и заблудилась. Надо помочь ей. Эдвин пойдет, покричит, найдет ее — и она придет и разбудит маму. Иначе мама так и будет лежать здесь в пыли целую вечность.

Эдвин вышел через кухню наружу. Солнце было уже довольно низко. Где-то за пределами Мира, вдалеке, слышалось тихое жужжание Тварей. Эдвин подошел вплотную к садовой ограде, но заходить за нее не решился.

Вдруг на земле, в тени деревьев он заметил коробку с Попрыгунчиком, которую выбросил прошлой ночью из окна. На разбитой крышке плясали солнечные блики, а из середины торчал сам Попрыгунчик, который наконец-то вырвался из своей тюрьмы. Его тоненькие ручки поднялись и застыли в вечном радостном жесте: «Да здравствует свобода!» Солнце играло на кукольном личике, и от этого Эдвину казалось, что красный рот кривит то улыбка, то гримаса печали.

Как загипнотизированный, стоял Эдвин над разбитой игрушкой и смотрел, смотрел... Коробка лежала на боку. Бархатные ладошки чертика тянулись вверх и показывали прямо на запретную дорогу, ведущую между деревьями в загадочное туда. Там, в лесу, царил едва уловимый запах машинного масла, которое — он знал — капает из Тварей. Но сейчас, кажется, на дороге было все тихо. Ласково пригревало солнце, ветерок шевелил листву деревьев. И Эдвин решил пойти вдоль каменной ограды.

— Учительница-а... — тихонько позвал он.

Никто не отозвался. Тогда он сделал несколько шагов по дороге.

— Учительница!

Он поскользнулся на кучке, оставленной каким-то животным, и остановился, мучительно вглядываясь в лежащий перед ним коридор из деревьев.

— Учительница!

Эдвин снова двинулся вперед — медленно, неуклонно. Пройдя еще несколько шагов, обернулся. Позади лежал его Мир — такой непривычно затихший... И маленький! Оказывается, он был такой маленький! Мирок, а не мир.

От нахлынувших чувств у Эдвина едва не остановилось сердце. Он невольно шагнул обратно, но потом спохватился, вспомнив о странной, пугающей тишине сегодняшнего утра — и снова зашагал через лес.

Все вокруг было таким новым, таким незнакомым. Запахи, которые так и лезли в ноздри, цвета и очертания предметов, их ошеломляющие размеры...

И вдруг дорога кончилась. Самая обычная дорога, она сбегала себе в долину, как ей положено, — между голых каменистых склонов и зеленых дубов, а затем вдоль бескрайнего пшеничного поля, одиноко раскинувшегося под солнцем. Она поднималась к маленькому белому дому, который стоял на краю поля, и тут просто-напросто исчезала, как будто сделала свое дело и теперь в ней не было больше надобности.

Все это, впрочем, было не так уж и важно, потому что как раз здесь иссякли последние капли бензина. Дрю Эриксон нажал на тормоз, остановил ветхий автомобиль и остался сидеть в нем, молчаливо разглядывая свои большие грубые руки — руки фермера.

Не меняя положения, Молли заговорила из своего уголка, где прикорнула у него под боком:

— Мы, верно, не туда свернули на распутье.

Дрю кивнул.

Губы Молли были такими же бесцветными, как и лицо. Но на влажной от пота коже они выделялись сухой полоской. Голос у нее был ровный, невыразительный.

— Дрю, — сказала она, — Дрю, что же нам теперь делать?

Дрю разглядывал свои руки. Руки фермера, из которых сухой, вечно голодный ветер, что никогда не может насытиться доброй, плодородной землей, выдул ферму.

Дети, спавшие сзади, проснулись и выкарабкались из пыльного беспорядка узлов, перин, одеял и подушек. Их головы появились над спинкой сиденья.

— Почему мы остановились, пап? Мы сейчас будем есть, да? Пап, мы ужас как хотим есть. Нам можно сейчас поесть, папа, можно, а?

Дрю закрыл глаза. Ему было противно глядеть на свои руки.

Пальцы Молли легли на его запястье. Очень легко, очень мягко.

— Дрю, может, в этом доме для нас найдут что-нибудь поесть?

У него побелели губы.

— Милостыню, значит, просить! — отрезал он. — До сих пор никто из нас никогда не побирался. И не будет.

Молли сжала ему руку. Он повернулся и поглядел ей в глаза. Он увидел, как смотрят на него Сюзи и маленький Дрю. У него медленно обмякли мускулы, лицо опало, сделалось пустым и каким-то бесформенным — как вещь, которую колошматили слишком крепко и слишком долго. Он вылез из машины и неуверенно, словно был нездоров или плохо видел, пошел по дорожке к дому.

Дверь стояла незапертой. Дрю постучал три раза. Внутри было тихо, и белая оконная занавеска подрагивала в тяжелом раскаленном воздухе.

Он понял это еще на пороге — понял, что в доме смерть. То была тишина смерти.

Он прошел через небольшую прихожую и маленькую чистую гостиную. Он ни о чем не думал: просто не мог. Он искал кухню чутьем, как животное.

И тогда, заглянув в открытую дверь, он увидел тело.

Старик лежал на чистой белой постели. Он умер не так давно: его лицо еще не утратило светлой умиротворенности последнего покоя. Он, наверное, знал, что умирает, потому что на нем был воскресный костюм — старая черная пара, опрятная и выглаженная, и чистая белая рубашка с черным галстуком.

У кровати, прислоненная к стене, стояла коса. В руках старика был зажат свежий пшеничный колос. Спелый колос, золотой и тяжелый.

Дрю на цыпочках вошел в спальню. Его пробрал холодок. Он стянул пропыленную мятую шляпу и остановился возле кровати, глядя на старика.

На подушке в изголовье лежала бумага. Должно быть, для того, чтобы кто-то ее прочел. Скорее всего просьба похоронить или вызвать родственников. Наморщив лоб, Дрю принялся читать, шевеля бледными пересохшими губами.

«Тому, кто стоит у моего смертного ложа.

Будучи в здравом рассудке и твердой памяти и не имея, согласно условию, никого в целом мире, я, Джон Бур, пере-

даю и завещаю эту ферму со всем к ней относящимся первому пришедшему сюда человеку независимо от его имени и происхождения. Ферма и пшеничное поле — его; а также коса и обязанности, ею предопределяемые. Пусть он берет все это свободно и с чистой совестью — и помнит, что я, Джон Бур, только передаю, но не предопределяю. К чему приложил руку и печать 3-го дня апреля месяца 1938 года. Подписано: Джон Бур. *Kyrie eleison!*»*

Дрю прошел назад через весь дом и остановился в дверях.

— Молли, — позвал он, — иди-ка сюда! А вы, дети, сидите в машине.

Молли вошла. Он повел ее в спальню. Она прочитала завешание, посмотрела на косу, на пшеничное поле, волнующееся за окном под горячим ветром. Ее бледное лицо посуровело, она прикусила губу и прижалась к мужу.

— Все это слишком хорошо, чтобы можно было поверить. Наверняка здесь что-то не так.

Дрю сказал:

— Нам повёзло, только и всего. У нас будет работа, будет еда, будет крыша над головой — спастись от непогоды.

Он дотронулся до косы. Она мерцала, как полумесяц. На лезвии были выбиты слова: «Мой хозяин — хозяин мира». Тогда они ему еще ничего не говорили.

— Дрю, зачем, — спросила Молли, не отводя глаз от сведенных в кулак пальцев старика, — зачем он так крепко вцепился в этот колос?

Но тут дети подняли на крыльце возню, нарушив гнетущее молчание. У Молли подступил комок к горлу.

Они остались жить в доме. Они похоронили старика на холме и прочитали над ним молитву, а затем спустились вниз, и прибрались в комнатах, и разгрузили машину, и поели, потому что на кухне было вдоволь еды; и первые три дня они ничего не делали, только приводили в порядок дом, и смотрели на поле, и спали в удобных, мягких постелях. Они удивленно глядели друг на друга и не могли понять, что же это такое происходит: едят они теперь каждый день, а для Дрю нашлись даже сигары, так что каждый день он выкуривает по одной перед сном.

За домом стоял небольшой коровник, а в нем — бык и три коровы; еще они обнаружили родник под большими деревьями, что давали прохладу. Над родником была сооружена

* Господи, помилуй! (*греч.*)

кладовка, где хранились запасы говядины, бекона, свинины и баранины. Семья человек в двадцать могла бы кормиться этим год, два, а то и все три. Там стояли еще маслобойка, ларь с сырами и большие металлические бидоны для молока.

На четвертый день Дрю Эриксон проснулся рано утром и посмотрел на косу. Он знал, что ему пора приниматься за дело, потому что пшеница в бескрайнем поле давно поспела. Он видел это собственными глазами и не собирался отлынивать от работы. Хватит, он и так пробездельничал целых три дня. Как только повеяло свежим рассветным холодком, он поднялся, взял косу и, закинув ее на плечо, отправился в поле. Он поудобнее взялся за рукоять, опустил косу, размахнулся...

Поле было очень большое. Слишком большое, чтобы с ним мог управиться один человек. И однако же до Дрю с ним управлялся один человек.

После первого дня работы он вернулся домой, спокойно неся косу на плече, но лицо у него было озадаченное. Ему никогда не приходилось иметь дело с таким странным пшеничным полем. Пшеница попевала на нем отдельными участками, каждый сам по себе. Не положено пшенице так вести себя. Молли он об этом не сказал. Он не сказал ей про поле и всего остального. Того, например, что пшеница начинает гнить уже через пару часов после того, как ее сожнешь. Такого пшенице тоже делать не положено. Впрочем, все это мало его беспокоило: еды и без того было вдоволь.

Наутро пшеница, которую накануне он оставил гнить на земле, лопнула, пустила крохотные корешки и дала маленькие зеленые побеги — она родилась заново.

Дрю Эриксон поскреб подбородок. Ему очень хотелось знать, почему, зачем и как все это выходит и какой ему от этого прок, если он не может ее продать. Днем он раза два поднимался на холм к могиле в тайной надежде узнать там что-нибудь про поле. Он глядел сверху и видел, как много земли ему принадлежит. Поле простиралось на три мили по направлению к горам и было около двух миль шириной. На одних участках пшеница пускала ростки, на других стояла золотой, на третьих была еще зеленая, а на четвертых лежала, только что сжатая его рукой. Но старик так ничего ему и не сказал, ведь он лежал теперь глубоко, под грудой камней. Могилка была погружена в свет, ветер и тишину. И Дрю Эриксон отправился назад в поле, чтобы, снедаемый любопытством, снова взяться за косу. Работа доставляла ему удовольствие: она казалась нужной. Он бы не ответил, почему именно, но так ему казалось. Очень, очень нужной.

Он просто не мог позволить пшенице остаться необранной: Каждый день поспевал новый участок, и, прикинув вслух, ни к кому, собственно, не обращаясь, он произнес:

— Если десять лет кряду жать пшеницу, как только она поспевает, то и тогда мне, пожалуй, не выйдет дважды работать на одном и том же участке. Такое большое поле, будь оно неладно. — Он покачал головой. — И вызревает пшеница как-то хитро. Ровнехонько столько, чтобы я за день сумел управиться со спелым участком и оставить одну зелень. А наутро как пить дать уже новый участок готов...

Жать пшеницу, когда она тут же превращалась в гнилье, было до обидного бестолковым делом. В конце недели он решил несколько дней не ходить в поле.

Он пролежал в постели дольше обычного, прислушиваясь к тишине в доме, и эта тишина вовсе не походила на тишину смерти. Такая тишина могла быть только там, где живут хорошо и счастливо.

Он встал, оделся и не торопясь позавтракал. Он не собирався идти работать. Он вышел, чтобы подоить коров, выкурил на крыльце сигарку, послонялся по двору, а потом вернулся в дом и спросил у Молли, зачем это он выходил.

— Подоить коров, — сказала она.

— Ну конечно, — сказал он и снова пошел во двор. Коровы уже ждали, когда их подоят, и он подоил их, а бидоны поставил в кладовку, что над родником, но в мыслях у него было совсем другое. Пшеница. Коса.

Все утро он просидел на заднем крыльце, скручивая сигарки. Он сделал игрушечную лодку для малыша и еще одну для Сюзи, потом сбил немного масла и слил пахтанье, но голова у него разламывалась от одной сверлящей мысли. Когда пришло время полдничать, ему не хотелось есть. Он все смотрел на пшеницу, как она склоняется, волнуется и ходит рябью под ветром. Руки произвольно сгибались, пальцы сжимали воображаемую рукоять и ныли, когда он вновь сидел на крыльце, положив ладони на колени. Подушечки пальцев зудели и горели. Он встал, вытер ладони о штаны, сел, попытался свернуть еще одну сигарку, но ничего не вышло, и он, чертыхнувшись, отбросил табак и бумагу. Он чувствовал себя так, словно у него отрезали третью руку или укоротили две настоящих.

Он слышал, как в поле колосья шепчутся с ветром.

До часу дня он слонялся во дворе и по дому, прикидывал, не выкопать ли оросительную канаву, но на самом деле все

время думал о пшенице — какая она спелая и как она ждет, чтобы ее убрали.

— Да пропади она пропадом!

Он решительно направился в спальню и снял косу со стены, где она висела на деревянных колышках. Постоял, сжимая ее в руках. Теперь ему стало спокойно. Ладони перестали зудеть, голова уже не болела. Ему возвратили третью руку, и он снова был самим собой.

Это превратилось в инстинкт. Такой же загадочный, как молния, что бьет, но боли не причиняет. Он должен жать каждый день. Пшеницу необходимо жать. Почему? Необходимо — и все тут. Он засмеялся, чувствуя рукоять косы в своих могучих руках. Затем, насвистывая, отправился в поле, где его ждала созревшая пшеница, и сделал то, что требовалось. Он подумал, что немного свихнулся. Черт возьми, ведь в этом пшеничном поле нет ничего необычного, правда? Почти ничего.

Дни бежали с размеренностью послушных лошадок.

Работа стала для Дрю Эриксона сухой болью, голодом и жизненной необходимостью. Он начал кое о чем догадываться.

Однажды Сюзи и малыш с радостным смехом добрались до косы и принялись с ней играть, пока отец завтракал на кухне. Он услышал их возню, вышел и отобрал косу. Кричать он на них не кричал, однако вид у него при этом был очень встревоженный. После этого он запирал косу всякий раз, как возвращался с поля.

Он выходил косить каждое утро, не пропуская ни дня.

Вверх. Вниз. Вверх, вниз и в сторону. И снова — вверх, вниз и в сторону. Он резал пшеницу. Вверх. Вниз.

Вверх.

Думай о старике и о колосе в его руках.

Вниз.

Думай о бесплодной земле, на которой растет пшеница.

Вверх.

Думай о том, как она растет, как непонятно чередуются спелые и зеленые участки.

Вниз.

Думай о...

Высокой желтой волной легла под ноги подкошенная пшеница. Небо сделалось черным. Дрю Эриксон выронил косу и согнулся, прижав к животу руки. В глазах стояла тьма, все вокруг бешено завертелось.

— Я кого-то убил! — выдохнул он, даваясь и хватаясь за грудь. Он упал на колени рядом с лезвием. — Сколько же это я людей порешил...

Небо кружилось, как голубая карусель на сельской ярмарке в Канзасе. Но без музыки. Только в ушах стоял звон.

Молли сидела за синим кухонным столом и чистила картошку, когда он вошел, спотыкаясь, волоча за собой косу.

— Молли!

Он плохо видел ее: в глазах стояли слезы.

Молли сложила руки и тихо ждала, когда он соберется с силами рассказать ей, что случилось.

— Собирай вещи, — приказал Дрю, глядя в пол.

— Зачем?

— Мы уезжаем, — сказал он тусклым голосом.

— Уезжаем? — спросила она.

— Тот старик. Знаешь, что он здесь делал? Это все пшеница, Молли, и коса. Каждый раз, когда загоняешь косу в пшеницу, умирает тысяча людей. Ты подрезаешь их и...

Молли поднялась, положила нож и отодвинула картошку в сторону. В голосе ее звучало понимание.

— Мы долго ездили и мало ели, пока не попали сюда в прошлом месяце, а ты каждый день работал и устал...

— Я слышу голоса, грустные голоса там, в поле. В пшенице, — сказал он. — Они шепчут, чтобы я перестал. Просят не убивать их.

— Дрю!

Он не слышал ее.

— Пшеница растет по-дурному, по-дикому, словно она свихнулась. Я тебе не говорил. Но с ней что-то недоброе.

Она внимательно на него посмотрела. Его глаза глядели без мысли, как синие стекляшки.

— Думаешь, я тронулся? — спросил он. — Погоди, это еще не все. О Господи, Молли, помоги мне: я только что убил свою мать!

— Перестань! — твердо сказала она.

— Я срезал колос и убил ее. Я почувствовал, что она умирает. Вот как я понял...

— Дрю! — Ее голос, злой и испуганный, хлестнул его по лицу. — Замолчи!

— Ох, Молли, — пробормотал он.

Он разжал пальцы, и коса со звоном упала на пол. Она подняла ее и грубо сунула в угол.

— Десять лет я живу с тобой, — сказала она. — На обед у нас частенько бывали одна только пыль да молитвы. И вот привалило такое счастье, а ты не можешь с ним справиться!

Она принесла из гостиной Библию и начала листать книгу. Страницы шелестели, как колосья под тихим ветром.

— Садись и слушай, — сказала она.

Снаружи донесся смех — дети играли у дома в тени огромного дуба.

Она читала, время от времени поднимая глаза, чтобы следить за выражением его лица.

После этого она каждый день читала ему из Библии. А в среду через неделю Дрю отправился в город на почту — узнать, нет ли для него чего в окошке «До востребования». Его ждало письмо.

Домой он вернулся постаревшим лет на двести.

Он протянул Молли письмо и бесстрастным срывающим голосом рассказал его содержание:

— Мать умерла... в час дня во вторник... от сердца...

Он ничего не добавил, сказал только:

— Отведи детей в машину и собери еды на дорогу. Мы уезжаем в Калифорнию.

— Дрю... — сказала Молли, не выпуская письма из рук.

— Ты сама знаешь, — сказал он, — что на этой земле пшеница должна родиться худо. А посмотри, какой она вырастает. Я тебе еще не все рассказал. Она поспевает участками, каждый день понемногу. Нехорошо это. Когда я срезаю ее, она гниет! А уже на другое утро дает ростки, снова начинает расти. На той неделе, когда я во вторник жал хлеб, я все равно что себя по телу полоснул. Услышал — кто-то вскрикнул. Совсем как... А сегодня вот письмо.

— Мы остаемся здесь, — сказала она.

— Молли!

— Мы остаемся здесь, где у нас есть верный кусок хлеба и кров, где мы наверняка проживем по-человечески, и проживем долго. Я не собираюсь больше морить детей голодом, слышишь! Ни за что!

За окнами голубело небо. Солнце заглянуло в комнату. Спокойное лицо Молли одной стороной было в тени, но освещенный глаз блеснул яркой синевой. Четыре или пять капель успели медленно набежать на кончике кухонного крана, вырасти, переливаясь на солнце, и оборваться, прежде чем Дрю вздохнул. Вздохнул глубоко, безнадежно, устало. Он кивнул, не поднимая глаз.

— Хорошо, — сказал он. — Мы остаемся.

Он нерешительно поднял косу. На металле лезвия неожиданно ярко вспыхнули слова: «Мой хозяин — хозяин мира!»

— Мы остаемся...

Утром он пошел провести старика. Из самой середины могильного холмика тянулся одинокий молодой росток пшеницы — тот самый колос, что старик держал в руках несколько недель назад, только народившийся заново.

Он поговорил со стариком, но ответа не получил.

— Ты всю жизнь проработал в поле, потому что так было надо, и однажды натолкнулся на колос собственной жизни. Ты его срезал. Пошел домой, надел воскресный костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно и было, правда? И ты передал землю мне, а когда я умру, я должен буду передать ее кому-то еще.

В голосе Дрю зазвучал страх.

— Сколько времени все это тянется? И никто в целом свете не знает про поле и для чего оно — только тот, у кого в руках коса?..

Он вдруг ощутил себя глубоким старцем. Долина показалась ему древней, как мумия, потаенной, высохшей, призрачной и могущественной. Когда индейцы плясали в прериях, оно уже было здесь, это поле. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Какой-нибудь доисторический человек, жестокий и волосатый, крадучись выходил резать пшеницу грубой деревянной косой...

Дрю вернулся к работе. Вверх, вниз. Вверх, вниз.

Помешанный на мысли, что владеет этой косой. Он сам, лично! Понимание нахлынуло на него сумасшедшей, всепоглощающей волной — сила и ужас одновременно.

Вверх! Мой хозяин! Вниз! Хозяин мира!

Пришлось ему примириться со своей работой, подойти к ней по-философски. Он всего лишь отработывал пищу и кров для жены и детей. После всех этих лет они имеют право на человеческое жилье и еду.

Вверх, вниз. Каждый колос — жизнь, которую он аккуратно подрезает под корень. Если все рассчитать точно — он взглянул на пшеницу, — что ж, он, Молли и дети смогут жить вечно.

Стоит найти, где растут колосья Молли, Сюзи и маленького Дрю, и он никогда их не срежет.

А затем он почувствовал, словно кто-то ему нашептал: вот они.

Прямо перед ним.

Еще взмах — и он бы напрочь скосил их.

Молли. Дрю. Сюзи. И никакой ошибки. Задрожав, он опустил на колени и принялся разглядывать колоски. Они были теплыми на ощупь.

Он даже застонал от облегчения. А если б, не догадавшись, он их срезал?! Он перевел дыхание, встал, поднял косу, отошел от поля на безопасное расстояние и долго стоял, не сводя с него глаз.

Молли страшно удивилась, когда, вернувшись домой раньше времени, он безо всякого повода поцеловал ее в щеку.

За обедом Молли спросила:

— Ты сегодня кончил раньше? А пшеница — что она, все так же гниет, как только ее срежешь?

Он кивнул и положил себе еще мяса.

Она сказала:

— Ты бы написал этим, которые занимаются сельским хозяйством, пусть приедут посмотреть на нее.

— Нет, — сказал он.

— Я же только предлагаю, — сказала она.

Его зрачки расширились.

— Мне придется остаться здесь до самой смерти. Никто, кроме меня, не сумеет сладить с этой пшеницей. Откуда им знать, где надо жать, а где не надо. Они, чего доброго, еще начнут жать не на тех участках.

— Какие это «не те участки»?

— А никакие, — ответил он, медленно прожевывая кусок. — Неважно — какие.

Он в сердцах стукнул вилкой о стол.

— Кто знает, что им может прийти в голову! Этим молодчикам из правительственного отдела! А ну как им придет в голову перепахать все поле!

Молли кивнула.

— Как раз то, что нужно, — сказала она. — А потом снова засеять его хорошим зерном.

Он даже не доел обеда.

— Никакому правительству я писать не собираюсь и никому не позволю работать в поле. Как я сказал, так и будет! — заявил он и выскочил из комнаты, с треском хлопнув дверью.

Он обогнул то место, где жизни его жены и детей росли под солнцем, и пошел косить на дальний конец поля, где, как он знал, это было для них безопасно.

Но работа ему разонравилась. Через час он узнал, что принес смерть трем своим старым добрым друзьям в Миссури. Он прочел их имена на срезанных колосьях и уже не мог продолжать работу.

Он запер косу в кладовку, а ключ спрятал подальше: хватит с него, он покончил с жатвой раз и навсегда.

Вечером он сидел на парадном крыльце, курил трубку и рассказывал детям сказки, чтобы послушать, как они смеются. Но они почти не смеялись. Они выглядели усталыми, чудными, какими-то далекими — словно и не его.

Молли жаловалась на голову, без дела бродила по дому, рано легла спать и крепко уснула. Это тоже было странно. Обычно она любила посидеть допоздна — и язык у нее работал без устали.

В лунном свете поле было как море, подернутое рябью.

Оно нуждалось в жатве. Отдельные участки требовалось убрать немедленно. Дрю Эриксон сидел, тихо сглатывая набегающую слюну, и старался на них не глядеть.

Что станет с миром, если он никогда больше не выйдет в поле? Что станет с теми, кто уже созрел для смерти, кто ждет пришествия косы?

Поживем — увидим.

Молли тихо дышала, когда он задул лампу и улегся в постель. Уснуть он не мог. Он слышал ветер в пшенице, его руки тосковали по работе.

В полночь он очнулся и увидел, что идет по полю с косой в руках. Идет в полусне, как лунатик, идет и боится. Он не помнил, как открыл кладовку и взял косу. Но вот он здесь, идет при луне, раздвигая пшеницу.

Среди колосьев встречалось много старых, уставших, жаждущих сна. Долгого, безмятежного, безлунного сна.

Коса завладела им, приросла к ладоням, толкала вперед.

С большим трудом ему удалось от нее избавиться. Он бросил ее на землю, отбежал подальше в пшеницу и упал на колени.

— Не хочу больше убивать, — молил он. — Если я буду косить, мне придется убить Молли и детей. Не требуй от меня этого!

Одни только звезды сияли на небе.

За спиной у него послышался глухой, неясный звук.

Что-то похожее на живое существо с красными руками взметнулось над холмом к небу, лизнув звезды. В лицо Дрю

пахнул ветер. Он принес с собой искры, густой чадный запах пожара.

Дом!

Всклипывая, Дрю медленно, безнадежно поднялся на ноги, не сводя глаз с большого пожара.

Белый домик и деревья вокруг тонули в сплошном яростном вихре ревущего огня. Волны раскаленного воздуха перекатывались через холм, и, сбегаая с холма, Дрю плыл в них, барахтался, уходил под них с головой.

Когда он добежал, в доме не осталось ни одной черепицы, ни единой доски или половицы, на которых не плясало бы пламя. От огня шли звон, треск и шуршание.

Изнутри не доносилось пронзительных криков, никто не бежал и не кричал снаружи.

— Молли! Сюзи! Дрю! — завопил он.

Ответа не было. Он подбежал так близко, что его брови закурчавились, а кожа, казалось, начинает сползать от жара, как горящая бумага, превращаясь в плотные хрустящие завитки.

— Молли! Сюзи!

Тем временем огонь радостно пожирал свою пищу. Дрю раз десять обежал вокруг дома, пытаясь проникнуть внутрь. Потом сел, подставив тело опаляющему жару, и прождал до тех пор, пока с грохотом не рухнули стены, взметнув тучи искр, пока не обвалились последние балки, погребая полы под слоем оплавленной штукатурки и обугленной дранки, пока само пламя не задохнулось наконец в густом дыму. Медленно начиналось утро нового дня, и ничего не осталось, кроме подернутых пеплом углей да едко тлеющих головешек.

Не замечая жара, который шел от развалин, Дрю ступил на пепелище. Было еще слишком темно, и он не мог толком разглядеть, что к чему. У горла на потной коже играли красные блики. Он стоял, как чужак, попавший в новую необычную страну. Здесь — кухня. Обуглившиеся столы, стулья, железная печка, шкафы. Здесь — прихожая. Здесь — гостиная, а вот здесь была их спальня, где...

Где все еще была жива Молли!

Она спала среди рухнувших балок и докрасна раскаленных матрасных пружин и железных прутьев.

Она спала как ни в чем не бывало. Маленькие белые руки, вытянутые вдоль тела, усыпаны искрами. Лицо дышало безмятежностью сна, хотя на одной из щек тлела планка.

Дрю застыл, не веря собственным глазам. Посреди дымящихся остатков спальни она лежала на мерцающей постели

из углей — на коже ни царапинки, грудь опускается и подымается, вбирая воздух.

— Молли!

Жива и спит после пожара, после того, как обвалились стены, как на нее обрушился потолок и все кругом было объято пламенем.

У него на ботинках дымилась кожа, пока он пробирался сквозь курящиеся развалы. Он мог бы сжечь подошвы и не заметить...

— Молли...

Он склонился над ней. Она не шевельнулась и не услышала. Не заговорила в ответ. Она не умирала, но и не жила. Она просто лежала там, где лежала, и огонь окружал ее, но не тронул, не причинил ей никакого вреда. Полотняная ночная рубашка была цела, хотя и припорошена пеплом. Каштановые волосы, как по подушке, разметались по куче раскаленных углей.

Он коснулся ее щеки — она была прохладной. Прохладной в этом адовом пекле! Губы, тронутые улыбкой, подрагивали от едва заметного дыхания.

И дети были тут же. Под дымной пеленой он различил в золе две маленькие фигурки, разбросавшиеся во сне.

Он перенес всех троих на край поля.

— Молли, Молли, проснись! Дети, дети, проснитесь! Они дышали и не двигались. Они не просыпались.

— Дети, проснитесь! Ваша мама...

Умерла? Нет, не умерла. Но...

Он тряс детей, словно те были во всем виноваты. Они не обращали внимания — им снились сны. Он опустил их на землю и застыл над ними, а лицо его было изрезано морщинами.

Он знал, почему они спали, когда бушевал пожар, и все еще спят. Он знал, почему Молли так и будет лежать перед ним и никогда больше не захочет рассмеяться.

Могушество косы и пшеницы.

Их жизнь, которой еще вчера, 30 мая 1938 года, пришел срок, была продлена по той простой причине, что он отказался косить пшеницу. Им полагалось погибнуть во время пожара. Именно так и должно было быть. Но он не работал в поле, и поэтому ничто не могло причинить им вреда. Дом сгорел и рухнул, а они продолжали существовать, остановленные на полпути, не мертвые и не живые. Ожидая своего часа. И во всем мире тысячи таких же, как они, — жертвы несчастных случаев, пожаров, болезней, самоубийств — спали

в ожидании — так же, как спала Молли и дети. Бессильные жить, бессильные умереть. Только потому, что кто-то испугался жать спелую пшеницу. Только потому, что один-единственный человек решил не работать косой, никогда больше не брать этой косы в руки.

Он посмотрел на детей. Работа должна исполняться все время, изо дня в день, непрерывно и безостановочно: он должен косить всегда, косить вечно, вечно, вечно.

Что ж, подумал он. Что ж. Пойду косить.

Он не сказал им ни слова на прощанье. Он повернулся (в нем медленно закипала злоба), взял косу и пошел в поле — сначала быстрым шагом, потом побежал, потом понесся длинными упругими скачками. Колосья били его по ногам, а он, одержимый, неистовый, мучился жаждой работы. Он с криком проридался сквозь густую пшеницу и вдруг остановился.

— Молли! — выкрикнул он и взмахнул косой.

— Сюзи! — выкрикнул он. — Дрю! — И взмахнул еще раз.

Раздался чей-то вопль. Он даже не обернулся взглянуть на пожарище.

А потом, захлебываясь от рыданий, он снова и снова взмахивал косой и резал налево и направо, налево и направо, налево и направо. И еще, и еще, и еще. Выкашивая огромные клинья в зеленой пшенице и в спелой пшенице, не выбирая и не заботясь, ругаясь, еще и еще, проклиная, содрогаясь от хохота, и лезвие взлетало, сияя на солнце, и шло вниз с поющим свистом!

Вниз!

Взрывы бомб потрясли Москву, Лондон, Токио.

Коса взлетала и опускалась как безумная.

И задымили печи Бельзена и Бухенвальда.

Коса пела, вся в малиновой росе.

И вырастали грибы, извергая слепящие солнца на пески Невады, Хиросиму, Бикини, вырастали грибы все выше и выше.

Пшеница плакала, осыпаясь на землю зеленым дождем.

Корея, Индокитай, Египет. Заволновалась Индия, дрогнула Азия, глубокой ночью проснулась Африка...

А лезвие продолжало взлетать, крушить, резать с бешенством человека, у которого отняли — и отняли столько, что ему уже нет дела до того, как он обходится с человечеством.

Всего в нескольких милях от главной магистрали, если спуститься по каменистой дороге, которая никуда не ведет, всего в нескольких милях от шоссе, забитого машинами, несущимися в Калифорнию.

Иногда — раз в несколько лет — какой-нибудь ветхий автомобиль свернет с шоссе; остановится, запаренный, в тупике у обугленных остатков маленького белого дома, и водитель захочет спросить дорогу у фермера, который бешено, беспрерывно, как одержимый, днем и ночью работает в бескрайнем пшеничном поле.

Но водитель не дожидется ни помощи, ни ответа. После всех этих долгих лет фермер в поле все еще слишком занят, занят тем, что подрезает и крошит зеленую пшеницу вместо спелой.

Дрю Эриксон все косит, и сон так ни разу и не смежил ему веки, и в глазах его пляшет белый огонь безумия, а он все косит и косит.

ДЯДЮШКА ЭЙНАР

— **Д** а у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простынь молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простынь. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью. — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать

на карачках. Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дядюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная, трепещущая петля простынь забила в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые заранее были расстелены в ряд.

— Спасибо! — крикнула Эйнару жена.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того, что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им в общем-то нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья...

Но ненавиди он к своим крыльям не испытывал. Напротив! В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого самое дорогое время! День придет, опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью! Ночью как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллонтауне, штат Иллинойс, к себе домой на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными луной холмами Меллонтауна. Вдруг как гром среди ясного неба... Высоковольтная передача.

Точно утка в силках! И шкворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невеоятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволоочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронули большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену. В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова скорее всего сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилле Вексли нисколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать, да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара.

Он крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя рассказал, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и подлечу

его. Все равно с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он сказал спасибо, но нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллонтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывавшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдете на ферму, там есть лекарства и притирания и... «Ой! Какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли, — сказала она. — Как же это случилось?

— Понимаете... — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров. Смеркалось — шесть часов вечера, — а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего, — сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла; крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, — все бесповоротно выжег этот удар по лицу, голубое жгучее электрическое шипение...

— Как?.. — тихо простонал он. — Как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О, — прошептала она, глядя на свои руки, — что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки глухо гукали оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Бруниллою, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог таинству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана; перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Бруниллою, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Бруниллу на руки и полетел с ней в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и приметил слабые вспышки, треск.

— Зарница, — решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой.

Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может о себе так сказать? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда да разбитые лампы были ему, что нож острый, он держался от стекла подальше. И часы сна переменились, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем, — сказала она однажды. — Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные, как твои.

— Ты уже давно вышла, — ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась.

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва появилось опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Взор, я только рада буду! — сказала она. — Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они, как грибы; не прошло и нескольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой. Не потому, что ему так хочется, а потому, что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему, сидит уныло, пригорюнившись — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежища в его прозрачной тени. Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел? Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут! А теперь? Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

— Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорее! Пусть его сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных далях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспаришь, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали. А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай Бог увидят...

Прозябание в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змеевку, какую же еще! — дружно откликнулись дети.

Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки. Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда!

Он долго глядел на них. Он вздохнул:

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар.

Он расправил крылья, напряг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, нашел! Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому. — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочки, разбурляющийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь! Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь каждый день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечевку в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпеливыми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, направлял... И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеленого змея, как он взмахивал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокошущий змей в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

ВЕТЕР

В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого. Стоял декабрь, и уже стемнело, когда Томпсон взял трубку.

— Слушаю.

— Алло. Герб?

— А, это ты, Аллин.

— Твоя жена дома, Герб?

— Конечно. А что?

— Ничего, так просто.

Герб Томпсон спокойно держал трубку.

— В чем дело? У тебя какой-то странный голос.

— Я хотел, чтобы ты приехал ко мне сегодня вечером.

— Мы ждем гостей.

— Хотел, чтобы ты остался ночевать у меня. Когда уезжает твоя жена?

— На следующей неделе, — ответил Томпсон. — Дней девять пробудет в Огайо. Ее мать заболела. Тогда я приеду к тебе.

— Лучше бы сегодня.

— Если бы я мог... Гости и все такое прочее. Жена убьет меня.

— Очень тебя прошу.

— А в чем дело? Опять ветер?

— Нет... Нет, нет.

— Говори: ветер? — повторил Томпсон.

Голос в трубке замялся.

— Да. Да, ветер.

— Но ведь небо совсем ясное, ветра почти нет!

— Того, что есть, вполне достаточно. Вот он, дохнул в окно, чуть колышет занавеску... Достаточно, чтобы я понял.

— Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам, не переночевать здесь? — сказал Герб Томпсон, обводя взглядом залитый светом холл.

The Wind

© Л. Жданов, перевод, 1966

— Что ты. Поздно. Он может перехватить меня в пути. Очень уж далеко. Не хочу рисковать, а вообще спасибо за приглашение. Тридцать миль как-никак. Спасибо...

— Прими снотворное.

— Я целый час в дверях простоял, Герб. На западе на горизонте такое собирается... Такие тучи, и одна из них на глазах у меня будто разорвалась на части. Будет буря, уж это точно.

— Ладно, ты только не забудь про снотворное. И звони мне в любое время. Хотя бы сегодня еще, если надумаешь.

— В любое время? — переспросил голос в трубке.

— Конечно.

— Ладно, позвоню, но лучше бы ты приехал. Нет, я не желаю тебе беды. Ты мой лучший друг, зачем рисковать. Пожалуй, мне и впрямь лучше одному встретить испытание. Извини, что я тебя побеспокоил.

— На то мы и друзья! Расскажи-ка, чем ты сегодня занят?.. Почему бы тебе не пописать немного? — говорил Герб Томпсон, переминаясь с ноги на ногу в холле. — Отвлечешься, забудешь свои Гималаи и эту долину Ветров, все эти твои штормы и ураганы. Как раз закончил бы еще одну главу своих путевых очерков.

— Попробую. Может быть, получится, не знаю. Может быть... Большое спасибо, что ты разрешаешь мне беспокоить тебя.

— Брось, не за что. Ну, кончай, а то жена зовет меня обедать.

Герб Томпсон повесил трубку. Он прошел к столу, сел; жена сидела напротив.

— Это Аллин звонил? — спросила она.

Он кивнул.

— Не надоед он тебе своими ветрами, которые то подуют, то стихнут, то жаром его обдадут, то холодом? — продолжала она, передавая ему полную тарелку.

— Ему там, в Гималаях, во время войны туго пришлось, — ответил Герб Томпсон.

— Неужели ты веришь его рассказам про эту долину?

— Очень уж убедительно он рассказывает.

— Лазать куда-то, карабкаться... И зачем это мужчины лазают по горам, сами на себя страх нагоняют?

— Шел снег, — сказал Герб Томпсон.

— В самом деле?

— И дождь хлестал... И град, и ветер, все сразу. В той самой долине. Аллин мне много раз рассказывал. Здорово

рассказывает... Забрался на большую высоту, кругом облака и все такое... И вся долина гудела.

— Как же, как же, — сказала она.

— Такой звук был, точно дул не один ветер, а множество. Ветры со всех концов света. — Он поднес вилку ко рту. — Так Аллин говорит.

— Незачем было туда лезть, только и всего, — сказала она. — Ходит-бродит, всюду свой нос сует, потом начинает сочинять. Мол, ветры разгневались на него, стали преследовать...

— Не смейся, он мой лучший друг, — рассердился Герб Томпсон.

— Ведь это все чистейший вздор!

— Вздор или нет, а сколько раз он потом попадал в переделки! Шторм в Бомбее, через два месяца тайфун у берегов Новой Гвинеи. А случай в Корнуолле?..

— Не могу сочувствовать мужчине, который без конца то в шторм, то в ураган попадает, и у него от этого развивается мания преследования.

В этот самый миг зазвонил телефон.

— Не бери трубку, — сказала она.

— Вдруг что-нибудь важное!

— Это опять твой Аллин.

Девять раз прозвенел телефон, они не поднялись с места. Наконец звонок замолчал. Они доели обед. На кухне под легким ветерком из приоткрытого окна чуть колыхались занавески.

Опять телефонный звонок.

— Я не могу так, — сказал он и взял трубку. — Я слушаю, Аллин!

— Герб! Он здесь! Добрался сюда!

— Ты говоришь в самый микрофон, отодвинься немного.

— Я стоял в дверях, ждал его. Увидел, как он мчится по шоссе, гнет деревья одно за другим, потом зашелестели кроны деревьев возле дома, потом он сверху метнулся вниз, к двери, я захлопнул ее прямо перед носом у него!

Томпсон молчал. Он не знал, что сказать, и жена стояла в дверях холла, не сводя с него глаз.

— Очень интересно, — произнес он наконец.

— Он весь дом обложил, Герб. Я не могу выйти, ничего не могу предпринять. Но я его облапошил: сделал вид, будто зазевался, и только он ринулся вниз, за мной, как я захлопнул дверь и запер! Не дал застигнуть себя врасплох, недаром уже которую неделю начеку!

— Ну вот и хорошо, старина, а теперь расскажи мне все, как было, — ласково произнес в телефон Герб Томпсон.

От пристального взгляда жены у него вспотела шея.

— Началось это шесть недель назад...

— Правда? Ну, давай дальше.

— ...Я уж думал, что провел его. Думал, он отказался от попыток расправиться со мной. А он, оказывается, просто-напросто выжидал. Шесть недель назад я услышал его смех и шепот возле дома. Всего около часа это продолжалось, недолго, словом, и совсем негромко. Потом он улетел.

Томпсон кивнул трубке.

— Вот и хорошо, хорошо.

Жена продолжала смотреть на него.

— А на следующий вечер он вернулся... Захлопал ставнями, выдул искры из дымохода. Пять вечеров подряд прилетал, с каждым разом чуточку сильнее. Стоило мне открыть наружную дверь, как он врывается в дом и пытался выгнать меня. Да только слишком слаб был. Зато теперь набрался сил...

— Я очень рад, что тебе лучше, — сказал Томпсон.

— Мне ничуть не лучше, ты что? Опять жена слушает?

— Да.

— Понятно. Я знаю, все это звучит глупо.

— Ничего подобного. Продолжай.

Жена Томпсона ушла на кухню. Он облегченно вздохнул. Сел на маленький стул возле телефона.

— Давай, Аллин, выговорись, скорее уснешь.

— Он весь дом обложил, гудит в застрехах, точно огромный пылесос. Деревья гнет.

— Странно, Аллин, здесь совершенно нет ветра.

— Разумеется, зачем вы ему, он до меня добирается.

— Конечно, такое объяснение тоже возможно...

— Этот ветер — убийца, Герб, величайший и самый безжалостный древний убийца, какой только когда-либо выходил на поиски жертвы. Исполинский охотничий пес бежит по следу, нюхает, фыркает, меня ищет. Подносит холодный носик к моему дому, втягивает воздух... Учужал меня в гостиной, пробует туда ворваться. Я на кухню, ветер за мной. Хочет сквозь окно проникнуть, но я навесил прочные ставни, даже сменил петли и засовы на дверях. Дом крепкий, прежде строили прочно. Я нарочно всюду свет зажег, во всем доме. Ветер следил за мной, когда я переходил из комнаты в комнату, он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество. Ого!

— Что случилось?

— Он только что сорвал проволочную дверь снаружи!

— Ехал бы ты к нам ночевать, Аллин.

— Не могу из дому выйти! Ничего не могу сделать. Я этот ветер знаю. Сильный и хитрый. Только что я хотел закурить — он загасил спичку. Ветер такой: любит поиграть, поддразнить. Не спешит, у него вся ночь впереди. Вот опять! Книга лежит в библиотеке на столе... Если бы ты видел: он отыскал в стене крохотную щелочку и дует, перелистывает книгу, страницу за страницей! Жаль, ты не можешь видеть. Сейчас введение листает. Ты помнишь, Герб, введение к моей книге о Тибете?

— Помню.

— «Эта книга посвящается тем, кто был побежден в поединке со стихиями, ее написал человек, который столкнулся со стихиями лицом к лицу, но сумел спастись».

— Помню, помню.

— Свет погас!

Что-то затрещало в телефоне.

— А сейчас сорвало провода. Герб, ты слышишь?

— Да, да, я слышу тебя.

— Ветру не по душе, что в доме столько света, и он оборвал провода. Наверно, на очереди телефон. Это прямо воздушный бой какой-то! Погоди...

— Аллин!

Молчание. Герб прижал трубку плотнее к уху. Из кухни выглянула жена. Герб Томпсон ждал.

— Аллин!

— Я здесь, — ответил голос в телефоне. — Сквозняк начался, пришлось законопатить щель под дверью, а то прямо в ноги дуло. Знаешь, Герб, это даже лучше, что ты не поехал ко мне, не хватало еще тебе в такой переплет попасть. Ого! Он только что высадил окно в одной из комнат, теперь в доме настоящая буря, картины так и сыплются со стен на пол! Слышишь?

Герб Томпсон прислушался. В телефоне что-то выло, свистело, стучало. Аллин повысил голос, сился перекричать шум.

— Слышишь?

Герб Томпсон проглотил ком.

— Да, слышу.

— Я ему нужен живьем, Герб. Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям: палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня,

моя душа, мозг. Нужна моя жизненная, психическая сила, мое «я», мой разум.

— Жена зовет меня, Аллин. Просит помочь с посудой.

— Над домом огромное туманное облако, ветры со всего мира! Та самая буря, что год назад опустошила Целебес, тот самый памперо, что убил столько людей в Аргентине, тайфун, который потряс Гавайские острова, ураган, который в начале этого года обрушился на побережье Африки. Частица всех тех штормов, от которых мне удалось уйти. Он выследил меня, выследил из своего убежища в Гималаях, ему не дает покоя, что я знаю о долине Ветров, где он укрывается, вынашивая свои разрушительные замыслы. Давным-давно что-то породило его на свет... Я знаю, где он набирается сил, где рождается, где испускает дух. Вот почему он меня ненавидит — меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться. Хочет зажать мне рот. Хочет вобрать меня в свое могучее тело, впитать мое знание. Ему нужно заполучить меня на свою сторону!

— Аллин, я вешаю трубку. Жена...

— Что? — Пауза, далекий вой ветра в телефонной трубке. — Что ты говоришь?

— Позвони мне еще через часок, Аллин.

Он повесил трубку.

Он пошел вытирать тарелки, и жена глядела на него, а он глядел на тарелки, досуха вытирая их полотенцем.

— Как там на улице? — спросил он.

— Чудесно. Тепло. Звезды, — ответила она. — А что?

— Так, ничего.

На протяжении следующего часа телефон звонил трижды. В восемь часов явились гости, Стоддарт с женой. До половины девятого посидели, поболтали, потом раздвинули карточный столик и стали играть в «ловушку».

Герб Томпсон долго, тщательно тасовал колоду — казалось, шуршат открываемые жалюзи — и стал сдавать. Карты одна за другой, шелестя, ложились на стол перед каждым из игроков. Беседа шла своим чередом. Он закурил сигару, увенчал ее кончик конусом легкого серого пепла, взял свои карты, разобрал их по мастям. Вдруг поднял голову и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена заметила его движение, он тотчас вернулся к игре и пошел с валета треф.

Герб не спеша попыхивал сигарой, все негромко переговаривались, иногда извергая маленькие порции смеха. Наконец часы в холле нежно пробили девять.

— Вот сидим мы здесь, — заговорил Герб Томпсон, вынув изо рта сигару и задумчиво разглядывая ее, — а жизнь... Да, странная штука жизнь.

— Что? — сказал мистер Стоддард.

— Нет, ничего, просто сидим мы тут, и наша жизнь идет, а где-то еще на земле живут своей жизнью миллиарды других людей.

— Не очень свежая мысль.

— Живем... — Он опять стиснул сигару в зубах. — Одиноко живем. Даже в собственной семье. Бывает так: тебя обнимают, а ты словно за миллион миль отсюда.

— Интересное наблюдение, — заметила его жена.

— Ты меня не так поняла, — объяснил он спокойно. Он не горячился, так как не чувствовал за собой никакой вины. — Я хотел сказать: у каждого из нас свои убеждения, своя маленькая жизнь. Другие люди живут совершенно иначе. Я хотел сказать: сидим мы тут в комнате, а тысячи людей сейчас умирают. Кто от рака, кто от воспаления легких, кто от туберкулеза. Уверен, где-нибудь в США в этот миг кто-то умирает в разбитой автомашине.

— Не слишком веселый разговор, — сказала его жена.

— Я хочу сказать: живем и не задумываемся над тем, как другие люди мыслят, как свою жизнь живут, как умирают. Ждем, когда к нам смерть придет. Хочу сказать: сидим здесь, приросли к креслам, а в тридцати милях от нас, в большом старом доме — со всех сторон ночь и всякая чертовщина — один из лучших людей, какие когда-либо жили на свете...

— Герб!

Он пыхнул сигарой, пожевал ее, уставился невидящими глазами в карты.

— Извините. — Он моргнул, откусил кончик сигары. — Что, мой ход?

— Да, твой ход.

Игра возобновилась: шорох карт, шепот, тихая речь... Герб Томпсон поник в кресле с совершенно больным видом.

Зазвонил телефон. Томпсон подскочил, метнулся к аппарату, сорвал с вилки трубку.

— Герб! Я уже который раз звоню. Как там у вас, Герб?

— Ты о чем?

— Гости ушли?

— Черта с два, тут...

— Болтаете, смеетесь, играете в карты?

— Да-да, но при чем...

— И ты куришь свою десятицентовую сигару?

— Да, черт возьми, но...

— Здорово, — сказал голос в телефоне. — Ей-Богу, здорово. Хотел бы я быть с вами. Эх, лучше бы мне не знать того, что я знаю. Хотел бы я... да-а, еще много чего хочется...

— У тебя все в порядке?

— Пока что держусь. Сажу на кухне. Ветер снес часть передней стены. Но я заранее подготовил отступление. Когда сдаст кухонная дверь, спущусь в подвал. Посчастливится, отсижусь там до утра. Чтобы добраться до меня, ему надо весь этот чертов дом разнести, а над подвалом прочное перекрытие. И у меня лопата есть, могу еще глубже зарыться...

Казалось, в телефоне звучит целый хор других голосов.

— Что это? — спросил Герб Томпсон, ощутив холодную дрожь.

— Это? — повторил голос в телефоне. — Это голоса двенадцати тысяч, убитых тайфуном, семи тысяч, уничтоженных ураганом, трех тысяч, истребленных бурей. Тебе не скучно меня слушать? Понимаешь, в этом вся суть ветра, его плоть, он — полчища погибших. Ветер их убил, взял себе их разум. Взял все голоса и слил в один. Голоса миллионов, убитых за последние десять тысяч лет, истязаемых, гонимых с материка на материк, поглощенных муссонами и смерчами. Боже мой, какую поэму можно написать!

В телефоне звучали, отдавались голоса, крики, вой.

— Герб, где ты там? — позвала жена от карточного стола.

— И ветер, что ни год, становится умнее, он все присваивает себе — тело за телом, жизнь за жизнью, смерть за смертью.

— Герб, мы ждем тебя! — крикнула жена.

— К черту! — чуть не рывкнул он, обернувшись. — Минуты подождать не можете! — И снова в телефон: — Аллин, если хочешь, чтобы я к тебе сейчас приехал, я готов! Я должен был раньше...

— Ни в коем случае. Борьба непримиримая, еще и тебя в нее ввязывать! Лучше я повешу трубку. Кухонная дверь поддается, пора в подвал уходить.

— Ты еще позвонишь?

— Возможно, если мне повезет. Да только вряд ли. Сколько раз удавалось спастись, ускользнуть, но теперь, похоже, он припер меня к стенке. Надеюсь, я тебе не очень помешал, Герб.

— Ты никому не помешал, ясно? Звони еще.

— Попытаюсь...

Герб Томпсон вернулся к картам. Жена пристально поглядела на него.

— Как твой приятель, этот Аллин? — спросила она. — Трезвый еще?

— Он в жизни капли спиртного не проглотил, — угрюмо произнес Томпсон, садясь. — Я должен был давно поехать к нему.

— Но ведь он вот уже шесть недель каждый вечер звонит тебе. Ты десять раз, не меньше, ночевал у него, и ничего не случилось.

— Ему нужно помочь. Он способен навредить себе.

— Ты только недавно был у него, два дня назад, что же — так и ходить за ним все время?

— Завтра же, не откладывая, отвезу его в лечебницу. А жаль человека, он вполне рассудительный...

В половине одиннадцатого был подан кофе. Герб Томпсон медленно пил, поглядывая на телефон, и думал: «Хотелось бы знать — перебрался он в подвал?»

Герб Томпсон прошел к телефону, вызвал междугороднюю, заказал номер.

— К сожалению, — ответили ему со станции, — связь с этим районом прервана. Как только починят линию, мы вас соединим.

— Значит, связь прервана! — воскликнул Томпсон. Он повесил трубку, повернулся, распахнул дверцы стенного шкафа, схватил пальто.

— Герб! — крикнула жена.

— Я должен ехать туда! — ответил он, надевая пальто.

Что-то бережно, мягко коснулось двери снаружи.

Все вздрогнули, выпрямились.

— Кто это? — спросила жена Герба.

Снова что-то тихо коснулось двери снаружи.

Томпсон поспешно пересек холл, вдруг остановился.

Снаружи донесся чуть слышный смех.

— Чтоб мне провалиться, — сказал Герб.

С внезапным чувством приятного облегчения он взялся за дверную ручку.

— Этот смех я везде узнаю. Это же Аллин. Приехал все-таки, сам приехал. Не мог дожидаться утра, не терпится рассказать мне свои басни. — Томпсон чуть улыбнулся. — Наверно, друзей привез. Похоже, их там много...

Он отворил наружную дверь. На крыльце не было ни души.

Но Томпсон не опешил. На его лице появилось озорное, лукавое выражение, он рассмеялся.

— Аллин? Брось свои штуки! Где ты? — Он включил наружное освещение, посмотрел налево, направо. — Аллин! Выходи!

Прямо в лицо ему подул ветер.

Томпсон минуту постоял, вдруг ему стало очень холодно. Он вышел на крыльцо. Тревожно и испытующе поглядел вокруг.

Порыв ветра подхватил, дернул полы его пальто, растрепал волосы. И ему почудилось, что он опять слышит смех. Ветер обогнул дом, внезапно давление воздуха стало невыносимым, но шквал длился всего мгновение, ветер тут же умчался дальше.

Он улетел, прошелестев в высоких кронах, понесся прочь, возвращаясь к морю, к Целебесу, к Берегу Слоновой Кости, Суматре, мысу Горн, к Корнуоллу и Филиппинам. Все тише, тише, тише...

Томпсон стоял на месте, оцепенев. Потом вошел в дом, затворил дверь и прислонился к ней — неподвижный, глаза закрыты.

— В чем дело? — спросила жена.

ПОСТОЯЛЕЦ СО ВТОРОГО ЭТАЖА

Он помнил, как заботливо и со знанием дела бабушка поглаживала холодное разрезанное брюхо цыпленка и вынимала оттуда диковины: влажные блестящие петли кишок, пахнущие мясом, мускулистый комок сердца, желудок с зернышками внутри. Как аккуратно и нежно бабушка вспарывала цыпленка и засовывала внутрь пухлую маленькую ручку, чтобы лишить цыпленка его регалий. Потом все это разделялось, одно попадало в кастрюлю с водой, другое в бумагу — то, что пойдет на корм собакам. А затем ритуальная таксидермия, набивка птицы пропитанным водой и приправами хлебом, и хирургическая операция, производимая быстрой сверкающей иглой, стежок за стежком.

За одиннадцать лет жизни Дугласа это зрелище было одним из самых захватывающих.

Всего он насчитал двенадцать ножей в скрипучих ящиках магического кухонного стола, откуда бабушка, седовласая старая колдунья с добрым, мягким лицом, вынимала атрибуты для совершения таинства.

Дугласу разрешалось стоять, уткнув веснушчатый нос в край стола, и смотреть, но он обязан был молчать — пустая мальчишеская болтовня могла нарушить чары. Свершилось чудо, когда бабушка размахивала над птицей баночками для приправ, обильно посыпая ее, как подозревал Дуглас, прахом мумий и порошком из костей индейцев, при этом бормоча беззубым ртом таинственные вирши.

— Бабушка, — сказал наконец Дуглас, нарушив тишину. — Я такой же внутри? — Он показал на цыпленка.

— Да, — сказала бабушка. — Чутьочку аккуратнее и презентабельнее, но такой же...

— И гораздо больше, — добавил Дуглас, гордясь своими кишками.

— Да, — сказала бабушка. — Гораздо больше.

— А у дедушки их даже больше, чем у меня. Вон у него какой живот, — он может класть туда свои локти!

Бабушка засмеялась и покачала головой.

Дуглас сказал:

— И Люси Уильямс, которая живет в конце улицы, она...

— Помолчи, детка! — закричала бабушка.

— Но у нее...

— Тебя не касается, что у нее! Это совсем другое дело.

— А почему у *нее* по-другому?

— Вот прилетит игла-стрекоза и прострочит тебе рот, — строго сказала бабушка.

Дуглас помолчал, потом спросил:

— Откуда ты знаешь, что я внутри такой же, бабушка?

— Ступай отсюда!

Зазвенел дверной колокольчик.

Выбежав в холл, Дуглас через стекло входной двери увидел соломенную шляпу. Колокольчик все брэнчал. Дуглас открыл дверь.

— Доброе утро, деточка, хозяйка дома? — Холодные серые глаза на длинном гладком, цвета ореховой скорлупы, лице смотрели на Дугласа. Человек был высоким, худым, в руках у него были чемодан и портфель, а под мышкой зонтик, на тонких пальцах дорогие толстые серые перчатки и на голове совершенно новая соломенная шляпа.

Дуглас отступил.

— Она занята.

— Я хотел бы снять комнату наверху, по объявлению.

— У нас десять постояльцев, и все занято, уходите!

— Дуглас! — неожиданно возникла сзади бабушка. — Здравствуйте, — сказала она незнакомцу. — Не обращайтесь внимания на ребенка.

Не улыбаясь, человек чопорно ступил внутрь. Дуглас следил, как они поднялись вверх по лестнице, услышал, как бабушка перечисляла удобства верхней комнаты. Вскоре она поспешила вниз, чтобы нагрузить Дугласа постельным бельем из комода и послать его бегом наверх.

Дуглас остановился у порога. Комната странно изменилась, и только потому, что в ней находился незнакомец. Соломенная шляпа, хрупкая и кошмарная, лежала на кровати, вдоль стены вытянулся застывший зонтик, похожий на дохлую летучую мышь со сложенными темными мокрыми крыльями.

Дуглас моргнул при виде зонтика.

Назнакомец стоял посередине комнаты, высокий-высокий.

— Вот. — Дуглас швырнул на кровать белье. — Мы обедаем ровно в полдень, и, если вы опоздаете, суп остынет. Бабушка так постановила, и так будет каждый раз!

Высокий странный человек отсчитал десять новых оловянных пенсов, и они зазвенели в кармане рубашки Дугласа.

— Мы станем друзьями, — сказал он мрачно.

Смешно, но у этого человека были лишь пенсовики. Много. Ни серебра, ни десятицентовиков, ни двадцатипятипенсовиков. Лишь новые оловянные пенни.

Дуглас угрюмо поблагодарил его.

— Я брошу их в копилку, когда поменяю на десятицентовики. У меня шесть долларов пятьдесят центов в десятицентовиках, которые я коплю для августовского путешествия.

— Теперь я должен умыться, — сказал высокий странный человек.

Как-то в полночь Дуглас проснулся от грохота грозы — холодный сильный ветер сотрясал дом, дождь бежал по окну. А потом за окном с глухим, ужасающим треском приземлилась молния. Он вспомнил, как жутко было тогда смотреть на комнату, такую необычную и страшную при мгновенной вспышке.

Так было и теперь, в этой комнате. Он стоял, глядя на незнакомца. А комната была уже не та, она изменилась, потому что этот человек мгновенно, подобно молнии, преобразил ее своим отсветом.

Дуглас медленно отступил, когда незнакомец шагнул вперед.

Дверь захлопнулась перед носом Дугласа.

Деревянная вилка с картофельным пюре поднялась вверх и вернулась обратно пустой. Мистер Коберман — так его звали — принес с собой деревянную вилку и деревянный нож, когда бабушка позвала его обедать.

— Миссис Сполдинг, — тихо сказал он, — это мой собственный столовый прибор, пожалуйста, подавайте его. Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня я буду только завтракать и ужинать.

Бабушка сновала то туда то сюда, внося то супницу с дымящимся супом, то бобы, то картофельное пюре, дабы поразить нового постояльца, а Дуглас сидел и постукивал серебряной вилкой по тарелке, так как заметил, что это раздражает мистера Кобермана.

— А я фокус знаю, — сказал Дуглас. — Смотрите.

Он нащупал ногтем зубец вилки. Он тыкал пальцем в различные места на столе, словно волшебник. В том месте, на которое он указывал, раздавался, словно металлический волшебный голос, звук дрожащего зубца вилки. Делалось это, конечно, просто. Он тайком прижимал ручку вилки к столу. Дерево вибрировало, казалось, будто звучит доска. Словно совершалось колдовство.

— Там, там и *там!* — воскликнул счастливо Дуглас, вновь дергая вилку.

Он указал на суп мистера Кобермана, и звук раздался оттуда.

Орехового цвета лицо мистера Кобермана стало твердым, решительным и ужасным. Он в ярости отодвинул чашку с супом, губы у него дрожали. Он откинулся на стуле.

Появилась бабушка.

— Что случилось, мистер Коберман?

— Я не могу есть этот суп.

— Почему?

— Потому что я сыт и не в состоянии больше есть. Благодарю.

Мистер Коберман покинул комнату, сверкая глазами.

— Что ты тут устроил? — резко спросила бабушка Дугласа.

— Ничего. Бабушка, почему он ест *деревянными* ложками?

— Не твое дело! Кстати, когда тебе в школу?

— Через семь недель.

— О Господи, — сказала бабушка.

Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро в восемь часов он таинственно возвращался домой, проглатывал крошечный завтрак, а затем беззвучно спал в своей комнате весь сонный жаркий день до вечера, потом плотно ужинал в компании остальных жильцов.

Из-за ритуала сна мистера Кобермана Дуглас обязан был вести себя тихо. Это было невыносимо. Поэтому, когда бабушка уходила в магазин, Дуглас громко топал на лестнице, стуча в барабан, колотя об пол мячиком, или просто орал минуты три перед дверью мистера Кобермана, или же семь раз подряд сливал воду в туалете.

Мистер Коберман не реагировал. В его комнате было тихо и темно. Он не жаловался. Ни звука не раздавалось оттуда. Он спал и спал. Это было непонятно.

Дуглас чувствовал, как где-то внутри его разгорается чистое белое пламя ненависти. Теперь эта комната превратилась в Страну Кобермана. Некогда она ярко сияла, когда

там жила мисс Садлоу. Теперь она стала застывшей, обнаженной, холодной, чистой, все на своих местах, чужое и хрупкое.

На четвертое утро Дуглас поднялся наверх.

На полпути ко второму этажу находилось большое, полное солнца окно, состоящее из шестидюймовых кусков оранжевого, пурпурного, синего, красного и цвета бургундского вина стекла. Чарующими ранними утрами, когда солнечный луч падал сквозь него на лестничную площадку и скользил по перилам, Дуглас стоял у этого окна завороченный, разглядывая мир сквозь разноцветные стекла.

Вот синий мир, синее небо, синие люди, синие автомобили и синие семенящие собаки.

Он передвинулся к другому стеклу. Вот янтарный мир! Две лимонного цвета женщины вышагивали рядом, словно дочери Фу Манджу! Дуглас хихикнул. Сквозь это стекло даже солнце становилось более золотистым.

Было восемь часов. Внизу по тротуару брел мистер Коberman, возвращаясь с ночной работы, трость торчала из-под локтя, к голове приклеилась запатентованным маслом соломенная шляпа.

Дуглас приник к другому стеклу. Мистер Коberman — красный человек, в красном мире с красными деревьями и красными цветами и... чем-то еще.

Что-то с мистером Коbermanом.

Дуглас скосил глаза.

Красное стекло что-то *выделяло* с мистером Коbermanом. С его лицом, одеждой, руками. Одежда, казалось, тает. В одно ужасное мгновение Дуглас почти поверил, что он может смотреть *внутрь* мистера Коbermanа. И то, что он увидел, заставило его сильнее прильнуть к крошечному красному стеклышку, моргая от удивления.

Мистер Коberman взглянул вверх, увидел Дугласа и замахнулся своей тростью-зонтиком словно для удара. Он быстро побежал по красной лужайке к входной двери.

— Молодой человек! — закричал он, взбежав вверх по лестнице. — Чем вы занимаетесь?

— Просто смотрю, — ошеломленно сказал Дуглас.

— И все? — крикнул мистер Коberman.

— Да, сэр. Я наблюдаю сквозь стекла. Всевозможные миры. Синие, красные, желтые. Все разные.

— Всевозможные миры, вот что! — Мистер Коberman взглянул на стекла, лицо его было бледным. Он взял себя в руки. Вытер лицо носовым платком, сился улыбнуться. —

Да. Всевозможные миры. Разные. — Он подошел к двери комнаты. — Иди играй, — сказал он.

Дверь закрылась. В коридоре стало пусто. Мистер Коberman удалился.

Дуглас пожал плечами и приник к новому стеклу.

— Ах, все фиолетовое!

Где-то через полчаса, играя в песочнице за домом, Дуглас услышал грохот и оглушительный звон. Он подскочил.

Минуту спустя на заднем крыльце появилась бабушка. В ее руках дрожал старый ремень для правки бритв.

— Дуглас! Сколько раз я тебе говорила: не играй в мяч возле дома!

— А я здесь сидел! — запротестовал он.

— Иди посмотри, что ты наделал, противный мальчишка!

Большие куски оконного стекла, разбитые, радужным хаосом покрывали верхнюю площадку. Его мяч валялся среди обломков.

Прежде чем Дуглас успел сообщить о своей невинности, на его спину обрушилась дюжина жгучих ударов. Как он ни пытался увернуться, ремень снова находил его.

Позже, спрятавшись в песок словно устрица, Дуглас лежал свою ужасную боль. Он знал, кто кинул этот мяч. Человек с соломенной шляпой и застывшим зонтиком и холодной, серой комнатой. Да, да, да. У него текли слезы. Ну, погоди! Ну, погоди!

Он слышал, как бабушка вымела разбитое стекло. Она вынесла его на улицу и выбросила в мусорный ящик. Синие, розовые, желтые метеориты стекла сыпались, сверкая, вниз.

Когда она ушла, Дуглас, скуля, потащился спасать три куска необычного стекла. Мистеру Коbermanу не нравятся цветные стекла. Значит, — он позвенел ими в руках, — стоит их сохранить.

Каждый вечер дедушка возвращался из своей редакции газеты в пять часов, чуть раньше остальных жильцов. Когда в коридоре звучала медленная тяжелая поступь и громко стучала толстая, красного дерева трость, Дуглас бежал, чтобы прижаться к большому животу и посидеть на дедушкином колене, пока тот читал вечернюю газету.

— Привет, дед!

— Привет, там внизу!

— Бабушка сегодня опять потрошила цыплят. Так интересно смотреть! — сказал Дуглас.

Дедушка ответил, не отрываясь от газеты:

— Цыплята уже во второй раз на этой неделе. Она цыплячья женщина. Тебе нравится смотреть, как она их потрошит, а? Хладнокровие с чуточкой перца! Ха!

— Просто я любопытный.

— Ты-то, — прогромыхал хмуро дедушка. — Помнишь тот день, когда погибла девушка на вокзале. Ты просто подошел и смотрел на кровь и все остальное. — Он засмеялся. — Чудак. Оставайся таким же. И не бойся ничего, никогда ничего не бойся. Я думаю, ты унаследовал это от своего отца, ведь он военный, а ты был очень близок ему, пока не переехал сюда в прошлом году. — Дед вернулся к своей газете.

Долгая пауза.

— Дед?

— Да?

— Вот если есть человек без сердца, легких или желудка, а он все равно ходит, живой?

— Это, — прогромыхал дед, — было бы чудом.

— Я не имею в виду... чудо. Я имею в виду, что если он совсем другой *внутри*. Не как я.

— Тогда бы он был не совсем человек, ведь так, мальчик?

— Наверное, дед. Дедушка, а у тебя есть сердце и легкие?

Дед фыркнул:

— По правде говоря, я *не знаю*. Никогда их не видел. Никогда не делал рентген, никогда не ходил к врачу. Может быть, там сплошная картошка, а что там еще — я не знаю.

— А у *меня* есть желудок?

— Конечно, есть! — закричала бабушка, появляясь в дверях комнаты. — Я же кормлю его! И легкие у тебя есть, ты так громко орешь, что мертвых разбудишь. У тебя грязные руки, иди и вымой их! Обед готов. Дед, пошли. Дуглас, шагай!

Если дед и намеревался продолжить с Дугласом таинственный разговор, то поток жильцов, спешащих вниз, лишил его этой возможности. Если обед задержится еще, бабушка и картофель разгневаются одновременно.

Постояльцы смеялись и болтали за столом, мистер Коберман сидел с мрачным видом. Все затихли, когда дедушка прочистил горло. Несколько минут он рассуждал о политике, а потом перешел к интригующей теме о недавних загадочных смертях в городе.

— Этого достаточно, чтобы старый газетчик наострил уши, — сказал он, разглядывая их. — На этот раз юная мисс

Ларссон, которая жила за оврагом. Найдена мертвой три дня назад, без видимых причин, вся покрытая необычной татуировкой и с таким странным выражением лица, что и Данте бы содрогнулся. И другая девушка, как ее звали? Уайтли? Она ушла и *больше* не вернулась.

— Ага, так оно всегда и бывает, — сказал, жуя, мистер Бритц, механик гаража. — Видели когда-нибудь списки в Агентстве по поиску пропавших? *Такие* длинные, — пояснил он. — Сами не знают, *что* случилось с большинством из них?

— Кому еще гарнир? — Бабушка раскладывала на равные части цыплячье нутро. Дуглас наблюдал, размышляя о том, что у цыпленка два вида внутренностей: созданные Богом и созданные Человеком.

А как насчет *трех* видов внутренностей?

А?

Почему бы и нет?

Разговор продолжался о таинственных смертях тех-то и тех-то, и, ах да, помните неделю назад, Марион Варсумиан умерла от сердечного приступа, а может, это не связано? Или связано? Вы с ума сошли! Прекратите, почему нужно говорить об этом за обедом? Так.

— Никогда не узнаешь, — сказал мистер Бритц. — Может, у нас в городе вампир?

Мистер Коberman перестал есть.

— В 1927 году? — сказала бабушка. — Вампир? Продолжайте.

— Ну да, — сказал мистер Бритц. — Их убивают серебряными пулями. Или еще чем-нибудь серебряным. Вампиры *ненавидят* серебро. Я когда-то где-то читал. Точно.

Дуглас взглянул на мистера Коbermana, который ел деревянными ножом и вилкой и носил в кармане только новые оловянные пенни.

— Глупо рассуждать о том, чего не понимаешь, — сказал дедушка. — Мы не знаем, что собой представляют хобгоблин, вампир или тролль. Это может быть все что угодно. Нельзя распределить их по категориям, и увешать ярлыками, и говорить, что они ведут себя так или эдак. Это глупо. Они люди. Люди, которые совершают поступки. Да, именно так: люди, которые *совершают* поступки.

— Простите, — сказал мистер Коberman, встав из-за стола и отправившись на свою ночную работу.

Звезды, луна, ветер, тиканье часов, звон будильника на рассвете, восход солнца, и снова утро, и снова день, и мистер

Коberman шагает по тротуару со своей ночной работы. Подобно крошечному заведенному механизму с внимательными глазами-микроскопами Дуглас следил.

В полдень бабушка ушла в бакалейную лавку.

Дуглас, как всегда, начал орать перед дверью мистера Коberman. Как обычно, ответа не последовало. Тишина была ужасающей.

Он сбежал вниз, взял ключ, серебряную вилку и три куса цветного стекла, которые он спас. Он вставил ключ в скважину и медленно отворил дверь.

В комнате стоял полумрак, занавески опущены. Мистер Коberman в пижаме лежал поверх постельного белья, грудь его вздымалась. Он не шевелился. Лицо было неподвижно.

— Привет, мистер Коberman!

Бесцветные стены отражали равномерное дыхание человека.

— Мистер Коberman, привет!

Дуглас пошел в атаку, начав стучать в мяч. Он завопил. Нет ответа.

— Мистер Коberman! — Дуглас ткнул серебряной вилкой в лицо человека.

Мистер Коberman вздрогнул. Он скорчился. Он громко простонал.

Реакция. Хорошо. Блестяще.

Дуглас вынул из кармана кусок синего стекла. Глядя сквозь синее стекло, он очутился в синей комнате, в синем мире, не похожем на мир, который он знал. Такой же непохожий, как и красный мир. Синяя мебель, синяя кровать, синие потолок и стены, синяя деревянная посуда на синем бюро, и синее мрачное лицо мистера Коberman, и руки, и синяя вздымающаяся, опадающая грудь. Еще...

Широко раскрытые глаза мистера Коberman буравили его голодным, темным взглядом.

Дуглас отпрянул и отвел от глаз синее стекло.

Глаза мистера Коberman были закрыты.

Снова синее стекло — открыты. Синее стекло прочь — закрыты. Снова синее — открыты. Прочь — закрыты. Странно. Дрожа от возбуждения, Дуглас ставил опыт. Синее стекло — глаза, казалось, пилились голодным, алчным взглядом сквозь сомкнутые веки. Без синего стекла казалось, что они крепко сжаты.

Но тело мистера Коberman...

Пижамы на мистере Коbermanе растаяла. Так на нее подействовало синее стекло. А может, она растаяла потому, что была *на* мистере Коbermanе. Дуглас вскрикнул.

Он глядел сквозь живот мистера Кобермана прямо *внутрь*.
Мистер Коберман был геометричен.

Или что-то вроде этого.

Внутри его виднелись необычные фигуры странных очертаний.

Минут пять пораженный Дуглас размышлял о синих мирах, красных мирах, желтых мирах, сосуществующих подобно кускам стекла большого окна на лестнице. Одно за другим, цветные стекла, всевозможные миры; мистер Коберман сам так сказал.

Так вот почему разноцветное окно было разбито.

— Мистер Коберман, проснитесь!

Нет ответа.

— Мистер Коберман, где вы работаете по ночам? Мистер Коберман, где вы работаете?

Легкий ветерок шевельнул синюю оконную занавеску.

— В красном мире или зеленом, а может, в желтом, мистер Коберман?

Над всем царила синяя стеклянная тишина.

— Подождите-ка, — сказал Дуглас.

Он спустился вниз на кухню, раскрыл большой скрипучий ящик и вынул самый острый, самый длинный нож.

Тихонечко он вышел в коридор, снова взобрался по лестнице вверх, открыл дверь в комнату мистера Кобермана, вошел и закрыл ее, держа в руке острый нож.

Бабушка была занята проверкой корочки пирога в печке, когда Дуглас вошел в кухню и положил что-то на стол.

— Бабушка, это что?

Она мельком взглянула поверх очков.

— Не знаю.

Это что-то было квадратным, как коробка, и эластичным. Это было ярко-оранжевым. К нему были присоединены четыре квадратных трубки синего цвета. Оно странно пахло.

— Ты когда-нибудь видела такое, бабушка?

— Нет.

— Так я и думал.

Дуглас оставил это на столе и вышел из кухни. Через пять минут он вернулся с чем-то еще.

— А это?

Он положил ярко-розовую цепочку с пурпурным треугольником на конце.

— Не мешай мне, — сказала бабушка. — Это цепочка.

В следующий раз у него были заняты обе руки. Кольцо, квадрат, треугольник, пирамида, прямоугольник и... другие

фигуры. Все они были эластичные, упругие и, казалось, сделаны из желатина.

— Это не все, — сказал Дуглас, кладя их на стол. — Там их еще много.

Бабушка сказала:

— Да-да, — далеким, очень занятым голосом.

— Ты ошибаешься, бабушка.

— В чем?

— В том, что люди одинаковые внутри.

— Не болтай ерунды.

— Где моя свинья-копилка?

— На камине, где ты ее бросил.

— Спасибо.

Он протопал в общую комнату за свиньей-копилкой.

В пять часов из конторы пришел дедушка.

— Дед, пошли наверх.

— Ага. Зачем?

— Я хочу тебе кое-что показать. Оно некрасивое, но интересное.

Дедушка с кряхтением последовал за внуком наверх в комнату мистера Кобермана.

— Бабушке не стоит говорить; ей не понравится, — сказал Дуглас. Он широко распахнул дверь. — Вот.

Дедушка замер.

Последние несколько часов Дуглас запомнил на всю жизнь. Следователь со своими помощниками стоял у обнаженного тела мистера Кобермана. Бабушка внизу около лестницы спрашивала кого-то:

— Что там происходит?

И дедушка дрожащим голосом говорил:

— Я увезу Дугласа надолго, чтобы он позабыл этот кошмар. Кошмар, кошмар!

Дуглас сказал:

— Что тут плохого? Ничего плохого я не видел. Мне не плохо.

Следователь вздрогнул и сказал:

— Коберман мертв.

Его помощник вытер пот.

— Видел эти *штуки* в банках и в бумаге?

— Боже мой, Боже мой, да, видел.

— Господи Иисусе Христе.

Следователь снова склонился над телом мистера Кобермана.

— Лучше держать все в секрете, ребята. Это не убийство. То, что совершил мальчик, — это милосердие. Бог знает, что бы произошло, если бы он этого не сделал.

— Так кто же Коberman? Вампир? Чудовище?

— Вероятно. Не знаю. Что-то... не человек. — Следователь ловко провел руками вдоль шва.

Дуглас гордился своей работой. Ему пришлось повозиться. Он внимательно следил за бабушкой и все запомнил. Иголку, нитку и все остальное. В целом мистер Коberman был аккуратно зашит, как любой цыпленок, когда-либо засунутый бабушкой в пекло.

— Я слышал, как мальчик говорил, будто Коberman жил даже после того, как эти *штуки* были вынуты из него. — Следователь смотрел на треугольники, цепи, пирамиды, плавающие в банке с водой. — Продолжал *жить*, Господи.

— Мальчик это сказал?

— Сказал.

— Так что же *тогда* убило Коbermanа?

Следователь вытянул несколько ниток из шва.

— Это... — сказал он.

Солнце холодно блеснуло на наполовину приоткрытом кладе: шесть долларов и семьдесят центов серебром в животе у мистера Коbermanа.

— Я думаю, что Дуглас сделал мудрое помещение капитала, — сказал следователь, быстро сшивая плоть над «сокровищем».

ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА

— Э то невозможно, — печально возразил отец. — Каждый из нас встречается со смертью один на один.

— Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я закладываю начало новой философии! Да ведь это просто дурость какая-то — живешь совсем недолго, а потом, оглянуться не успеешь, тебя зароют в землю, будто ты зерно; только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллионы лет, а толку никакого. И люди-то какие — милые, славные, порядочные или уж, во всяком случае, старались быть получше.

Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться: ведь он сделался холодный и самим этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут, в старом доме, лавку древностей и жила одна-одинешенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите почему? Да потому, что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди, и Тилди обещала ей не оставить сироту.

— За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей, — рассказывала тетушка Тилди черному человеку. — Замуж я так и не вышла. Страшно подумать — проживешь с мужем двадцать, тридцать лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно картонный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел.

Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным,

с холодным блеском, глазам видно было: он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время второй мировой войны, знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио и отказалась от газет, и выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался: да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевым пластинкам. К песенке Гарри Лодера «Скитаясь в сумерках...», и к мадам Шуман-Хинк, и к колыбельным. В мире этих песенок все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о вечности.

Черному человеку все это было известно.

— И откуда ты все знаешь? — презрительно фыркнула тетушка Тилди. — Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся — не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй, тронь, и я плюну тебе в лицо!

Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула:

— Нечего скалиться. Стара я, чтобы меня обхаживать. У меня душа будто старый тюбик с краской, в ней давным-давно все пересохло.

Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. Это еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били три? Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат, любила их бой, точно у соборных колоколов — мягкий и словно бы доносящийся издалека.

— Долго ты намерен тут сидеть, милейший?

— Да, долго.

— Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла. И не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так. Вот так...

Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно...

— Ты не встаешь, сударь, нет? Смотри не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-хо-хо-хо-хо.

Как невесомо. Как сонно. Как глубоко. Прямо как под водой. Ах, как славно.

Кто там бродит в темноте?.. Но ведь глаза у меня закрыты?

Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только... только все это во сне. Господи, так оно и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит...

А? Что? Ох!

— Погодите-ка, только очки надену. Ну вот!

Часы снова пробили три. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку.

Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула:

— Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдаться? А? Меня не уговоришь, где там, я упрямая.. Из этого дома меня не выманить, так что и не трудись, не приходи понапрасну!

Черный человек неторопливо, с достоинством поклонился.

Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз.

— То-то, я всегда говорила папе, что будет по-моему! — провозгласила тетушка Тилди. — Я еще тысячу лет просижу с вязаньем у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досочке.

Черный человек сверкнул на нее глазами.

— Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку! — воскликнула тетушка Тилди. — Забирай отсюда свою дурацкую плетенку!

Четверо тяжелой поступью пошли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляются с пустой корзиной — они пошатывались под ее тяжестью.

— Эй, вы! — Она встала, дрожа от гнева. — Вы что, утащили мои древности? Или, может, книги? Или часы? Что вы напихали в свою плетенку?

Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на

крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

— Ты это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убейся вон! — крикнула тетушка Тилди.

Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился.

— Прощай! — Тетушка Тилди захлопнула дверь.

Вот так-то. Так-то оно лучше. Ушли. Будь они неладны, олухи, эка что выдумали. Пропади она пропадом, их плетенка. Если и утащили что, шут с ними, лишь бы ее самое оставили в покое.

«Смотри-ка! — Тетушка Тилди заулыбалась. — Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время. А хороша! Одна походка чего стоит. Но что это она такая бледная, совсем на себя непохожа и идет еле-еле. С чего бы это? И невеселая какая-то. Вот бедняжка. Принесу-ка поскорей кофе и печенье».

Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги — девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха.

Дверь распаивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге.

— Эмили? — окликает тетушка Тилди.

Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную.

— Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное... Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее...

Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили глядит на нее во все глаза.

— Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!

...Да что ж ты от меня пятишься?

...А кричать-то зачем, детка? Перестань, Эмили, перестань! Успокойся! Разве можно, этак и ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу и в угол забиваться нечего. Ну, что ты вся съежилась, девочка, я же не кусаюсь!

...Господи, не одно, так другое.

...Да что случилось, Эмили? Девочка...

Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет.

— Ну-ну, детка, — шепчет тетушка Тилди. — Ну успокойся, выпей водички, Эмили, вот так.

Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и, вся дрожа, пытается совладать с собой.

— Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...

— Ну, хватит! — Тилди шлепает ее по руке. — Что с тобой такое?

Эмили через силу открывает глаза. Протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди.

— Что это тебе взбрело в голову? — кричит Тилди. — Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь?

Эмили отпрянула, затрясла головой; золотая солнечная копна вся затрепетала.

— Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась. Ты умерла!

— Тс-с, малышка.

— Тебя просто не может тут быть.

— Бог с тобой, что ты болтаешь?..

Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой.

— Вон что, вон что! — сердито кричит она. — Ах ты, враль! Ах, ворюга! — Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. — Ах, злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок, да-да, это все он, он! Ну я ж тебе!..

Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили:

— Вставай, девочка! Ты мне нужна!

Эмили лежит на полу, ее трясет.

— Они не всю меня утащили! — провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Поддай мне шляпку!

— Я боюсь, — признается Эмили.

— Кого, меня?!

— Да.

— Но я же не призрак! Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас не время нюни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь затрещину!

Всхлипывая, Эмили поднимается на ноги; она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать.

— Где твоя машина, Эмили?

— Там, в гараже...

— Прекрасно! — Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. — Ну... — Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. — В какой стороне морг?

Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.

— Что ты задумала, тетушка?

— Что задумала? — переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом; бледные, дряблые щеки ее дрожат от ярости. — Как что? Отберу у них свое тело — и вся недолга! Отберу свое тело! Пошли!

Мотор взревел, Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядывается в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком.

— Быстрее, девочка, быстрее, не то эти привереды-прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье и освежат, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться.

— Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет. Ну никакого толку, — вздыхает девушка.

— Вот мы и приехали.

Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю, а тетушка Тилди выскочила из машины и засемила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дроб сгружали плетеную корзину.

— Эй! — накинулась она на одного из четверых носильщиков. — Поставьте ее наземь!

Все четверо подняли головы.

— Посторонитесь, сударыня, — говорит один из них. — Не мешайте дело делать.

— В эту плетенку запихали мое тело! — Тилди воинственно взмахнула зонтиком.

— Ничего не знаю, — говорит второй носильщик. — Не стойте на дороге, сударыня. У нас тяжелый груз.

— Вот еще! — оскорбленно восклицает она. — Да будет вам известно, что я вешу всего сто десять фунтов.

Носильщик даже не смотрит на нее.

— Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет.

И четверо пошли своей дорогой — по коридору, в прозекторскую. Тетушка Тилди припустила за ними.

Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо поджидал корзину и, увидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела, жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли.

Мельком глянув на тетушку, человек в белом халате сказал:

— Сударыня, даме здесь не место.

— Очень приятно, что вы так думаете, — обрадовалась она. — Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку.

Прозектор удивился:

— Что еще за черный человек?

— А тот, который околачивался возле моего дома.

— Среди наших служащих такого нет.

— Неважно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, пора готовить ветчину для гостей, ведь Пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитера, завести все часы в доме...

— У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам, но мне надо работать. Доставлено тело. — Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты.

Тилди свирепеет:

— Только дотроньтесь до этого тела, я вам...

Он отмахивается от нее, как от мухи.

— Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму, — вкрадчиво говорит он.

Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом.

— Пошел вон, дурак!

Джордж берет ее за руки.

— Пройдите, пожалуйста.

Тилди высвобождается. С легкостью. Ее плоть вроде бы... ускользнула. Чудны дела твои, Господи. В таком почтенном возрасте — и вдруг новый дар.

— Видали? — говорит она, гордая своим талантом. — Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело!

Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова — в корзину, вглядывается внимательней... Это тело... кажется... возможно ли?... А все-таки... да... нет... нет... да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается. Таращит глаза. Потом испытующе прищуривается.

— Сударыня, — осторожно начинает он. — Эта дама вот здесь... э... ваша... родственница?

— Очень близкая родственница. Обращайтесь с ней поосторожней.

— Сестра, наверно? — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла.

— Да нет же. Вот непонятливый! Это я, слышите? Я!

Прозектор минуту подумал.

— Нет, так не бывает, — говорит он. И принимается перебирать инструменты. — Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная.

Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе скидывает голову.

— Не сладите! — кричит она, но ее, точно пешку на шахматной доске, переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и, наконец, в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнут цветами.

— Ну вот, сударыня, — говорит один из четверых. — Здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания.

— Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо.

Плотно сжав губы, она теребит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-либо ее тронуть — и она... ну да, она просто ускользает.

Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услышал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось.

— Тс-с, тс-с, — шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. — Имейте уважение, имейте уважение. Что тут у вас? Не могу ли я быть вам полезным, сударыня?

Тетушка Тилди смерила его взглядом:

— Можете.

— Чем могу служить?

— Подите в ту комнату в конце коридора, — распорядилась тетушка Тилди.

— Д-да-а?

— И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтоб оставил в покое мое тело. Я — девица. И не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочее, и что нога у меня подворачивается — тоже мое дело. Нечего ему во все совать нос, трогать, резать — еще, того гляди, что-нибудь повредит.

Мистер Кэррингтон не понимает, о чем речь, он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.

— Чего он уложил меня на свой стол, я ж не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать! — сказала Тилди.

Мистер Кэррингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло пятнадцать минут; в вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской шел отчаянный спор; наконец бледный и осунувшийся мистер Кэррингтон возвратился.

Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал:

— Вы нам очень осложняете дело.

— Я?! — рассвирепела тетушка Тилди. — Святые угодники, да что же это такое?! Послушайте, мистер Кожа-да-кости, или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?

— Мы уже выкачиваем кровь из... из этого...

— Что?!

— Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать. — Он нервно засмеялся. — Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти.

Тетушка Тилди вскочила как ошпаренная.

— Да как он смеет! Это позволено только судебным экспертам!

— Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется...

— Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему Реже-не-жалей сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, и если он что-нибудь уже вытянул из него, пускай тут же приладит на место, да чтоб все работало как следует, и бодрое, здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала?!

— Но я ничего не могу поделать. Ни-че-го.

— Ну вот что. Я не сдвинусь с места хоть двести лет. Ясно? И распугаю всех ваших клиентов, буду пускать им прямо в нос эманацию!

Ошеломленный Кэррингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застался:

— Но вы погубите нашу фирму! Неужели вы решитесь!

— Еще как решусь! — усмехнулась тетушка Тилди.

Кэррингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошептались в зал ожидания.

— Ну, в чем тут дело?

Переменяя свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала.

Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не

будет достигнуто какое-то соглашение... Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался.

Тетушка Тилди воззрилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхиваете? — в страхе спросила она.

Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся.

Наконец совет был окончен.

— Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?

Тетушка оглядела стервятников с головы до пят.

— Ну, это бы я с радостью.

Кэррингтона прошиб пот, он отер лицо платком.

— Можете забрать свое тело.

— Ха! — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила: — В целости-сохранности?

— В целости-сохранности.

— Безо всякого формальдегида?

— Безо всякого формальдегида.

— С кровью?

— Да с кровью же, забирайте его ради Бога и уходите!

Тетушка Тилди чопорно кивнула:

— Ладно. По рукам. Приведите его в порядок.

Кэррингтон обернулся к прозектору:

— Эй вы, бестолочь! Нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо!

— Да смотрите не сыпьте пепел, куда не надо! — прикрикнула тетушка Тилди.

— Осторожней, осторожней! — командовала тетушка Тилди. — Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть.

Она не стала особенно разглядывать тело. «Вид самый обыкновенный», — только и заметила она. И опустила в корзину.

И сразу вся словно заledenела; потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд. И тяжкий. Все равно что бабочке, которая уже вышла из куколки, сызнова втиснуться в старую жесткую оболочку.

Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Кэррингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал да посмеивался, да пожимал плечами.

«Просачиваюсь в холодный, непроницаемый гранит. Просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую. Втискаюсь, втискиваюсь...»

— Да оживай же, черт возьми! — прикрикнула тетушка Тилди. — Ну-ка, приподнимись!

Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины.

— Не ленись, согни ноги!

Тело слепо, ошупью поднялось.

— Увидь! — скомандовала тетушка Тилди.

В слепые, затянутые пленкой глаза проник свет.

— Чувствуй! — подгоняла тетушка Тилди.

Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жесткий лабораторный стол и, тяжело дыша, оперлось о него.

— Шагни!

Тело ступило вперед — медленно, тяжело.

— Услышь! — приказала она.

В оглохшие уши ворвались звуки: хриплое, нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хныканье мистера Кэррингтона, ее собственный трескучий голос.

— Иди! — сказала тетушка Тилди.

Тело пошло.

— Думай!

Старый мозг заработал.

— Говори!

— Премного обязана. Благодарствую. — И тело отвесило поклон содержателям похоронного бюро.

— А теперь, — сказала наконец тетушка Тилди, — плачь!

И заплакала блаженно-счастливыми слезами.

И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в четыре подойти к ее лавке древностей и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайтесь к ней. Тетушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у нее нрав! Постучитесь! Дверь заперта на две задвижки и на три замка.

— Кто там? Черный человек? — послышится пронзительный голос.

Вы, смеясь, ответите: «Нет-нет, тетушка Тилди, это я».

И она, тоже смеясь, скажет: «Входите побыстреей!», распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас и нальет вам кофе и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.

— Если будете вести себя примерно, — провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе, — я вас кое-чем попотчую.

— Чем же? — спросит гость.

— А вот, — скажет тетушка, очень довольная, что ей есть чем похвастать.

Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет.

И на миг вы увидите длинный синий шов — аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.

— Недурно сшито, и не подумаешь, что мужская работа, — снисходительно скажет она. — Что? Еще чашечку кофе? Пейте на здоровье!

ВОДОСТОК

Весь день лил дождь, и свет уличных фонарей едва пробивался сквозь серую мглу. Сестры уже долго сидели в гостиной. Одна из них, Джулиет, вышивала скатерть; младшая, Анна, пристроилась возле окна и смотрела на темную улицу и темное небо.

Анна прислонилась лбом к оконной раме, однако губы ее шевелились, и наконец, словно после долгого размышления, она сказала:

— Мне это никогда раньше не приходило в голову.

— Ты о чем? — спросила Джулиет.

— Просто я сейчас подумала... Ведь на самом деле здесь, под городом, еще один город. Мертвый город, прямо тут, у нас под ногами.

Джулиет сделала стежок на белом полотне.

— Отойди от окна. Этот дождь как-то странно на тебя влияет.

— Нет, правда! Разве ты никогда раньше не думала о водостоке? Ведь он пронизывает весь город, его туннели — под каждой улицей, и по ним можно ходить, даже не наклоняя головы. Они ветвятся повсюду и в конце концов выводят прямо в море, — говорила Анна, завороченно глядя, как капли дождя за окном разбиваются об асфальт тротуара, как дождь льется с неба и исчезает, стекая вниз сквозь канализационные решетки на углах перекрестка. — А тебе не хотелось бы жить в водостоке?

— Мне бы не хотелось!

— Так здорово — я хочу сказать, если бы об этом больше никто-никто не знал! Жить в водостоке и подглядывать за людьми сквозь прорези решеток, смотреть на них, когда они тебя не видят! Как в детстве, когда мы играли в прятки: бывало, спрячешься, и никто тебя не может найти, а ты все

время сидишь совсем рядом с ними в укромном уголке, в безопасности, и тебе тепло и весело. Мне это ужасно нравилось. Должно быть, если живешь в водостоке, чувствуешь себя так же.

Джулиет медленно подняла глаза от вышивки.

— Анна, ты моя сестра, не так ли? Ты ведь когда-то родилась, разве нет? Только вот иногда, когда ты что-нибудь такое говоришь, мне начинает казаться, будто мама в один прекрасный день нашла тебя в капусте, принесла домой, посадила в горшок и вырастила вот до таких размеров. И ты какой была, такой всегда и останешься.

Анна ничего не ответила. Джулиет снова взялась за иглоку. Комната была совершенно бесцветной, и ни одна из сестер никак не оживляла ее серости. Минут пять Анна сидела, склонив голову к окну. Наконец она повернулась и, глядя куда-то вдаль, сказала:

— Наверно, ты подумаеть, что мне снился сон. Я имею в виду, пока я тут сидела и думала. Пожалуй, Джулиет, это и впрямь было сном.

На этот раз в ответ промолчала Джулиет.

Анна продолжала шепотом:

— Видно, вся эта вода меня как бы усыпила, и тогда я стала размышлять о дожде, откуда он берется и куда потом девается, исчезая в тех маленьких щелях у тротуаров, а потом подумала о резервуарах, которые глубоко внизу. И вдруг увидела там их: мужчину... и женщину. Внизу, в водостоке, под улицей.

— И зачем же они там оказались? — с любопытством спросила Джулиет.

— А разве нужна какая-то причина? — отозвалась Анна.

— Нет, разумеется, не нужна, если они ненормальные, — сказала Джулиет. — Тогда никаких причин не требуется. Сидят в своем водостоке, и пусть себе сидят.

— Но ведь они не просто сидят в этом туннеле, — проговорила Анна, склонив голову к плечу. Глаза ее двигались под закрытыми веками, как будто она куда-то смотрела. — Нет, эти двое влюблены друг в друга.

— Бог ты мой, — усмехнулась Джулиет, — неужели это любовь загнала их туда?

— Нет, они там уже много-много лет, — ответила Анна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что они годами живут вместе в этом водостоке? — с недоверием спросила Джулиет.

— Я разве говорила, что они живы? — удивилась Анна. — Нет, конечно. Они мертвые.

Дождь, словно дробь, неистово бил в стекло, капли сливались вместе и струйками стекали вниз.

— Вот как, — обронила Джулиет.

— Да, — с нежностью в голосе произнесла Анна, — мертвые. Он мертвый, и она мертвая. — Казалось, мысль ей понравилась. Словно это было интересное открытие, и она им гордилась. — Он, наверно, очень одинокий человек, который никогда в жизни не путешествовал.

— Откуда ты знаешь?

— Он похож на людей, которые ни разу не путешествовали, но всегда этого хотели. Можно определить по глазам.

— Так ты знаешь, как он выглядит?

— Да. Очень больной и очень красивый. Ну, как это иногда бывает, когда болезнь делает мужчину красивым. От болезни его лицо становится таким худым.

— И он мертвый? — спросила старшая сестра.

— Уже пять лет. — Анна говорила мягко, ее веки то приоткрывались, то опускались, как будто она собиралась повесть длинную историю, которую хорошо знала, и хотела начать ее не спеша, а потом говорить все быстрее и быстрее, откуда рассказ полностью не закрутит в своем вихре ее самое — с расширившимися глазами и приоткрывшимся ртом. Но сейчас она говорила медленно, голос ее лишь слегка дрожал. — Пять лет назад этот человек шел вечером по улице. Он знал, что это та самая улица, по которой он уже много раз ходил и по которой еще множество вечеров подряд ему предстоит ходить. Так вот, он подошел к люку — такой большой круглой крышке посередине улицы — и услышал, как у него под ногами бежит река, понял, что под этой железной крышкой мчится поток и впадает прямо в море. — Анна слегка вытянула правую руку. — Он медленно нагнулся и поднял крышку водостока. Заглянув вниз, увидел, как бурлит пена и вода, и подумал о женщине, которую он хотел любить — и не мог. Тогда он по железным скобам спустился в люк и исчез...

— А что случилось с ней? — спросила Джулиет, не отрываясь от своей работы. — Когда умерла она?

— Точно не знаю. Она там совсем недавно. Она умерла только что, как будто прямо сейчас. Но она действительно мертва. И очень красива, очень. — Анна любовалась образом, возникшим у нее в голове. — По-настоящему красивой женщину делает смерть, и прекраснее всего она становится, если утонет. Тогда из нее уходит вся напряженность, волосы ее развеваются в воде, подобно клубам дыма. — Она удовлетворенно кивнула: — Никто и ничто на земле не в состоя-

нии научить женщину двигаться с такой задумчивой легкостью и грацией, сделать ее столь гибкой, струящейся и совершенной. — Анна попробовала передать эту легкость, грацию и зыбкость движением своей большой, неуклюжей и грубой руки.

— Все эти пять лет он ждал ее, но до сего дня она не знала, где он. И вот теперь они там и будут вместе всегда... В дождливое время года они будут оживать. А сухая погода — иногда это тянется по несколько месяцев — будет для них периодом долгого отдыха: лежат себе в маленьких потайных нишах, как те японские водяные цветы, совершенно высохшие, старые, сморщенные и тихие.

Джулиет встала и зажгла еще одну небольшую лампу в углу гостиной.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты продолжала тему.

Анна засмеялась:

— Ну давай я расскажу тебе, как это начинается, как они вновь оживают. У меня все продумано. — Она наклонилась вперед, опершись локтями о колени и пристально глядя на улицу, на дождь, на горловины водостока. — Вот они лежат в глубине, высохшие и тихие, а высоко над ними в небесах скапливаются водяные пары и электричество. — Она откинула рукой назад свои тусклые, седеющие волосы. — Сначала весь верхний мир осыпают мелкие капельки, потом сверкают молнии и раздается раскат грома. Это закончился сухой сезон: капли становятся больше, они падают и катятся по водосточным трубам, желобам, водоотводам, канавам. Они несут с собой обертки от жевательной резинки, бумажки, автобусные билеты!

— Сейчас же отойди от окна.

Анна вытянула перед собой руки и продолжала:

— Я знаю, что делается там, под тротуаром, в большом квадратном резервуаре. Он огромный и совершенно пустой, потому что уже много недель наверху ничего не было, кроме солнечного света. Если скажешь слово, то в ответ раздастся эхо. Стоя там, внизу, можно услышать только, как наверху проезжает грузовик — где-то очень высоко над тобой. Весь водосток пересох, словно полая верблюжья кость в пустыне, и затаился в ожидании.

Анна подняла руки, как будто сама стояла в резервуаре и ждала чего-то.

— И вот появляется крохотный ручеек. Он течет по полу. Словно там, наверху, кого-то ранили, и у него из раны

сочится кровь. Вдруг слышится гром! А может, это просто проехал грузовик?

Теперь она говорила немного быстрее, но поза ее была по-прежнему спокойна.

— А сейчас вода уже течет со всех сторон. По всем желобам вливаются все новые струйки — как тонкие шнурки или маленькие змейки табачного цвета. Они движутся, сплетаются друг с другом и наконец образуют как бы один могучий мускул. Вода катится по гладкому замусоренному полу. Отовсюду — с севера и с юга, с других улиц — мчатся потоки воды и сливаются в единый бурлящий водоворот. И вода поднимается, постепенно заливая две небольшие пересохшие ниши, о которых я тебе говорила, постепенно окружает этих двоих, мужчину и женщину — те лежат там, как японские цветки.

Она медленно соединила ладони и переплела пальцы.

— Влага проникает в них. Сначала вода, приподняв, слегка шевелит кисть женщины. Это пока единственная живая часть ее тела. Затем поднимается вся рука и одна нога. Ее волосы... — Анна тронула свои волосы, лежащие у нее на плечах, — ...расплетаются и раскрываются, словно цветок в воде. Сомкнутые голубые веки...

В комнате стало темнее, Джулиет продолжала вышивать, а Анна все говорила о своих видениях. Она рассказывала, как вода, поднимаясь, захватила и развернула женщину, как ее тело, напитавшись влагой, расправилось, и она встала в полный рост.

— Вода безразлична к этой женщине и позволяет делать то, чего ей хочется. Женщина, после того как столько времени пролежала неподвижно, готова опять жить, и вода хочет, чтобы она ожила. А где-то в другом месте мужчина так же поднялся в воде...

Анна рассказывала об этом и о том, как поток, медленно кружа, нес его и ее, пока они не встретились.

— Вода открывает им глаза. Теперь они могут смотреть, но пока не видят друг друга. Они плывут рядом, еще не соприкасаясь. — Анна, закрыв глаза, слегка повернула голову. — Они смотрят друг на друга. Их тела светятся, как будто флуоресцируют. Они улыбаются... Вот — их руки коснулись.

Наконец Джулиет отложила свое шитье и пристально посмотрела на сестру.

— Анна!

— Поток соединяет их. Они плывут вместе. Это совершенная любовь, где нет места для собственного «я», где существуют только два тела, подхваченные водой, которая их омывает и очищает. Здесь нет места для порока.

— Анна! Нехорошо говорить такие вещи! — воскликнула ее сестра.

— Нет же, все нормально, — возразила Анна, на мгновение повернувшись к ней. — Они ведь не думают, правда? Просто они так глубоко внизу, такие тихие, и их ничто не беспокоит...

Она медленно и осторожно, положив правую ладонь на левую, сплетала и расплетала дрожащие пальцы. Через залитое дождем окно пробивался неяркий весенний свет и, проходя сквозь бегущие по стеклу струи, падал на ее руки, отчего они казались призраками, кружащими друг вокруг друга в толще серой воды. Анна дорассказала свой короткий сон:

— Он, высокий и спокойный, с раскинутыми руками, — Анна жестом показала, как он высок и легок в воде, — и она, миниатюрная, тихая и податливая. — Анна поглядела на сестру. — Они мертвы, им некуда деться, никому до них нет дела. И вот они там, их ничто не тревожит, о них никто ничего не знает. Их тайное убежище — глубоко под землей, в водах резервуара. Они касаются друг друга руками и губами, а когда оказываются у горловины водостока под перекрестком, поток подхватывает их обоих и увлекает своим течением. А потом... — Она развела руки в стороны, — может быть, они пускаются в путешествие под всеми улицами и плывут бок о бок, то погружаясь, то всплывая, то кружась в безумном танце, когда попадают в случайные водовороты. — Анна взмахнула руками, дождь окатил водой окно. — И они приближаются к морю, проплывая под городом по туннелям водостока, под одной улицей, под другой... Дженеси-авеню, Креншоу, Эдмонд-плэйс, Вашингтон, Мотор-сити, набережная — и наконец океан. Они плывут туда, куда пожелает вода, та носит их по всей планете, а потом они снова попадают в водосток и, проплыв под десятком табачных и винных лавок, дюжиной бакалейных магазинов, кинотеатров, под вокзалом и шоссе номер 101, опять оказываются в резервуаре под ногами тридцати тысяч человек, которые даже не знают и не задумываются о его существовании.

Теперь голос Анны снова звучал сонно и тихо:

— А потом... Пролетели дни, и на улицах перестал греметь гром. Прекратился дождь. Кончился дождливый сезон. В туннелях с потолка больше не капает. Вода спадает. — Казалось, она была этим огорчена и расстроена. — Река вытекла в

океан. Мужчина и женщина чувствуют, что вода мало-помалу опускает их на пол. И вот они внизу. — Анна плавно положила руки на колени и с грустью посмотрела на них. — Через их ноги уходит жизнь, которую им принесла вода. Сейчас вода, утекая, укладывает их на пол, рядом друг с другом, и туннели высыхают. И они лежат там. Наверху во всем мире уже светит солнце. А они спят в темноте — до следующего раза. До следующего дождя.

Теперь руки ее лежали на коленях ладонями вверх.

— Милый мужчина, прелестная женщина, — пробормотала Анна. Склонила голову к себе на ладони и крепко закрыла глаза.

Потом вдруг выпрямилась в своем кресле и зло посмотрела на сестру.

— А ты знаешь, кто этот мужчина? — с горечью воскликнула она.

Джулиет не ответила. Вот уже минут пять она, пораженная происходящим, затаив дыхание, наблюдала за сестрой. Ее губы побледнели и приоткрылись.

Анна почти закричала:

— Этот мужчина — Фрэнк, вот кто он! А женщина — я!

— Анна!

— Да, это Фрэнк, там, внизу!

— Но Фрэнка нет уже несколько лет, и, конечно, Анна, он не там!

Теперь Анна говорила, не обращаясь ни к кому в отдельности, но как бы сразу ко всем — к Джулиет, к окну, к стене, к улице.

— Бедный Фрэнк, — она заплакала. — Я знаю, он ушел именно туда. Он не мог больше оставаться нигде в этом мире! Его мать отняла у него весь мир! Он увидел водосток и понял, какое это прекрасное и укромное место. Ах, бедный Фрэнк. И несчастная, бедная я! Никого у меня нет, кроме сестры. Ах, Джулиет, ну почему я не удержала Фрэнка, пока он еще был здесь? Почему я не дралась, чтобы отвоевать его у матери?

— Прекрати сейчас же, ты слышишь, сию же минуту!

Анна, беззвучно всхлипывая, отошла в угол около окна. Через несколько минут она услышала голос Джулиет:

— Ну, ты закончила?

— Что?

— Если ты успокоилась, помоги мне закончить вот это, а то у меня что-то не получается.

Анна подняла голову и подошла к сестре.

— Что нужно сделать? — спросила она.

— Вот здесь и здесь, — показала ей Джулиет.

— Хорошо, — кивнула Анна, взяла скатерть и села у окна.

Ее пальцы проворно управлялись с иглой и ниткой, время от времени она смотрела в окно на непрекращающийся дождь и видела, как темно стало теперь на улице и в комнате, как трудно уже разглядеть круглую чугунную крышку водостока. За окном в черных сумерках различались только редкие вспышки и какие-то отблески. Вот молния прорезала небо, разорвав паутину дождя...

Прошло с полчаса. На другом конце гостиной Джулиет откинулась в кресле, сняла очки, положила их рядом на столик, прикрыла глаза и задремала. Секунд через тридцать она вдруг услышала, что входная дверь громко хлопнула, до нее донеслись шум ветра и стук удаляющихся шагов — сначала по дорожке, а потом вниз по темной улице.

— Что? — спросила Джулиет, привстав в кресле и нащупывая свои очки. — Кто там? Анна, к нам приходил кто-нибудь? — Она поглядела на пустое кресло у окна, где сидела сестра. — Анна! — крикнула Джулиет. Она вскочила и выбежала в прихожую.

Дверь была распахнута, и сквозь ее проем прихожая наполнялась чудесной мглой морозящего дождя.

— Она просто вышла на минутку, — сказала Джулиет, стоя на пороге и вглядываясь в сырую черноту. — Она сейчас вернется. Ведь ты сейчас вернешься, Анна, дорогая моя? Анна, сестренка, отвечай, ты же обязательно вернешься сейчас?

Где-то на улице открылась и с грохотом захлопнулась крышка водостока.

Всю ночь на улице что-то шептал дождь, падая на закрытую чугунную крышку.

ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ

— Они идут, — с закрытыми глазами произнесла лежащая на кровати Сеси.

— Где они? — воскликнул Тимоти, еще не войдя в комнату.

— Одни над Европой, другие над Азией, некоторые — над Островами, иные — над Южной Америкой, — сказала Сеси, по-прежнему не открывая глаз. Длинные ее ресницы слегка подрагивали.

Тимоти вошел в обитую простыми досками чердачную комнату:

— А кто там?

— Дядя Эйнар, и дядя Фрай, и кузен Вильям, и еще я вижу Фрульду, и Хелгара, и тетю Моргиану, и кузину Вивиану, и еще дядю Йохана! Они очень быстро приближаются к нам!

— Они прямо в небе? — воскликнул Тимоти и заморгал небольшими серыми глазами. Он стоял возле кровати сестры и выглядел не старше своих четырнадцати лет. На улице бушевал ветер, дом был погружен в темноту и освещался только звездами.

— Они приходят сквозь воздух и путешествуют по земле — кому как удобнее, — произнесла Сеси сквозь сон, не пошевелившись на кровати; она вглядывалась в себя и сообщала то, что видела. — Вот волкоподобное существо, бредет вдоль реки по отмели, над водопадом; свет звезд искрится в его шерсти. Я вижу коричневый дубовый листок, летящий высоко в небе. Я вижу небольшую летучую мышь. Я вижу множество других, пробегающих по макушкам деревьев и проскальзывающих сквозь ветви кроны; и все они идут сюда!

— Они успеют к следующей ночи? — Тимоти вцепился в край простыни. Паук на своей ниточке раскачивался подобно черному маятнику, словно возбужденно танцуя. Он наклонился к сестре: — Ко Дню Возвращения?!

— Да-да, Тимоти, — кивнула Сеси и словно бы оцепенела. — Не спрашивай меня больше. Уходи. Дай мне побыть в любимых местах.

— Спасибо, Сеси, — сказал он, вышел от нее и поспешил в свою комнату. Быстро застелил кровать — проснулся он недавно, на закате и, едва на небе высыпали звезды, отправился к Сеси, чтобы поделиться с ней предвкушением праздника. А теперь она спала и так тихо, что из ее комнаты не доносилось ни звука. Пока Тимоти умывался, паучок оплел его тонкую шею серебряным лассо.

— Паук, ты только представь, завтрашняя ночь — это канун Всех Святых!

Тимоти вытер лицо и взглянул в зеркало. Оно было единственным во всем доме, такую уступку его хворям сделала мать. Ох, если бы он не был таким болезненным! Раскрыв рот, он увидел жалкие, несоразмерные зубы, которыми наделила его природа. Покатые, мелкие и тусклые зернышки кукурузы. Настроение сразу ухудшилось.

Было уже совершенно темно, и Тимоти зажег свечу. Чувствовал он себя совершенно вымотанным, под глазами — синяки. Прошедшую неделю вся семья жила на старинный лад. Днем спали, а с закатом поднимались и брались за дела.

— Паук, со мной что-то совсем не так, — тихо сказал он маленькому созданию. — Я даже днем, как остальные, спать не могу.

Он взял подсвечник. Ох, ему бы крепкие челюсти, с резцами, как стальные шипы! Или крепкие руки. Или сильный ум. Или хотя бы умение отправлять на свободу свое сознание, как Сеси. Увы, он был не самым удачливым созданием. Он даже вздрогнул и поднес свечу ближе к себе — боялся темноты. Братья над ним потешаются. Байон, Леонард и Сэм. Смеются, что спит он в постели. С Сеси — по-другому, для нее постель как инструмент, необходимый, чтобы послать свое сознание на охоту. А Тимоти, разве он спит, подобно другим, в чудесном полированном ящике? Нет! Мать позволяет ему иметь собственную комнату, свою кровать, даже зеркало. Ничего удивительного, что вся семья относится к нему как к своему несчастью. Если бы только крылья прорезались сквозь лопатки... Он задрал рубашку, через плечо глянул в зеркало. Нет. Никаких шансов.

Снизу доносились возбуждающие любопытство загадочные звуки; лоснящийся черный креп украсил все помещения, лестницы и двери. Шипение горящих плошек с салом на

площадке лестницы. Слышен высокий и жесткий голос матери, ну а голос отца множится эхом в сыром погребке. Байон вошел в старинный сельский дом, волоча громадные двухгаллоновые кувшины.

— Мне пора идти готовиться к празднику, паук, — сказал Тимоти. Паук крутился на конце своей ниточки, и Тимоти почувствовал себя одиноко. Он надраит все ящики, насобирает пауков и поганок, будет развешивать повсюду траурный креп, но едва начнется праздник, как о нем позабудут. Чем сына-недотепа меньше видно и слышно — тем лучше.

Словно сразу сквозь весь дом внизу пробежала Лаура.

— Возвращение домой! — весело кричала она, и шаги ее раздавались как бы всюду.

Тимоти снова прошел мимо комнаты Сеси — та мирно спала. Раз в месяц она спускалась вниз, а обычно так и лежала в постели. Милая Сеси. Он мысленно спросил ее: «Где ты теперь, Сеси? В ком? Что видно? Не за холмами ли ты? Как там живут?» Но зашел не к ней, а в комнату Элен. Та сидела за столом, сортируя пряди волос: светлых, рыжих, темных — и кривые обрезки ногтей. Все это она собрала, работая маникюршей в салоне красоты деревни Меллин, милях в пятнадцати отсюда. В углу комнаты стоял большой ящик из красного дерева, и на нем была табличка с ее именем.

— Уходи, — сказала она, даже не взглянув на брата. — Не могу работать, когда ты, остопоп, рядом.

— Канун Дня Всех Святых, Элен, подумай только! — сказал он, стараясь быть дружелюбным.

— Фу-у-у. — Она сложила обрезки ногтей в небольшой белый пакетик и надписала его. — Тебе-то что? Что ты об этом знаешь? Только перепугаешься до смерти. Шел бы лучше обратно в кроватку.

— Мне надо почистить и надраить ящики, и еще кое-что сделать, и прислуживать, — покраснел Тимоти.

— А если не уйдешь, то с утра обнаружишь у себя в кровати дюжину сырых устриц, — бесцветным голосом продолжила Элен. — Гуляй, Тимоти.

Разозлившись, он не глядя побежал по лестнице и налетел на Лауру.

— Смотри куда прешь, — прошипела она сквозь зубы.

И унеслась прочь. Тимоти поспешил к открытой двери погреба, вдохнул сырой, пахнущий землей воздух.

— Папа?

— Самое время! — отец крикнул снизу. — Быстро сюда, а то не управимся к их прибытию.

Тимоти мгновение помедлил — чтобы расслышать миллион звуков, заполнивших дом. Братья приходили и выходили, как поезда на станции, переговаривались, спорили. Казалось, если постоять тут минуту, то со всевозможными вещами в бледных руках мимо пройдут все домочадцы: Леонард с маленьким черным докторским саквояжем; Самуэль с громадной, в переплете из черных дощечек книгой под мышкой несет новые ленты крепа; Байон курсирует между машиной и домом, таская все новые галлоны питья.

Отец прекратил работать и передал тряпку Тимоти. Стукнул по громадному ящику из красного дерева.

— Давай-давай, надрай-ка этот и примемся за следующий. А то жизнь проспишь.

Навошывая поверхность, Тимоти заглянул внутрь.

— А дядя Эйнар большой, да?

— Угу...

— А какой большой?

— Ну ты ведь сам видишь ящик.

— Я же только спросил. Футов семь?

— Болтаешь ты много.

Около девяти Тимоти вышел в октябрьскую темноту. Ветер был не теплый, не холодный, и часа два он ходил по лугам, собирая поганки и пауков. Его сердце вновь забилося в предвкушении. Сколько, мама говорила, родственников будет? Семьдесят? Сто? Он миновал строения фермы. «Вы бы только знали, что происходит у нас в доме», — сказал он, обращаясь к клубящимся облакам. Взойдя на холм, поглядел в сторону расположенного поодаль города, уже погружившегося в сон. Циферблат ратушных часов издали казался совершенно белым. Вот, и в городе ничего не знают. Домой он принес много банок с поганками и пауками.

Недолгая церемония прошла в небольшой часовенке в нижнем этаже. Она была похожа на обычные, отправляемые годами: отец декламировал темные строки, прекрасные, будто выточенные из слоновой кости; руки матери двигались в ответных благословениях. Тут собрались и все дети, за исключением Сеси, так и оставшейся в кровати наверху. Но Сеси все равно присутствовала. Можно было заметить, как она смотрит то глазами Байона, то Самуэля, то матери; движение — и она в тебе, а через мгновение снова исчезла.

Тимоти молился Его Темноте, в животе у него словно комок лежал: «Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне вырасти, помоги мне стать таким, как мои сестры и братья. Не

позволяй мне быть другим. Если бы я только умел приделывать волосы к пластмассовым куклам, как Элен, или делать так, чтобы люди в меня влюблялись, как умеет Лаура, или читать странные книги, как Сэм, или работать в хорошей должности, как Леонард и Байон. Или даже завести когда-нибудь семью, как отец и мать...»

В полночь дом сотряс первый шквал урагана. Свет врзался в окна ослепительно белыми стрелами. Ураган приближался, разведывая окрестности, проникал всюду, рыхлил сырую ночную землю. И вот входная дверь, наполовину сорванная с петель, замерла в оцепенении, и в дом вошли бабушка и дедушка, прямо как в прежние времена!

После этого гости прибывали каждый час. Порхание и мельтешение подле бокового окна, стук в парадные двери, поскребывания с черного хода. Шорохи в подвале, завывания осеннего ветра в печной трубе. Мать наполняла большую пуншевую чашу багровой жидкостью из кувшинов, привезенных Байоном. Отец вносил в комнаты все новые горящие сальные плашки, Лаура и Элен развешивали всюду пучки волчьей ягоды. А Тимоти потерянно стоял среди этого безумного возбуждения; его руки дергались во все стороны, взгляд не мог остановиться ни на чем. Хлопанье дверей, смех, звук льющейся жидкости, темнота, завывания ветра, перепончатый грохот крыльев, шаги, приветственные восклицания на крыльце, прозрачное дребезжание оконных переплетов, мелькающие, наплывающие, колышущиеся, сложащиеся тени.

— Ладненько, ладненько, а это, должно быть, Тимоти?!

— Что?

Его коснулась чья-то холодная рука. Сверху глядело вытянутое косматое лицо.

— Хороший парень, чудный парень, — произнес незнакомец.

— Тимоти, — сказала мама, — это дядя Джейсон.

— Здравствуйте, дядя Джейсон.

— А вот там... — мать увлекла дядю Джейсона дальше. Тот, уходя, обернулся через плечо и подмигнул Тимоти.

Тот снова остался один.

И будто с расстояния в тысячу миль, из мерцающей темноты донесся высокий и мелодичный голос Элен:

— А мои братья и в самом деле очень умны. Угадайте, чем они занимаются, тетя Моргиана!

— Представления не имею.

— Они управляют городским похоронным бюро.

— Что? — оторопела тетушка.

— Да! — Пронзительный смех. — Не правда ли, бесценное местечко?

Снова смех. Тимоти замер на месте.

— Они добывают средства к существованию матери, отцу, всем нам. Кроме, конечно, Тимоти...

Повисла тяжелая тишина. Голос дяди Джейсона:

— Ну? Выкладывай, что там с Тимоти?

— Ох, Лаура, твой язычок... — вздыхает мать.

Лаура раскрывает рот, Тимоти зажмуривается.

— Тимоти не любит... ну хорошо, ему не нравится кровь. Он у нас чувствительный.

— Он выучится, — говорит мать. — Он привыкнет, — говорит она жестко. — Он мой сын, и он научится. Ему еще только четырнадцать.

— А я на этом вскормлен, — сказал дядя Джейсон, его голос переходил из одной комнаты в другую. Ветер снаружи играл деревьями, как на арфе, в оконное стекло брызнули мелкие капли дождя. — Вскормлен... — и голос пропал в тишине.

Тимоти прикусил губу и открыл глаза.

— Видимо, это моя вина. — Теперь мать показывала гостям кухню. — Я пыталась заставить его. Но детей ведь нельзя заставлять, это только сделает им больно, и они никогда не обретут вкуса к правильным вещам. Вот Байон, ему было тринадцать, когда...

— Думаешь, — пробормотал дядя Джейсон, — что Тимоти одумается...

— Уверена в этом, — с вызовом ответила мать.

Огоньки свечей колыхались, как тени, и скрещивались во всей дюжине затхлых комнат. Тимоти озяб. Вдохнув запах горящего сала, он машинально взял свечу и пошел по дому, делая вид, что расправляет ленты крепа.

— Тимоти, — прошептал кто-то возле стены, с придыханием и присвистом. — Тимоти боится темноты!

Голос Леонарда. Ненавистный Леонард!

— Мне нравятся свечи, вот и все, — с упреком прошептал Тимоти.

Сильнее освещение, больше грохот. Каскады раскатистого смеха. Постукивания и щелчки, восклицания и шелест одежд. Холодный и влажный туман валит сквозь переднюю дверь. А среди тумана приводит в порядок свои крылья высокий и статный мужчина.

— Дядя Эйнар!

Тимоти бросился со всех своих худых ног вперед, прямо сквозь туман, в сторону зеленых колышущихся теней и с разбегу влетел в распростертые ему навстречу объятия Эйнара. Дядя поднял его.

— У тебя есть крылья, Тимоти. — Он подбросил мальчика легко, как головку чертополоха. — Крылья, Тимоти. Летай!

Лица внизу закружились, темнота пришла во вращение. Дом пропал, Тимоти почувствовал себя легким ветерком. Он взмахнул руками; пальцы Эйнара поймали его и снова подкинули к потолку. Потолок надвигался, словно падающая стена.

— Лети, Тимоти! — кричал Эйнар своим глубоким голосом. — Маши крыльями, маши!

Он чувствовал сладостный зуд в лопатках, как будто оттуда росли корни, вырывались наружу, чтобы развернуться новенькими влажными перепонками. Он лепетал какие-то безумные слова. Эйнар еще раз швырнул его кверху.

Осенний ветер приливом вломился в дом, дождь обрушился вниз, раскачивая балки, сбивая огонь со свечей. И вся сотня родственников, всех сортов и размеров, выглядывала из черных зачарованных комнат, втягиваясь будто в водоворот туда, где Эйнар удерживал ребенка, словно жезл в ревущих пространствах.

— Довольно! — крикнул Эйнар.

Тимоти, опущенный на доски пола, в изнеможении рухнул перед ним, счастливо рыдая:

— Дядя, дядя, дядя!

— Неплохая штука — летать, а, Тимоти?! — усмехнулся дядя Эйнар, склоняясь к мальчику и ероша ему волосы. — Хорошая, хорошая...

Дело шло к утру. Большинство гостей прибыло, и все уже собирались отправиться в постели и беззвучно, без движения проспать до следующего заката, когда настанет пора выбираться из роскошных сундуков и начинать кутеж.

Дядя Эйнар двинулся к погребу вместе с остальными. Мать указывала им дорогу к множеству рядов отполированных ящиков. Крылья, словно из парусины цвета морской волны, тянулись за Эйнаром, терлись друг о друга со странным свистом, а когда встречали какое-либо препятствие, то возникал мягкий звук, будто кто-то постукивал по барабанным перепонкам.

Тимоти лежал наверху, перебирал свои нелегкие мысли и пытался полюбить темноту. В темноте ведь можно делать

множество вещей, за которые люди тебя никогда не будут критиковать, — потому что никогда этого не увидят. Он в самом деле любил ночь, но любовь эта была неполной: иной раз вокруг было так много ночи, что кричать хотелось.

В подвале бледные руки захлопывали крышки ящиков. Некоторые родственники копошились, устраиваясь в углах — головы на руки, веки прикрыты. Солнце взошло. Все уснуло.

Закат. Пирушка началась, словно в один миг разлетелось гнездовье летучих мышей — с воплями, шелестом, свистом. С громким стуком распахивались дверки ящиков, из подвальной сырости наверх понесся топот ног. Припозднившиеся гости стучались и с парадного, и с черного входа; их впускали.

На улице дождило, промокшие гости скидывали свои плащи, вымокшие шапки, забрызганные накидки и отдавали их Тимоти, который относил добро в чулан. Комнаты были набиты до предела. Смех кузины, раздавшийся в одной из комнат, отражался от стен другой, ricochetил, петлял, закладывал виражи и возвращался в уши Тимоти уже из четвертой комнаты, но в точности такой же циничный и ехидный, каким был сначала.

По полу пробежала мышь.

— Узнаю вас, Niece Leibersrouter! — воскликнул отец.

Мышь прошмыгнула между ног трех женщин и скрылась в углу. Несколькими мгновениями позже в углу будто из ниоткуда возникла прекрасная женщина и так там и стояла, улыбаясь всем собравшимся своей белозубой улыбкой.

Кто-то приник к запотевшему оконному стеклу кухни. Он вздыхал, и стонал, и стучал, прижавшись к стеклу, но Тимоти ничего не мог сделать; он ничего не видел. Сейчас он был не здесь. Вокруг шел дождь, дул ветер и темнота затягивала его в себя. В доме танцевали вальсы; высокие сухопарые фигуры делали пируэты в такт чужеземной музыке. Лучи звезд мерцали в поднимаемых бутылках, а паучок упал и не спеша зашагал по полу.

Тимоти вздрогнул. Он снова был в доме. Мать отправляла его сбежать туда, сбежать сюда, помочь, услужить, сходить на кухню, принести это, забрать тарелки, разнести еду... и... весь праздник вращался вокруг него, вот только — без него, не для него. Дюжины толпящихся гостей толкались, отпихивали его, не замечали.

Наконец он выбрался из давки и проскользнул наверх.

— Сеси, — сказал он мягко, — ты где теперь, Сеси?

— В Императорской долине, — слабо пробормотала она после недолгого молчания. — Возле Солтон-Си, неподалеку от грязевых гейзеров. Там пар, испарения и очень спокойно. Я вошла в жену фермера и сижу на переднем крыльце. Я могу заставить ее двигаться, если захочу; могу заставить делать что угодно. Солнце клонится к земле.

— И как там все?

— Слышно, как свистят гейзеры, — сказала она медленно, как если бы разговаривала в церкви. — Маленькие серые клубы пара поднимаются в кипящей грязи, как лысый человек в густом сиропе, головой кверху. Серые пузыри поднимаются, будто резиновые, и разрываются с таким звуком, с каким мокрые губы шлепают друг о друга. И пушистые перья пара вырываются из распоровшейся ткани. Тут густой сернистый запах, пахнет древними временами. Будто там до сих пор варится динозавр. Десять миллионов лет.

— И он еще там?

— Да. — Томные слова медленно падали из ее рта. — Из черепа этой женщины я гляжу по сторонам, смотрю на озеро; оно не движется и такое спокойное, что даже боязно. Я сижу на крыльце и жду возвращения мужа. Время от времени плещет рыба. Долина, озеро, несколько машин, деревянная веранда, мое кресло-качалка, я сама, тишина.

— Что теперь, Сеси?

— Я встаю с кресла-качалки, — сказала она.

— Да?

— Я схожу с крыльца, глядя в сторону гейзеров. В небе летают самолеты; они словно доисторические птицы. И там спокойно, так спокойно.

— А ты надолго останешься в ней, Сеси?

— Пока достаточно не услышу, и не увижу, и не почувствую; пока я каким-нибудь образом не изменю слегка ее жизнь. Я спускаюсь с крыльца вдоль деревянных перил. Мои ноги медленно, утомленно ступают по дощатым ступеням.

— А что теперь?

— Теперь вокруг меня сернистый пар. Я смотрю, как лопаются и оседают пузыри. Птица проносится над моей макушкой. Внезапно я уже в птице и — лечу прочь! И в полете своими новыми, маленькими, как стеклянные бусинки, глазами вижу, что женщина внизу делает по настилу два-три шага вперед, к гейзеру. Слышу звук, будто в расплавленную глубину нырнул валун. Я лечу, делаю круг. Вижу белую руку, которая извивается подобно пауку на поверхности, пропадает в серой

лаве. Поверхность затягивается, и я быстро, быстро, быстро лечу домой!

Что-то громко стукнуло в окно, Тимоти вздрогнул.

Сеси широко распахнула глаза — сияющие, большие, счастливые, оживленные: «Вот я и дома!»

Помолчав, Тимоти отважился:

— Сегодня День Возвращения. Все собрались.

— Тогда почему ты наверху? — Она дотронулась до его руки. — Ну ладно, спрашивай. — Она мягко улыбнулась: — Попроси меня, о чем хотел.

— Я пришел не просить, — сконфузился он. — Так, почти ничего. Хорошо, Сеси... — Эти слова вышли из него словно одновременно, одним потоком. — Я хочу сделать что-нибудь такое, чтобы все они взглянули на меня, что-нибудь, что сделало бы меня таким же, позволило бы мне быть с ними, принадлежать к ним, но я не могу ничего придумать и чувствую себя странно. Вот я и подумал, что ты бы могла...

Он осекся, будто оцепенел, и не думал ни о чем — или, во всяком случае, думал, что ничего не думает.

Сестра кивнула.

— Давай спустимся, Тимоти, — сказала она и в тот же миг оказалась внутри его, как рука в перчатке.

— Смотрите все! — Тимоти взял стакан теплой красной жидкости и поднял его так, чтобы увидел весь дом. Все — тети, дяди, кузины, братья, сестры!

Выпил его залпом.

Он протянул руку в сторону сестры Лауры и отдал ей стакан, глядя на нее так, что та замерла. Он почувствовал себя ростом с дерево. Вечеринка притихла. Все стояли вокруг него, ждали и наблюдали. Из дверей выглядывали лица. Нет, они не смеялись. Лицо матери застыло в изумлении. Отец выглядел сбитым с толку, но явно был доволен и с каждым мгновением становился все более гордым.

Тимоти аккуратно ущипнул Лауру возле жилки на шее. Огоньки свечей шатались, будто пьяные; по крыше разгуливал ветер. Из всех дверей на него смотрели родственники. Он запихнул в рот поганку, проглотил, хлопнул ладонями по бокам и обернулся вокруг.

— Смотри, дядя Эйнар! Теперь я смогу летать! — Его ноги застучали по ступенькам лестницы. Мимо промелькнули лица.

Споткнувшись на самом верху, он расслышал голос матери:

— Тимоти, остановись!

— Хей! — крикнул Тимоти и ринулся в пролет.

На полпути вниз крылья, которые, как ему показалось, он наконец обрел, растворились. Он закричал. Его поймал дядя Эйнар.

Смертельно бледный, Тимоти рухнул в его протянутые руки. И тут его губы заговорили чужим голосом:

— Это Сеси! Это я, Сеси! Приходите повидаться со мной наверх, первая комната налево! — После чего Тимоти расхохотался, и ему захотелось проглотить этот смех вместе с языком.

Смеялись все. Эйнар было усадил его, но он вырвался, вскочил и, расталкивая родственников, торопящихся наверх, чтобы поздравить Сеси, ринулся вперед и был у двери первым.

— Сеси, я ненавижу тебя, ненавижу!

В густой темноте возле платана Тимоти изверг свой ужин, тщательно вытер губы, рухнул на кучу опавших листьев и замолотил кулаками по земле. Затих. Из кармана рубашки, из коробочки выбрался паучок. Исследовал его шею, взобрался на ухо и начал оплетать его паутиной. Тимоти покачал головой:

— Не надо, паук, не надо. — Прикосновение мохнатой и нежной лапы к уху заставило его вздрогнуть. — Не надо, паук. — Но рыдания приутихли.

Паучок пропутешествовал вниз по его щеке, остановился на переносице, заглянул в ноздри, будто хотел увидеть мозг, потом взобрался на кончик носа и уселся там, глядя на Тимоти зелеными бусинками глаз, пока не захотелось смеяться.

— Уходи, паук.

Шурша листьями, Тимоти сел. Лунный свет заливал окрестности. Из дома доносились приглушенные скабрезности, какие говорят, когда играют в «зеркальце, зеркальце». Гости возбужденно перекикивали друг друга, пытаясь разглядеть в стекле ту часть своего облика, которая не появлялась и не могла появиться в зеркале.

— Тимоти. — Крылья дяди Эйнара хлопнули, словно лавины. Тимоти ощутил, что воспрянул духом. Легко, словно наперсток, дядя подхватил его и усадил себе на плечи. — Не переживай, племянник Тимоти. Каждому свое, у каждого — свой путь. У тебя впереди множество разного. Интересного. Для нас — мир умер. Мы уже слишком многое повидали, поверь мне. Жить лучше тому, кто живет меньше. Жизнь дороже полушки, запомни это.

Все ночное утро, с полуночи дядя Эйнар водил его по дому, из комнаты в комнату, распевая на ходу. Ватага при-

позднившихся гостей устроила настоящую кутерьму, с ними была и укутанная в египетский саван пра-пра-пра-пра и еще тыщу раз «пра» бабушка — она не говорила ни слова, а держалась прямо, как прислоненная к стене гладильная доска. Впалые глаза мудро, тихо мерцали. За завтраком в четыре утра тысячекратно великую бабулю усадили во главе длиннейшего стола.

Многочисленные юные кузины пировали возле хрустальной пуншевой чаши. Их глаза блестели, словно оливки, на конусообразных лицах, а бронзовые кудри рассыпались по столу, возле которого они пили, отталкивая друг друга своими твердо-мягкими, полудевичьими-полуюношескими телами.

Ветер усилился, звезды засверкали будто с яростью, шум множился, танцы становились бешеными, питье делалось разгульным. Тимоти надо было успеть увидеть и услышать тысячу разных вещей. Мириады теней переплетались, смешивались; мрак взбалтывался, пузырился; лица мелькали, исчезали, появлялись снова.

«Слушай!»

Вечеринка затаила дыхание. Откуда-то издалека донесся удар городских колоколов, сообщавших, что уже шесть утра. Праздник кончился. В ритм бьющим часам сотня голосов затянула песню; ей было сотни четыре лет, не меньше — песню, которую Тимоти знать не мог. Руки извивались, медленно вращались; они пели, а там, вдалеке, в холодном утреннем просторе, городские куранты окончили свой перезвон и застухли.

Тимоти пел: он не знал ни слов, ни мелодии, но они возникали сами по себе. Он взглянул на закрытую дверь наверху.

— Спасибо, Сеси, — прошептал он, — я простил тебя, спасибо.

Расслабился и позволил словам свободно срывать с его губ голосом Сеси.

Произносились последние прощальные слова, возле дверей образовалась сутолока. Отец и мать стояли на пороге, жали руки и целовались поочередно со всеми уходящими. Сквозь открытую дверь было видно, как на востоке розовеет небо. Холодный ветер выстудил прихожую, а Тимоти чувствовал, как поочередно переходит из одного тела в другое, почувствовал, как Сеси поместила его в дядюшку Фрая, и у него как бы стало сухое морщинистое лицо, и он взлетел сухим листиком над домом и просыпающимися холмами...

Затем, размашисто шагая по скользкой тропинке, он ощутил, как горят его покрасневшие глаза, что мех его шкуры

влажен от росы, — как будто внутри кузена Вильяма он тяжело протискивался в дупло, чтобы исчезнуть...

Подобно голышу во рту у дяди Эйнара Тимоти летел среди перепончатого грохота, заполняя собой небо. А потом — навсегда вернулся в свое собственное тело.

Среди занимающегося рассвета последние гости еще обнимались напоследок, плакали и жаловались, что в мире осталось слишком мало места для них... Когда-то они встречались каждый год, а теперь без воссоединения проходили десятки лет. «Не забудь, — крикнул кто-то — встречаемся в Сэйлеме, в 1970-м!»

Сэйлем. Сэйлем. От этих слов мозг Тимоти оцепенел. Сэйлем, 1970-й. И там будут дядюшка Фрай, и тыщу-раз-прабабушка в своем вечном саване, и мать, и отец, и Элен, и Лаура, и Сеси, и... все остальные. Но будет ли там он? Доживет ли он до той поры?

С последним, слабеющим порывом ветра исчезли все: множество шарфов, увядших листьев, множество крылатых существ, множество хнычущих, слипающихся в гроздь звуков, без края полночей, безумий и мечтаний.

Мать закрыла дверь. Лаура взялась за метлу.

— Не надо, — сказала мать. — Уберем потом, а сейчас нам надо спать.

Домочадцы разбрелись кто в подвал, кто на чердак. И Тимоти с поникшей головой пошел через украшенную крепом гостиную. Возле зеркала, оставшегося с вечеринки, остановился, заглянул в него и увидел смертную бледность своего лица, себя — озябшего и дрожащего.

— Тимоти, — сказала мать. Она подошла и прикоснулась ладонью к его лицу. — Сын, — вздохнула она, — Запомни, мы любим тебя. Мы все тебя любим. Неважно, насколько ты другой, неважно, что ты нас однажды покинешь. — Она поцеловала его в щеку. — И если ты даже и умрешь, то твой прах никто не потревожит, мы приглядим за ним. Ты будешь лежать спокойно и беззаботно, а я буду приходить к тебе в каждый канун Всех Святых и перепрыгивать в более надежное место.

Дом затих. Где-то вдали ветер уносил за холмы свой последний груз: темных летучих мышей — гомонящих, перекликающихся.

Тимоти поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, и беззвучно плакал.

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА

— **Ж**_{ив!} — Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми!

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите-ка шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом он изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. И уж нам ли этого не знать? Не мы ли последние могикане, последние из тех; кто в двадцатые годы курил ему фимиами и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы помните, конечно, как вас ошеломило, сбило с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости-прощай.

Искренне Ваш Дадли Стоун

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга:

— Почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры — женщины? Или вино? А может, это лошади

обскакали его и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что, продолжай Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению писатель вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера.

И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметней редкют волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.

«Томас Вулф, — ворчали мы, — прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере вовсю насладился успехом. И по крайней мере критики толпой глядели ему вслед, точно огненному метеору, прорезавшему тьму.

А кто нынче помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?»

— Шапку по кругу, — сказал я. — Я скатаю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: «Послушайте, мистер Стоун, что ж это вы нас так подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?»

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах, с еле слышным, будто шелест осенних трав на ночном ветру, голосом. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений, их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологи-

ческих пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выпцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади. — Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги у него работали как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров на старинных мореходных картах, что грозят зноем и холодом. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солнца — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Надо же, — подумал я. — И этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь, — со смехом сказал он, — вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас в досталь эля и крепкого портера. Люблю звучанье этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подскакивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю,

— Рад познакомиться. Вы, наверно, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что ж, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый «форд» выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина Столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло вовсю, но вот наконец мы подкатили к запущенному, некрашеному двухэтажному дому. «Форд» тяжело вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. — Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и, однако, я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как пульей устремиться в дом, есть какая-то правда.

— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, каков вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово, а в декабре веет Антарктикой — нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь правда приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами, — сказала Лена. Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, прямоком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и наконец по самые уши. Дадли Стоун налил мне пива, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дуя в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил, — сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще

больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью. — Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я. — У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его. — На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.

— Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы, — поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его — вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис остался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед:

«Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь».

А кондуктор объяснял:

«Путь-то один, да поезда разные!»

И я кричал:

«Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!»

И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Дадли, дружище!» — и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю, — сказал он. — Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в копильне — семнадцать окороков, в винном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном — простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, за окном напротив — Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, всё нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами — всё, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, — вставила миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун» — и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был оглушен, раздавлен. Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твоё прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твоё превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да что ты, Джон, что я тебе сделал?»

«Что ты мне сделал?» — заорал он.

И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что

сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.

«Осторожней, Джон, — сказал я. — Что тебе надо?»

«Только одно, — сказал он. — Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна».

«Ты не сделаешь этого!»

«Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги и как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать как ты мне не под силу, так я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!»

«Это преувеличение».

«А я думаю, это чистая правда», — сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты.

«Спокойно, — сказал я. — Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок».

«Нет», — прошептала Лена.

«Спокойствие», — сказал я ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса, и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене тоже и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею наслаждался! Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Столько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я

обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кое-какой мелочи. Шестьдесят секунд истекали. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о как нежно коснулся, как нежно...

Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случалось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим угольным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

«Джон, — сказал я наконец, — неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?»

«Да, черт возьми!» — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

«Джон, — сказал я спокойно, — если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?»

«Еще как хочу! — крикнул он. — Приготовься!»

И прицелился мне в сердце!

— Ладно, — сказал я, — больше я писать не стану.

— Что?

— Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги.

— Ха-ха, — он презрительно и недоверчиво засмеялся.

— Вон там, — я кивнул в сторону письменного стола, — лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, у тебя на глазах. А другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста.

Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заморозили его. Я швырнул одну рукопись в камин и чиркнул спичкой.

«Нет!» — вырвалось у Лены. Я обернулся.

«Я знаю, что делаю», — сказал я.

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

«Пожалуйста», — сказал я и подsunул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белее яблоневого цвета.

«Отныне я не напишу ни строчки», — сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова:

«Как же ты можешь?»

«Зато все будут счастливы, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Ну а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда».

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точно мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал:

«Я тебе верю».

И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Не часто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел.

Я дышал полной грудью, ощупывал свои руки, ноги, лицо и плакал как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдаёт меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул:

— Неделию спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц, я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор:

— А вы бы как поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не застрелил. Выслушал. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накалило во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растравлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделявали меня, разбирали на части, нарезали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис. Взгляните.

Он порывлся на столе и вытащил пачку рекламных листов и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали всё на свете и на вкус и на ошупь, чего только не нагладелись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене! Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали. — Стоун помолчал, улыбнулся. — Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овеяло ветром, облетевшим всю ширь океана, и, пока мы смотрели в телескоп на звезды,

миссис Стоун спустилась в крошечную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге, от побережья через луга, и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увести.

— Вы, наверно, считаете меня сумасшедшим, — сказал он, глядя в небо.

— Ничуть не бывало.

— Так вот, — сказал Дадли Стоун, — Джон Оутис Кенделл оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатках, сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чувал, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик, — что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще поверней, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел, как они сходили с круга, уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но, конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив, — все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышли похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И это еще долго не смолкало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики. — Вот это была бы книга! Шедевр!» Они задыхались

от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в саже, лишь бы разгадать тайну — отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра». И — спасибо Джону Оутису Кенделлу — у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие.

А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал все как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому вашему слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свиданья, спасибо, что приехали и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «форд», осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножищей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал рукой — и покатиł прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

СОДЕРЖАНИЕ

Вино из одуванчиков, роман, <i>перевод Э. Кабалева</i>	5
Октябрьская страна	
Карлик, <i>перевод С. Трофимова</i>	205
Следующий, <i>перевод М. Воронежской</i>	218
Пристальная покерная фишка работы А. Матисса, <i>перевод М. Пчелинцева</i>	254
Скелет, <i>перевод М. Пчелинцева</i>	265
Банка, <i>перевод М. Пчелинцева</i>	284
Озеро, <i>перевод Т. Ждановой</i>	301
Гонец, <i>перевод Т. Шинкарь</i>	307
Прикосновение пламени, <i>перевод А. Оганяна</i>	315
Крошка-убийца, <i>перевод Т. Ждановой</i>	327
Толпа, <i>перевод Т. Шинкарь</i>	345
Попрыгунчик, <i>перевод М. Воронежской</i>	355
Коса, <i>перевод Н. Куняевой</i>	373
Дядюшка Эйнар, <i>перевод Л. Жданова</i>	388
Ветер, <i>перевод Л. Жданова</i>	396
Постоялец со второго этажа, <i>перевод Т. Ждановой</i>	406
Жила-была старушка, <i>перевод Р. Облонской</i>	418
Водосток, <i>перевод С. Анисимова</i>	430
День возвращения, <i>перевод А. Левкина</i>	438
Удивительная кончина Дадли Стоуна, <i>перевод Р. Облонской</i>	451

МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

Собрание фантастических произведений в 7 томах

Том третий

Составитель *Д. Смушкович*

Ответственный за выпуск *Е. Чутов*

Редакторы *Т. Пикович, М. Проворова*

Технический редактор *К. Козаченко*

Корректоры *Ж. Голубева, Н. Дундина,*

И. Лаздина, А. Хиришфелде

Оператор компьютерной верстки *Е. Глуховская*

Иллюстрация на обложку: *Сальвадор Фаба*

Оформление шмуцтитилов: *В. Ковалев*

Качество печати соответствует диапозитивам, предоставленным
издательством

ЛР № 062455 от 23.03.93.

Подписано в печать 18.03.97. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура Таймс. Печать высокая.

Усл. печ. л. 24,36. Тираж 10 000 экз. Заказ № 347

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

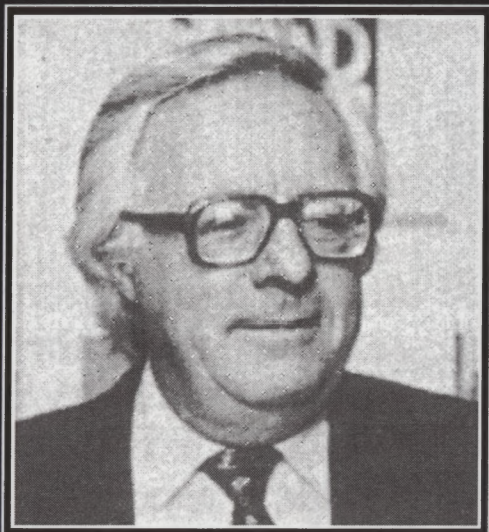






МИРЫ РЭЯ БРЭДБЕРИ

В семи томах



ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Маленький городок Гринтаун в американской глубинке становится местом чудес, когда смотришь на него глазами ребенка. Дуглас Сполдинг вспоминает прекраснейшее лето детства, пахнущее вином из одуванчиков
лето 1929 года...

ОКТЯБРЬСКАЯ СТРАНА

Мрачные лики всплывают из темных глубин рассудка. Даже самые привычные и обыденные вещи могут предать, обернувшись кошмарными видениями, когда ты идешь холодными просторами Октябрьской страны.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997